

Тело: у каждого своё

ЗЕМНОЕ, СМЕРТНОЕ, НАГОЕ, ВЕРНОЕ В РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

МАРИНА СТЕПНОВА, ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА, ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ, АННА МАТВЕЕВА, АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ, МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ, АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ, ГРИГОРИЙ СЛУЖИТЕЛЬ, СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ, ЕЛЕНА КОЛИНА, ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧЕНКО

Тело: у каждого своё. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей

Елена Николаевна Посвятовская, Григорий Михайлович Служитель, Алексей Борисович Сальников, Татьяна Николаевна Стоянова, Александр Николаевич Архангельский, Ася Володина, Саша В. Николаенко, Ольга Брейнингер, Алексей Федорченко, Татьяна Щербина, Анна Александровна Матвеева, Анна Сергеевна Чухлебова, Марина Львовна Степнова, Николай Владимирович Коляда, Сергей Александрович Шаргунов, Евгений Германович Водолазкин, Фридрих Горенштейн, Екатерина Сергеевна Манойло, Евгения Игоревна Некрасова, Вера Олеговна Богданова, Михаил Турбин, Татьяна Михайловна Замировская, Та-

тьяна Никитична Толстая, Василий Олегович Авченко, Дмитрий Борисович Воденников, Дмитрий Алексеевич Данилов, Марина Львовна Москвина, Юрий Васильевич Буйда, Анна Хрусталева, Денис Викторович Драгунский, Арсений Михайлович Гончуков, Ася Владимировна Долина, Елена Колина, Алексей Николаевич Варламов, Даша Благова, Майя Александровна Кучерская, Тимур Валитов, Елена Сергеевна Холмогорова, Алла Глебовна Горбунова, Вероника Дмитриева

Аннотация
Тело: у каждого своё. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей
Марина Степнова. Кулёма
Алексей Варламов. Партизан Марыч и Великая степь
1
2
3

4
Саша Николаенко. Добрая сказка
Добрая сказка
Один человек
Любопытный случай
Бесконечный запас
Алексей Сальников. Водоплавающая кошка
Юрий Буйда. Йолотистое моё йолото
Евгения Некрасова. 92 кг
Майя Кучерская. Пионы
Действующие лица:
Сцена первая
сцена вторая
сцена третья
сцена четвёртая
сцена пятая
сцена шестая
Александр Архангельский. Крупный план
Вера Богданова. Антитело
Евгений Водолазкин. Чьё тело?
Сергей Шаргунов. Кровинка
Алла Горбунова. Здесь, при жизни
***
***
***
Жирный в утреннем свете

Иное присутствие
Михаил Турбин. Рыбка
Анна Матвеева. Красавица
Анна Чухлебова. Тесность
Дмитрий Данилов. Автомат Калашникова
Арсений Гончуков. Его дневник
Ася Володина. Безымянный
Даша Благова. Родинка
Елена Колина. Член шайки, или История одной любви
Алексей Федорченко. Населённые пункты
Григорий Служитель. “Реплика”
Ольга Брейнингер. Поллок и Брейгель
Татьяна Толстая. Про испанцев, еду и любовь
Тимур Валитов. Последний раунд
Василий Авченко. Отец Мороз
Татьяна Замировская. Кк
Ася Долина. Тег
Тег
Стыд
Молоко
Екатерина Манойло. Мы с тобой одной крови
Татьяна Стоянова. По контуру тела
Владения
Вскрытие
Дерево жизни

Елена Холмогорова. Какого цвета аленький цветочек
1
2
3
4
Анна Хрусталёва. Зинаида Петровна
Николай Коляда. Подтяжка
Марина Москвина. Хрустальный желудок ангела
Дмитрий Воденников. Не стыдно
Татьяна Щербина. Шея
Елена Посвятовская. Пятница вечер
Денис Драгунский. После тела. Hommage au comte Léon Tolstoï
Фридрих Горенштейн. День, оставшийся под обрывом
Об авторах

Аннотация

Новый сборник “Редакции Елены Шубиной” продолжает традиции бестселлеров “Москва: место встречи”, “В Питере жить”, “Птичий рынок” и “Без очереди”.

О теле и телесности рассказывают современные авторы. Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Алексей Сальников, Марина Степнова, Алексей Варламов, Майя Кучерская, Дмитрий Данилов, Саша Николаенко, Денис Драгунский, Анна Матвеева, Юрий Буйда, Алла Горбунова и многие другие пишут о том, что случается, когда человек слишком озабочен своим телом и когда совсем забывает про него.

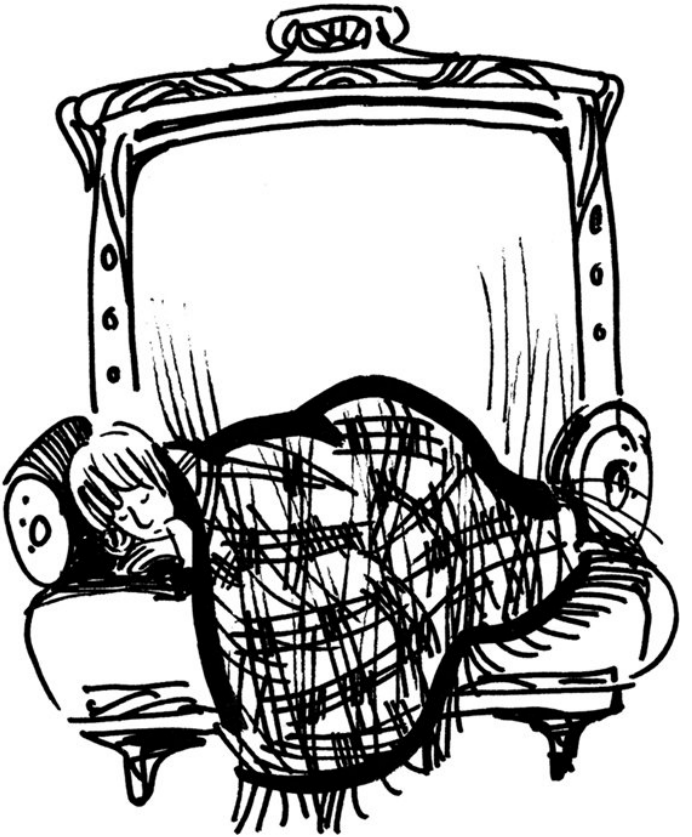
Издание иллюстрировано рисунками Евгении Двоскиной.

Тело: у каждого своё
Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей

© Водолазкин Е.Г., Степнова М.Л., Толстая Т.Н. и др., тексты
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© Пивоваров В.Д., иллюстрация
© Двоскина Е.Г., иллюстрации
© ООО “Издательство АСТ”

Марина Степнова

Кулёма



Выходили всегда в сумерки. Летом и вообще по суху и теплу добирались быстро: переулок, ещё один, мимо Щепного рынка — и на углу Среднемосковской и Малой Дворянской сразу направо. А зимой насилу плелись в густой мозглой темноте, лилась под ноги накатанная масляная дорожка, Саня отставал, спотыкался и всё ныл сквозь шали и башлыки. Канючил сказку.

Мама! Мама … пожалуйста!

Vas-y! Plus vite!

И даже не оборачивалась. Только протягивала назад, не глядя, муфту, маленькую, круглую, пахнущую мокрой щенячьей шёрсткой.

Не догнать, не дотянуться. Нет.

Пожалуйста, мама, ну сильвупле …

Заходили всегда задами, так и не дойдя до молочно-матовых круглых фонарей у парадного подъезда, подле которого вечно караулили две чёрные дежурные кареты.

Просят г.г. приезжающих не обращать внимание на извощиков и других лиц, уверяющих, вследствие своих выгод, о неимении в гостинице свободных номеров, ремонте и других причинах.

Сугробы, сугробы. У чёрного хода — выше головы. А между ними — тропинка. Не тропинка даже — мышиный лаз. Нет, обстучи сперва валенки.

Топ-топ. Дверь распахивалась, выпуская облако тяжёлого съедобного пара: целую секунду нечем дышать, хватаешь воздух немым разинутым ртом, а мама, расстёгиваясь на ходу, уже идёт по коридору, высокому, узкому, впору жирафу гулять, и вслед за ней, то обгоняя, то отставая, спешит дробный звук невидимых быстрых ножей, парадный грохот кастрюль. Ежевечерняя радостная канонада.

Гром победы, раздавайся!

Саня бросался следом, отдуваясь, маленький, неловкий, путаясь в настырных, плотных запахах. Пузырящееся жареное тесто, жир, ворчащий в громадных сковородах. Мясо — отбивное, рубленое, копчёное, остренькое, со слезой. Влажная, перламутровая на срезе осетрина. Тинные шевелящиеся раки.

И вдруг — нежно, неожиданно — свеженатёртая лимонная цедра.

До конца коридора он доходил взмокший от жары и с завистливо бурчащим животом, хотя всякий раз перед выходом из дому плотно ужинал. Картофель дофине, запечённый с молоком и сыром. Чуть подсохший калач. Холодная буженина. Не глотай как гусь. Не подноси нож ко рту. Это неприлично. Да нет же, не сюда, приборам место

на porte-couteau.

Сама не ела никогда, не садилась даже и всё ходила, ходила по комнате, трогая гладко и высоко убранные волосы, да гудела изредка, не разжимая губ и напрягая хрупкое горло.

Ммммммм. Ммммммм. Ммммаааааааа. Ммммммаааааааа!

Будто сама себя окликала.

Распевалась.

Ты закончил? Прибери за собой со стола. И собирайся. Не то опоздаем.

К их приходу уборную уже отпирали. Здесь тоже было натоплено до ломоты в висках, но от окна к печи ходила тонкая извилистая лента сквозняка, и запахи, кроме самых наглых, вроде жарено-лукового, оставались за дверью. Пока Саня, шумно втягивая хлынувшие после холода сопли, выпутывался, слой за слоем, из зимнего, неудобного, волглого изнутри — сам-сам, порядочный человек должен всё уметь делать сам, — мама зажигала керосиновую лампу под круглым розовым абажуром, потом ещё одну, такую же. Ставила обе на трюмо. Садилась. Разглядывала себя, зазеркальную, придирчиво, как чужую. Растирала холодные щёки, лоб, всегда бледные, будто бескровные, даже с самого

сильного мороза. Раскладывала таинственные коробочки, щётки, палочки жирного грима.

Белый. Красный. Синий. Чёрный.

И как Саня ни старался угадать, начинала всегда неожиданно, вдруг.

Жила-была на свете одна девочка. Хотя нет, две. Жили-были две девочки, две принцессы. Одна настоящая, а другая нет. У настоящей принцессы были голубые глазки и волосы — как самый лучший золотой шёлк. А у ненастоящей принцессы волосы были чёрные как сажа и душа тоже чёрная-чёрная. Нет. Души у неё не было вовсе.

Мама трогала нежные губы кончиком карминового, словно окровавленного пальца, ещё раз и ещё. Как будто вбивала. Чмокала негромко — целовала воздух, и Саня невольно сглатывал горькое, шерстяное, липкое. Ревновал. Его мама не целовала никогда. И себя не позволяла. Что за несносные нежности? Прекрати немедленно. Ты всю меня обслюнявил.

Потом мама придвигала баночку сухих румян. Дула на жутковатую заячью лапку. Скулы. Виски. Немного на подбородок. Из теней и пятен начинало складываться новое лицо, тоже красивое, но как будто не совсем мамино, чужое.

Отцом ненастоящей принцессы был злой кол-

дун. Жил он на самой вершине серой скалы. И сам был серый: и лицо, и руки, и губы, и душа — всё серое. Только глаза сверкали, красные как кровь, и видел он ими всё, что творилось на земле, и под землёй, и даже на небе … И спрятаться от колдуна можно было, только крепко-крепко зажмурившись!

Саня послушно зажмуривался, сжимался от счастливого ужаса. А когда открывал наконец глаза, мама уже была за ширмами, по которым вились похожие на раскрытые портновские ножницы драконы. Мама шелестела, шуршала, вскидывая вверх то одну голую руку, то другую. На ширмах появлялись и исчезали волны лёгкой полупрозрачной ткани, юбки, ленты, даже чулки, а Саня, сидя на кушетке и сам не замечая, что раскачивается, всё слушал и слушал про колдуна и про чёрную птицу, на которой колдун летал по свету, про двух принцесс, и сказочный замок, пахнущий яблоками, и про то, как колдун однажды заколдовал настоящую принцессу, превратил её в статую, холодную, твёрдую, неживую, вот только внутри статуя эта всё-всё чувствовала, и, когда по ночам колдун колол её в самое сердце длинной острой булавкой, чтобы повеселить жестокую дочку, из глаз заколдованной принцессы текли

кровавые слёзы.

Но однажды в замке появился принц …

Горностаева!

В дверь грохали коротко, на бегу — кулаком.

И сразу становилось очень тихо.

Только клацали на стене ходики, будто пробуя на зуб каждую минуту.

Мама выходила из-за ширм — в длинном платье, гладком, текучем, алом, на плечах и на груди — тоже алый стеклярус, плотный, переливающийся, словно сказочная кольчуга. Биться с колдуном. Она торопливо трогала нос и щёки пуховкой, прикалывала к волосам цветы — неживые, белые, похрустывающие — и, совсем уже чужая, сияющая, счастливая, с незнакомо сложенным красным ртом, уходила, даже не посмотрев на него, просто уходила, и — он знал уже — через несколько минут издалека ударит гитарный перебор, запищит пьяненькая скрипка и …

Не шей ты мне, матушка, красный сарафан!

И в ответ — рык, рёв, восторженное жадное гудение.

Дальше оставалось только ждать, и Саня ждал, одурелый от скуки и безделья, размаянный, потный. Серенькое сукно чесалось, резало в паху, липло к лопаткам, под носом было солоно и го-

рячо. От жары всё млело, покачивалось, плыло — комната слоилась, словно вчерашнее молоко: снизу голубоватая призрачная пахта, наверху, под самым потолком, тяжёлые жирные сливки. Где-то на кухне стучали венчиком, взбивали эти сливки в крепкие, с пиками, облака, и ему казалось, что они плывут по коридору, неторопливые, грузные, покачивая коровьими боками. Тихо слезились у печки маленькие серые валенки. Саня тряс головой, отгоняя дрёму. В сотый раз перечитывал, шевеля губами, забытую заляпанную карту: телячья голова с черносливом и изюмом, мозги под горошком, консоме с пирожком. Охотился на тараканов — по большей части безуспешно, но иногда удавалось изловить парочку зазевавшихся бедолаг, и тогда он устраивал долгие показательные казни, пока сам же себя не пугался. Торопливо совал искалеченные трупики в печь и коротко, виновато бормотал “Отче наш”. Катал даже по туалетному столику палочки грима, трогал и открывал баночки с разноцветным, нежным, маминым — что было строжайше запрещено. Секли Саню не часто, но чувствительно, и страшнее всего была не сама порка, а мамины глаза — весёлые, синие, прищуренные.

Она радовалась как будто, что ему больно.

Можно было, конечно, попробовать самому сочинить сказку про колдуна, но он не смел. Трусил. Словно без маминого голоса колдун мог вырваться на волю. Ожить. Он снова жмурился, даже уши ладонями зажимал. Прятался.

К десяти часам Саня уставал слоняться от окна к двери и укладывался на неудобный диванчик, натянув на голову старую мамину шальку, шершаво-штопаную, родную. Мама выбросить хотела, а он подобрал. Лампы он не гасил, не прикручивал даже — боялся темноты, — и всё равно каждый вечер просыпался в густом чернильном небытии от тихого шёпота. Он приоткрывал сонные ресницы: нет, не темно, вот крошечное пламя свечи, живые сальные блики на крупном красном носу, шевелящиеся губы. Толстая, тоже шевелящаяся бородавка у края рта. Из бородавки торчит смешная щетинка.

Кулёма, ты? Расскажи сказку!

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей …

Нет, скааазкууу!

Матушка придёт — скажет …

И Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота …

Не хочу про живот. Хочу про колдуна.

Кыш, кыш, нишкни, грешник!

Саня нырял с головой, укутывался, утыкался всем лицом в тёмный шерстяной лоскут.

Опять тряпку свою откуда-то выволок. Дай сюда. Дай, говорю.

Он упирался, прижимал шальку щекой, подбородком, стискивал в два судорожных кулачка: не дам! Поди, дура!

Ах ты, браниться ещё! Вот смотри, нечистый-то тебе язык отгрызёт!

Круглый свечной огонёчек уплывал, переваливаясь. Хлопала сердито дверь.

Саня закрывал глаза, торопливо отсекая одну темноту другой, своей собственной, нестрашной. Складывал вдвое, ещё вдвое, подтыкал под щёку сладковатое, мамино, нежное.

Вдыхал поглубже, устраиваясь.

По коридору, за дверью, шустро шоркали подошвами официанты, а ещё дальше, за несколькими стенами, рокотал ресторанный зал. Звук приходил накатом, волнами, ровный, мирный: музыка, человеческие голоса, стук приборов, и вдруг — изредка — звонкие брызги и дребезги хохота и разлетающихся осколков. И надо всем этим, всё перекрывая, над всем властвуя, — *ми-*

лая, ты услыышь меня, под окном стою я с гитарооою!

Мамин голос.

К полуночи дверь открывалась снова, снова вплывал размытый по краям свечной огонёк, руки, горячие, мокрые, гладили по голове, совали под нос что-то мягкое, пахучее, рассыпчатое.

Нат-ко, расстегайчика тебе урвала.

Мам?

Иди-свищи её, матушку твою. До утра теперь надрываться будет, и как не осипнет только. Жуй, жуй, не кроши. Вот ещё грушка медовая. Под подушку кладу. Видишь? Вот тута.

Ммммм …

Сооооловей мой, сооловей. Голосистый сооооловей.

Так и не дожевав, он падал на подушку, натягивал на себя шальку, за раздутой щекой — тёплый комок из размякшего, нажёванного теста, припущенной в мадере сёмужки, прозрачного лука и чуть похрустывающих белых грибов.

…Да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Кулёма чмокала тёплый воздух возле детской головы, крестила мелко темечко и висок, белё-

сые подушечки сморщены от воды, три вечных лохани — с кипятком, с холодной водой да с помоями. Разогнуться, согнуться, соскрести, окатить, сполоснуть, снова окатить. Разогнуться. Проверить: как ободок под пальцами? Не скрипит — поёт. Хрустали-фарфоры, страшно сказать драгоценные, протирать досуха отдельный мальчик приставлен, не ровён час тарелочка ускользнёт, не расплатишься, а то и вовсе погонят, и так из чистой милости держат, кухонным мужиком в хороший ресторан ещё поди устройся, а она и вовсе баба, кулёма неграмотная, ни спеть тебе, ни про колдуна рассказать.

Она крестила Саню ещё раз, вздыхала — и ежиным топотком убегала на кухню, маленькая, пухлая, круглоголовая, в скособоченном на одно ухо ситцевом платке, а он спал не шелохнувшись до самого утра, потный, бледный, и снился ему серый колдун с рубиновыми глазами, и кулёма в красном мамином сарафане бросалась на него, размахивая огненным расстегаем …

Просыпался он всегда дома, в своей кроватке, и никогда не мог ни вспомнить, ни понять, как здесь оказался, и всё смотрел сквозь тяжёлые, слипшиеся ресницы на белёный потолок, картинки на обоях.

Узнавал.

Зимой сыто гудела печь. Летом хлопотали за окном плотные тополиные листья. И пахло не жареным или жирным, а ничем. Только совсем немножечко — гладким воском от пола и ещё мамой. Он соскакивал с кровати и бежал за этим запахом, словно по следам, до маминой комнаты. Дома? Дома! Нырял с размаху под одеяло, красное, пышное, расшитое розами, прижимался, обнимал двумя руками и ещё, для верности, ногой.

Судорожно вдыхал, почти раздавленный не всякому взрослому человеку посильным счастьем. Ждал — вдруг не оттолкнёт, а просто отодвинется легонько, как будто не от него, а так, потому что бок отлежала. Или шея затекла.

Не оттолкнула.

Мам. Мама.

Угу.

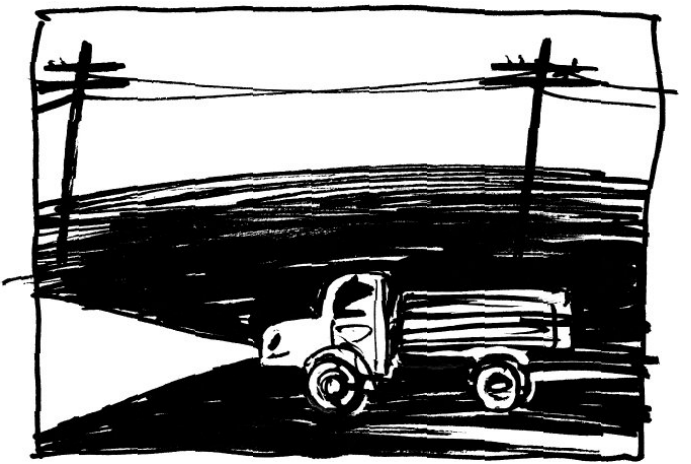
Мам, расскажи сказку. Про колдуна.

Вечером …

Тогда расскажи про кулёму.

Про какую кулёму? Спи! Рано ещё. Спи.

Алексей Варламов
Партизан Марыч и Великая степь



1

Молодая степнячка с нежными пухлыми щеками, чёрными блестящими глазами, утопавшими в этих щеках, она пахла кумысом и травою, её упругая кожа была горяча и суха, а губы настолько влажны, что ощущение этой влаги не проходило весь следующий день. Она была чужеземка, и этим всё было сказано и отмечено: её лицо, походка, взгляд, запах, всё непривычное, возбуждавшее и томившее его. Хотя, вернее, чужеземцем здесь был — он, Марыч.

Он встретил её в южной нерусской степи, куда его отправили под видом трёхмесячных военных сборов на уборку зерна. Была самая середина лета, маковка изнурительной жары, рои мух, мерзкая на вкус вода, пыль, сухость, но самое для него ужасное — невыносимая голость и однообразие: взгляду было буквально не на чем задержаться. С утра до ночи Марыч сидел за рулём, таращил слипавшиеся от постоянного недосыпа глаза и мечтал о том, чтобы увидеть какую-нибудь рощицу или замшелый лесок, лечь в тени, сунуть в рот травинку и долго валяться на прохладной сырой земле. Но не то что леса — одинокого дерева не

было на тысячи километров вокруг. Степь наводила на него тоску невыразимую, она казалась бесконечной, и трудно было поверить, что где-то на юге её сменяют горы, а на севере — леса.

Убогие посёлки с безобразными домами из шлакоблоков, вагончиками, сараями, подсобками, зловонными выгребными ямами, водокачками и бесконечными рядами уходящих за горизонт проводов лишь усугубляли это уныние, и становилось непонятно: что́ делают живущие здесь люди, какая сила пригнала их в это безжизненное место и заставила тут поселиться. Офицеры и прапорщики пили, воровали и продавали казённое имущество, а всю свою злобу вымещали на несчастных солдатиках, ибо солдаты были в этих краях птицы залётные, а командирам ещё служить и служить. До партизан же дела никому не было, заниматься армейской ерундой их не принуждали, знай крути себе баранку в колхозе, и чем больше сделаешь ездок, тем больше тебе заплатят.

Марыч, хоть и жил в казарме, но ходил на танцы в клуб и нередко оставался ночевать в доме на краю посёлка, где его ждала чекушка водки и жадные руки истосковавшейся без мужика сорокалетней немки.

И всё же странное ощущение тревоги и даже враждебности, исходившей от этой знойной выжженной земли, белёсого раскалённого неба и пыльного душного ветра, его не покидало. Постепенно он убедился в том, что это ощущение было присуще в той или иной степени всем приехавшим сюда или высланным русским, украинцам, немцам, чеченам, корейцам. Они называли между собой эту землю целиной, хотя целиной она давно не была: её изнасиловали тридцать с лишним лет назад, и те матёрые энтузиасты и отпетые покорители, что сотворили это насилие, давно умерли или уехали. Земля же с каждым годом давала всё меньше хлеба, её засыпало песком, разламывало оврагами, ветер поднимал над ней пыльные бури, и год от года она становилась всё более суровой и безжалостной к выходцам из корневой России. Она была для них чужая, точно так же, как чужими были здесь они. Кочевников же почти не было видно: они обитали в глубине этой громадной и безграничной степи и пасли скот, передвигаясь за отарами в поисках корма, а те немногие, кто жил в посёлке, держались особняком, и их настороженные замкнутые лица вызывали у Марыча любопытство.

Однажды на дороге он обогнал молодую жен-

щину. Марыч затормозил и дождался, пока она поравняется с машиной.

— Садись!

Женщина посмотрела на него с испугом.

— Да не бойся ты! Куда тебе?

— В больницу.

— Простудилась, что ли? — захохотал он.

Она посмотрела на него враждебно.

— Я там работаю.

Всю дорогу она молчала, сидела, полуотвернувшись от него, и глядела в боковое окно, так что он мог видеть только её шею и нежное, припухлое основание груди. Сарафан колыхался, открывая маленькую грудь до самого соска, и Марыч вдруг почувствовал, что его бьёт озноб, оттого что эта темноволосая, невысокая, но очень аккуратная женщина, плоть от плоти степи, сидит рядом с ним в машине. Она не была красива и не вызывала обычного приятного волнения, но в ту минуту ему хотелось одного — сорвать с неё сарафан и губами исцеловать, выпить эту грудь и всё её незнакомое чужое тело.

У больницы он остановил машину, и женщина быстро, чуть наклонив голову, вошла в ветхое одноэтажное здание.

“Точно зверёк какой-то”, — подумал он удив-

лённо.

Весь день она не шла у него из головы и против воли он всё время вспоминал и представлял её тело. Эти картины распаляли его, а день был особенно душный, Марыч всё время пил воду, обливался пóтом и опять пил, а вечером снова приехал к больнице.

Зачем он это делает и чего хочет добиться, он не знал, но желание видеть эту женщину и овладеть ею было сильнее рассудка. И когда в коридоре он увидел её в белом халате, надетом прямо на смуглое тело, кровь бросилась ему в голову.

— Ты ходишь на танцы? — спросил он хрипло.

— Нет.

— Я хочу, чтобы ты пошла со мной на танцы, — сказал он упрямо, и его серые глаза потемнели.

— Нет, — повторила она.

— Тогда я хочу, чтобы ты поехала со мною, — он взял её за руку, больно сжал запястье и повёл к двери.

В коридоре показалась пожилая врач в очках с крупными линзами. Она вопросительно посмотрела на Марыча и медсестру, и он понял, что сейчас степнячка вырвется, уйдёт и ничего у него с ней не получится ни сегодня, ни завтра. От этой мысли его снова, как тогда в машине, зазнобило,

но ему на удивление девушка не сказала ни слова, и со стороны это выглядело так, как будто они были давно знакомы.

Они сели в машину, плечи её дрожали, и Марыч остро чувствовал и жалость, и безумное влечение к этому дрожащему телу под белым халатом. Трясущимися руками вцепившись в руль, он отъехал от посёлка и вышел из машины.

Она не противилась ему, не кричала и не царапалась, но и не отвечала на его ласки, и он овладел ею грубо, как насильник, крича от ярости и наслаждения, когда входил в гибкое, изящное и неподвижное тело, склонившись над повёрнутой в сторону головою с полуоткрытыми глазами, впиваясь губами и зубами в её нежные плечи, влажные губы и грудь, и что-то яростное, похабное бормотал ей в ухо, ощущая себя не человеком, но степным зверем.

Он не помнил, сколько это продолжалось. Едва угаснув, возбуждение снова возвращалось, её холодность и отстранённость лишь подхлёстывали его. Никогда в жизни не испытывал он ничего подобного — и думать не мог, что он, незлой и нежестокий человек, всегда имевший успех у женщин и потому никогда не добивавшийся их силой, на такое способен. Но когда всё было

кончено и, одевшись, он, тяжело дыша, сидел в машине и курил, а она по-прежнему молчала, Марыч ощутил угрозу. Исходила ли эта угроза от ночной степи, вобравшей в себя его крики и её молчание, от слишком великолепного громадного звёздного неба или от самой покорившейся ему женщины, он не знал, но вдруг поймал себя на мысли, что жалеет о случившемся.

Он не боялся, что она пойдёт жаловаться, да и в конце концов ни разу, ни единым словом или жестом она не выразила возмущения, но он почувствовал, что сколь ни велико и поразительно было испытанное им наслаждение, душа его была опустошена.

Вернувшись в казарму, он лёг, не раздеваясь, поверх одеяла, положил руки за голову и задумался: даже рассказывать о степнячке никому не хотелось. Снова и снова он вспоминал её гладкое, точно морёное, тело, трогательный мысок, поросший мягкими волосами внизу живота, тугие маленькие ягодицы, умещавшиеся в ладонях, когда он поднимал и распластывал её на колючей сухой траве, прерывистое дыхание, вырывавшееся изо рта, острые белые зубки — всё это было живо в памяти необыкновенно, всё было неожиданно и ново, но он чувствовал себя

не счастливым любовником, не насильником, но вором, укравшим у этой земли то, что ему не принадлежало и принадлежать никогда не могло.

С этими мыслями он не заметил, как уснул, а на рассвете его разбудил плотный коренастый прапорщик с мокрыми подмышками по фамилии Модин и шёпотом спросил:

— Слышь, партизан, заработать хочешь?

— Чего? — не понял спросонья Марыч.

— В степь, говорю, поедешь баранов привезти? Заплатят хорошо.

2

Поехали втроём: кроме Марыча и Модина был ещё щупленький, посмеивающийся мужичок, которого прапорщик называл Жалтысом. Путь был долгий, постепенно плоская равнина сделалась более холмистой, машина поднималась и опускалась на сопки и косогоры, уже и дороги никакой не было — просто ехали по степи и Жалтыс рукою указывал Марычу направление, ориентируясь по ему одному известным признакам. Ничто не предвещало жилья, только ближе к вечеру далеко впереди показалось пятно. По мере приближения оно увеличивалось, рассыпалось, делалось пёстрым, и Марыч понял, что это была отара. Не доезжая до неё, они остановились возле ветхой юрты.

Чумазые, оборванные ребятишки с криком обступили машину, залопотали на своём невразумительном языке; на них покрикивали закутанные с головы до ног женщины и с любопытством глядели на приезжих. Из юрты вышел хозяин. Это был мужчина с тёмным морщинистым лицом, обожжённым солнцем и обветренным до такой степени что возраст его определить было

совершенно невозможно. На Марыча и Модина он посмотрел равнодушно — как на нечто, не заслуживающее внимания.

Вместе с суетливым Жалтысом чабан отправился к отаре, а женщины принялись выгружать из машины сворованные прапорщиком из части ящики с продуктами, батарейки, лекарства и одежду. Потом одна из них принесла гостям чаю. Истомившийся дорогой от жажды Марыч выпил, а Модин брезгливо посмотрел на грязную пиалу, где плескалась мутная жидкость, и вылил её на землю.

— Ну её! Подцепишь тут ещё заразу.

Он отошёл в сторону и, не обращая внимания на женщин, стал мочиться.

— Как они живут, не представляю. Хуже цыган. Ни школы, ни больницы. А попробуй такого в посёлок перевезти — сбежит. Да у них и паспортов-то нету …

Степняки пригнали с собой два десятка блеющих овец и стали загонять их по настилу в кузов.

— Ну, чем тебе заплатить — деньгами, водкой? — спросил Жалтыс довольно.

— И тем и другим, — усмехнулся Модин.

Чабан равнодушно кивнул и коротко сказал

что-то женщинам. Через несколько минут те притащили из юрты ящик водки с пыльными бутылками.

— Видал? — заржал прапорщик. — Всё у них есть! А у нас где ты её сейчас достанешь? Месяц не привозили …

Тем временем хозяин принёс мешок, в каком в русских деревнях обычно хранят картошку, и даже ко всему привыкший Модин изумлённо присвистнул: мешок был набит бумажными деньгами. Прапорщик запустил в него руку, вытащил сколько в ней уместилось и запихнул в карман. Затем то же самое он проделал и другой рукой. Чабан глядел презрительно и не говорил ни слова, только губы его всё время что-то жевали. Тогда Модин залез в мешок обеими руками и стал копаться, выбирая купюры покрупнее, и рубашка его, и без того мокрая, стала совсем тёмной от пота.

— Доволен? — осклабился Жалтыс. — Богатый человек Тонанбай. Три жены у него, овец, баранов, лошадей, верблюдов, земли — один Аллах знает сколько.

— Богатый? — пробормотал Модин. — На что ему деньги-то? Солить, что ли? Ладно, поехали.

Дорогой он достал бутылку, зубами содрал

крышку, влил в себя треть и проворчал:

— Дикари. А вот насчёт трёх баб — это неплохо. Хотел бы, партизан?

Он допил бутылку и отвалился, а Марыч подумал, что никогда в жизни он не встречал более вольного, гордого и независимого человека, чем этот степной царёк, обожаемый своими жёнами и детьми, равнодушно взирающий на воровато ухищрения людей, отнявших у него добрую половину земли и загнавших с отарами далеко от жилья.

Было уже совсем темно, когда они выехали на дорогу. Марыч включил фары дальнего света, пристроился за идущей впереди машиной и почти не следил за дорогой. Он вспомнил молодую женщину, безропотно отдавшую ему своё тело. Кем он был в её глазах — белым господином, насильником, завоевателем, имевшим право взять себе любую наложницу? Когда-то они пришли на нашу землю, подумал он, хотя нет, они не приходили, приходили другие, но это не важно, люди из степи уводили в полон славянок. Теперь пришли мы — и женщина просто уступает и отдаётся сильнейшему, рожает от него детей, но эти дети, когда вырастут, встанут на сторону не отцов, а поруганных матерей.

Дорога стремительно неслась ему навстречу, овцы в кузове затихли, Жалтыс и Модин спали, и Марычу вдруг почудилось, что он остался один. Взошла луна, яркая, блестящая, подавившая своим блеском сияние рассыпчатых звёзд, и под её дрожащим светом местность сделалась ещё более зловещей, чем днём. Марычу стало жутко. Он вдруг подумал, что если бы действительно оказался в степи один, то не прожил бы тут и дня.

Луна меж тем стала ещё отчётливей и ярче, точно что-то подсвечивало её изнутри, потом это свечение вырвалось наружу, и вокруг сияющего, стремительно плывущего по небу светила возник пронзительный слепящий нимб. Он медленно увеличивался, расходясь вокруг луны и поглощая оставшиеся на небе звёзды, сверкал, переливался цветами радуги, излучая свой пронзительный космический свет. А потом произошло самое удивительное, во что Марыч никогда бы не поверил, если бы не видел этого сам. Когда нимб вокруг луны разметнулся на четверть небосвода, озарив всю степь, луна вдруг поблёкла — и прямо на глазах у изумлённого водителя стала клониться к горизонту и за несколько минут опустилась совсем. Всё это происходило в полном молчании и таком величавом покое, что от охватившего

его ужаса Марыч дал по тормозам. Машина с визгом остановилась, заблеяли овцы, проснулись Жалтыс и Модин.

— Что это?

— Да хрен его знает. Тут бывает иногда. Ладно, поехали.

Луна, огромная, неясная и бледная, ушла за край степи, нимб вскоре померк, точно его и не было, зажглись звёзды, и два часа спустя они увидели огни посёлка.

3

Всю следующую неделю Модин и Марыч пили. Ящик водки ушёл за три дня, потом, заплатив вдвое больше, они купили у запасливой немки, к которой ходил Марыч, ещё один. Для Модина эти запои были делом привычным, но с Марычем такое случилось впервые. Однако остановиться он не мог: степь внушала шофёру ужас, и он не знал, как заставить себя снова сесть за руль, видеть голый горизонт, сухое солнце и короткие тени, весь этот мир, в центре которого он находился всегда, куда бы и с какой скоростью ни ехал. Он боялся и степного дня, и степной ночи, это было что-то вроде вывернутой наизнанку клаустрофобии — боязнь открытого пространства, и только в маленькой, насквозь прокуренной каптёрке прапорщика Марыч чувствовал себя в относительной безопасности.

От пьянства или по какой-то другой причине его постоянно тошнило, потом начался понос, боли в желудке и навалилась слабость.

— Какая-то в тебе зараза бродит, — заметил Модин. — Говорил я тебе, не надо было у степняков чай пить. Пей водку — вернее средства нет.

Марыч пил, но лучше ему не становилось. Его лихорадило, трясло, и бóльшую часть времени он проводил теперь не в казарме, а в засиженном мухами, щедро посыпанном хлоркой сортире.

“Господи, за что мне это, за что?” — бормотал он, и омерзительный запах испражнений повсюду его преследовал, заставляя испытывать отвращение к грязной одежде, нечистой пище, но больше всего — к собственному телу.

— А ты, говорят, какую-то бабу ихнюю трахнул? — спросил его однажды Модин.

— Кто говорит?

— Видели тебя … — ответил прапорщик неопределённо.

— Ну и что? — равнодушно отозвался Марыч, который давно уже не думал ни о степнячке, ни о немке, ни о своём сумасбродном интернационализме, заполнившем степь, — а лишь о том, как бы дожить до того дня, когда всё это кончится.

Модин разлил по стаканам, закурил, и в его бессмысленном взгляде Марычу почудился снова тот безотчётный неуловимый страх, который он видел в глазах у многих обитателей посёлка.

— Хрен их, степняков, знает. Они тихие-тихие, а только как бы скоро нас жечь не стали.

— Пусть жгут, — вырвалось у Марыча.

— Хорошо тебе так говорить, — пробормотал Модин, — ты вон едешь скоро. А мы?..

Но шофёр ничего не слышал и не говорил в ответ. Уже два дня он не ел, только пил, но изнурительный, с кровью понос не прекращался, хотя непонятно было, что ещё мог исторгать, причиняя жгучую, постыдную боль, его опустошённый желудок.

К вечеру ему стало совсем худо, и Модин отвёз его в больницу. Марыч плохо соображал, где он находится и что с ним. Он лежал в бреду, и в его воспалённом сознании мелькали какие-то лица, громадные птицы махали крыльями, заслоняя небо, он снова куда-то ехал по нёсшейся навстречу дороге, в духоте раскалённой кабины …

Несколько раз приходила пожилая врач, щупала его печень и селезёнку, считала пульс, звонила в город и в воинскую часть и долго и убедительно что-то говорила, но потом раздражённо бросала трубку и закуривала.

А состояние больного меж тем ухудшалось. Промывание желудка не помогло, несколько часов пролежал он под капельницей, и снова ему мерещилось ужасное.

…Разбудил его стук в окно. Марыч открыл глаза и увидел прильнувшего к стеклу Модина. В руках

у прапорщика была бутылка водки.

— Эй, партизан! — позвал он. — Поехали за баранами.

— Я не могу.

— Да брось ты, “не могу”! Поехали! Водки выпьешь, кумыса — всю хворь как рукой снимет. А здесь тебя только залечат.

Он выглядел очень возбуждённо, и было что-то странное и настораживающее в его настойчивости. Марычу не хотелось никуда ехать, но он неуверенно приподнялся, спустил ноги на пол и сделал несколько шагов.

Идти оказалось нетрудно. Больной одновременно чувствовал в своём теле и слабость, и лёгкость. Старенькая трухлявая рама легко поддалась, и он распахнул окно. Луна, такая же яркая и страшная, как в ту ночь, освещала улицу, дома и машину. В кабине сидел посмеивающийся Жалтыс и приветливо махал рукой.

— За ночь обернёмся, — весело сказал Модин. — К утру приедешь — никто и не заметит.

— Да разве успеем? — засомневался Марыч. — Туда сколько ехать-то?

— Они теперь ближе стоят.

Машина не ехала, а плыла. Она двигалась с невероятной скоростью, так что столбы вдоль

дороги сливались в сплошную полосу, образуя тёмный коридор. Иногда Марыч впадал в забытьё, ему чудилось, что он поднимается над степью и внизу остаётся стремительно несущаяся в ночи точка и расходящийся от неё треугольник света. Он крепче сжимал руль, но машина была послушна и шла легко, будто это была не та развалюха, на которой он ездил, и под колёсами лежал асфальт.

Ещё издалека они увидели зарево костров, послышалось ржанье верблюдов и лошадей, голоса людей, гортанные крики, свист. Всё это сливалось в непрерывный гул, и огней, людей, скота было так много, что казалось — здесь собралась вся Великая степь. На кострах жарили мясо, торопливо проходили закутанные в покрывала женщины, визжали и бегали, путаясь у них под ногами, дети. Земля была устлана коврами, и на них сидели гости.

— Тонанбай четвёртый жена берёт, — пояснил Жалтыс. — Молодой, красивый, грамотный. Сто баран за жену отдаёт.

— Да, похудеет у него мешок-то, — хохотнул Модин.

Лоснящееся от жира, разгладившееся и помолодевшее лицо хозяина светилось самодоволь-

ством. Модина и Марыча усадили в кругу гостей, принесли им тарелки с дымящимся мясом, налили водки. Они были единственными чужаками. Резкая речь раздавалась со всех сторон, потом степняки запели, загудели … Жалтыс куда-то исчез, Модин вскоре напился и отвалился без сил, Марыч же почти не пил. В кругу этих людей, чьи враждебные взгляды он постоянно ощущал на себе, ему было неуютно и беспокойно; хотелось домой. Он принялся расталкивать своего товарища, но прапорщик был мертвецки пьян.

Из юрты вышла невеста и встала за спиной Тонанбая рядом с тремя его жёнами. Раздались громкие одобрительные возгласы, Марыч пригляделся внимательнее — и похолодел: он узнал в нарядно одетой молодой женщине ту самую степнячку. Шофёра прошибло пóтом, он быстро наклонил голову, но было поздно: невеста узнала его.

Она что-то сказала Тонанбаю, тот нахмурился, его гордое лицо сделалось жестоким и злым, и он двинулся по направлению к обидчику. Марыч вскочил и, расталкивая гостей, бросился бежать. Поднялась невероятная суматоха, его потеряли из виду, и он, путаясь в верёвках, верблюжьих упряжках и поводьях, заметался между юртами и

повозками. Всё мелькало и кружило у него перед глазами, снова падала и светилась, озаряя полнеба и степь, и клонилась к чужому горизонту чужая луна, а он всё бежал и бежал, пока какой-то всадник не зацепил его длинным шестом с верёвкой на конце. Марыч упал на траву, и наступило затмение.

…Его куда-то несли, кололи, переворачивали, раздевали и терзали измученное тело. Он не различал ничьих лиц, и только узнавал блестевшие в темноте холодные глаза степнячки.

4

Студенистое, жирное солнце выкатило из-за дальней сопки и, цепляясь за горизонт, поплыло по-над степью.

Марыч лежал, связанный верёвками, возле какой-то повозки. Местность опустела: кочевники снялись и ушли, только кое-где дымились костры. Над землёй парили громадные птицы, опускались и подбирались к остаткам вчерашнего пиршества. В стороне паслась отара и стояла одинокая юрта. Машины нигде не было. Марыч оглянулся и увидел невдалеке связанного Модина.

— Эй! — позвал он.

Прапорщик открыл мутные глаза и застонал.

— Сука Жалтыс! Сука!

Хотелось пить, но никто к ним не подходил. А солнце уже поднялось над степью и стало припекать. Они кричали и звали, надсаживая охрипшие, пересохшие от жажды глотки.

Омерзительно жужжали и садились на лицо, лезли в глаза и в рот блестящие зелёные и синие мухи, осмелевшие птицы кружили совсем рядом, и Марыч испугался, что, покончив с костями и

кусками мяса, они возьмутся за людей.

Иногда ему слышался вдалеке шум машины, иногда казалось, что по краю степи, по самому горизонту идут зерноуборочные комбайны, — но это были только миражи пустой и мёртвой степи.

Тонанбай появился часов через шесть, когда сознание их совсем помутилось и они уже бредили. Он развязал их и махнул рукой в сторону отары.

— Чего он хочет? Пусть даст воды!

Они ему показывали знаками — пить, пить, — чабан что-то сердито говорил в ответ, но они не понимали. Потом он уехал, растворился в мареве душного дня, а они снова остались одни под изнурительным солнцем.

— Пошли! — сказал Марыч, вставая.

— Куда?

— Ты сам говорил: они теперь ближе к посёлку стоят.

Модин покачал головой — и Марыч не стал его уговаривать. Сильнее жажды и зноя его мучила бесконечная круговая линия горизонта, хотелось забиться, спрятаться в какую угодно яму или расщелину, только бы не видеть этой громады, у которой не было центра — и центр её был везде.

...Удар хлыста по спине заставил его оста-

новиться. Беглец упал — и увидел над собой молодую жену Тонанбая. Она сидела на лошади — гибкая, ловкая, её красивые глаза блестели и горели азартом, ноздри раздувались; охваченная погоней, она была ещё привлекательнее и желаннее, чем в ту ночь. Он вспомнил влажный вкус её губ и протянул руки, но новый удар хлыста отшвырнул его на землю.

— Ты будешь пасти овец моего мужа! Вставай!

Тело налилось тяжестью, и он почувствовал, что не может никуда идти.

— Ты придёшь сам, когда захочешь пить.

— Нет! — крикнул он, но голос у него сорвался, и изо рта полилась кровь.

Степнячка хлестнула лошадь и умчалась, а он остался лежать на сухой траве. Стук копыт удалявшейся лошади стих, а потом снова его куда-то поволокли, снова мучили и колотили … Он лежал в забытьи — и не знал, где находится, но вдруг расслышал над собой голоса.

— …Борт придёт не раньше понедельника.

— Я не могу столько ждать. Он очень плох.

— Отправляйте на машине.

— Десять часов дороги он не выдержит.

— Пусть с ним кто-нибудь поедет.

Марыч плыл на носилках в раскалённом воз-

духе по больничному коридору, мимо боксов, стеклянных стен и плакатов санпросветбюллетеня. Промелькнуло серое от пыли лицо Модина с пустыми и пьяными глазами, ему что-то резко выговаривал высокий мужчина в военной форме. Несколько раз кто-то повторил слово “эпидемия”, подошла женщина в белом халате и с лицом, закрытом марлевой повязкой. Марыча погрузили в машину, и снова замелькали перед глазами заборы, дома, водокачки и столбы.

А солнце поднималось всё выше, оно укорачивало тень санитарной машины, но Марыча в этой машине уже не было. И так он лежал и смотрел до тех пор, пока, дойдя до самой верхней точки, солнце не замерло и не осталось в этой вышине и в его замершем взгляде навсегда — маленькое, злое, жгучее и узкое, как зрачки степной женщины.

— Кончился?

Молодой солдат-первогодок, белобрысый, с пухлыми детскими губами, глазами навыкате и короткими моргающими ресницами, с испугом смотрел на медсестру.

Женщина ничего не ответила. Она сидела бесстрастная, молчаливая, и в её глазах, глядевших поверх марлевой повязки, не было ни жалости,

ни страха. Солдат отвернулся, и мелькнувшая у него было мысль где-нибудь на обратном пути остановиться в степи с медсестрой угасла сама собой. Он подумал, что скоро на жаре мёртвое тело начнёт пахнуть, и сильнее нажал на газ.

Маленькая тёмная точка быстро двигалась по степной дороге, словно пытаясь убежать от нависшего над ней солнца, и поднимавшейся душе Марыча было неуютно и голо под безжалостным светом. Её палило зноем, трепало ветром и пригибало к земле, но, удерживаемая какой-то силой, она никак не могла подняться туда, откуда был виден край Великой степи, и навсегда осталась привязанной к самой её середине.

Саша Николаенко

Добрая сказка



Добрая сказка

Росту Константин Алексеевич Тряпочкин был невеликого, сложения плоского, характера тихого, бесконфликтного, лицо носил длинное, неприметное, глаза смутные, с тусклым проблеском, без надежд. Словом, был это маленький, ничем не примечательный человек, на служебной “жизни лестнице” в побегушках: если и войдёт к начальнику, то на цыпочках, если сядет в приёмной — то с краешку, если кашлянет — то в платок. Во грехах-страстях не замеченный, совершенно безопасный для общества человек.

Но совсем не тот Тряпочкин обитал в душе Константин Алексеича! Обитатель земной его тленной обители был воинственный дух, дух бессмертный, дух — наследник Саладину и Цезарю, Тамерлану, Чингисхану и Македонскому, Ганнибалу! Дух кровавого вседержителя, дух земного наместника, дух над всеми начальниками начальника, викинг, демон, усмирённый телесной обителью, подобно всемогущему Джину, заточённому в смертный, телесный сосуд.

Величайший из полководцев, тактик-практик, стратег, беспощадный деспот жил в нашем Кон-

стантин Алексеевиче, и во царстве Морфеевом покорялись воле его стада скота крупного, скота мелкого, поля плодородные, вавилоны, женщины, их рабыни, собачки, империи, пустыни безродные, ключевые источники, насекомые, наводнения и затмения, мудрецы, дураки, сумасшедшие и влюблённые, императоры и шуты.

Вылетал дух сей воинствующий из Тряпочкина в ночи, в районе полуночи, едва его тело слабое засыпало, и, пройдя сквозь стекло оконное и балконное, взмывал в славе воинской, силы оружия, сражался и погибал, воскресал, снисходил на селения мирные во знамениях огненных, в трубном вое и зареве, ибо дух сей воинственный, как ему и положено, был бессмертен.

Возвратившись же в тело своё, по звонку будильника, Тряпочкин поднимался, умывался, делал гимнастику, почти три отжимания от коврика, приседания, съедал на завтрак яичко с хлебом и творогом, ехал в сером пальтишке драповом, ехал скромный, никем не замеченный, в давке за существование личности утрамбованный, на метро, потом на автобусе, ибо обитель его телесная служила диспетчером в неком ООО ККО.

И добавить нам к этой истории нечего, кроме

как вздохнуть с облегчением, ибо злу на земле всегда найдётся обитель достойная … в доброй сказке.

Один человек

Странная болезнь настигла Константин Михайловича Перемыкина. Перемыкин стал исчезать. Он исчез сперва из комментаторов глобальных сетей, утром следующего дня не пришёл на работу. Его телефонный номер совершенно необъяснимым образом исчез из телефонных книжек его приятелей, сотрудников, одноклассников и бывшей жены. Перемыкин исчез из базы данных МГТС, баз федеральной налоговой службы, ОСАГО, ГИБДД и прочее. Перемыкин исчез, как будто никогда не бывал, не рождался, не ходил в детский садик и районную поликлинику, не болел желтухой и вообще не болел. Исчезла его страховка и медицинская карта.

То есть Константин Михайлович исчез не так, как принято исчезать, когда ты исчез, а все тебя ищут, нет. Перемыкин исчез насовсем из человеческой памяти.

И это бы ладно, в конце концов, что за дело нам всем до какого-то там Перемыкина, мы-то его не знали! Но … пожар, как известно, начинается с одной спички, а всякая эпидемия — с очага. И Перемыкин Константин Михайлович стал этим

очагом.

Следом за Перемыкиным исчезла дочь его от прежнего брака Даша. За Дашей исчезла бывшая жена Перемыкина Клара, вместе с Кларой исчез её второй муж Семён Александрович, все, с кем этот Семён Александрович имел дел и знакомств, вместе с дочерью Дашей исчез весь её класс, её классная руководительница Ольга Михайловна, завуч, директор, физрук, гардероб, гардеробщица, дворник, охранник и собственно школа. Каждый ученик, пришедший в день исчезновения Даши домой, заразил исчезновеньем своих родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестёр. Вместе с бывшей женой Перемыкина исчезли продукты, которые купила она только что, а вместе с продуктами исчез продуктовый магазин на углу, в который она ходила, вместе с кассами и кассирами, исчезли троллейбусы и автобусы, библиотеки, метро … исчезло точно так же, совершенно необъяснимо.

Исчезли бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка Перемыкина, с ними древние прародители до Адама с ребром его, то есть — все.

Эпидемия исчезновений распространилась мгновенно. Инкубационного периода почти не было. И хотя самолёты, автомобили и поез-

да, которые, как известно, служат скорейшему распространенью инфекции, исчезли тоже, эпидемию этот факт не остановил. После первой вспышки исчезновений в Москве в течение пары дней были зафиксированы исчезновения более чем в 16 странах мира. Вирус попал в регионы. Остановить эпидемию оказались бессильны все службы спасения, ибо тоже исчезли. Очень скоро исчезла из мироздания наша галактика, солнце, луна и всё, о чём имел (хотя и смутные) представление Перемыкин: кинотеатры, торговые комплексы, страны, океаны, моря, города, острова, континенты, сама земля, все живущее население, надежда на его продолжение, и даже память о нём. Так исчезновенье, как и появление человечества, началось с одного человека. Только представьте, вообразите себе, какую цепочку хомо-несуществующих потянул за собою в прошлое с будущим всего один не пропавший, но именно исчезнувший человек! И нам, увы, совершенно нечем утешить исчезнувшего читателя, кроме того, что рассказ сей только предположение о значении и цене всего одной человеческой жизни.

Любопытный случай

Был доставлен в психоневрологическое отделение нарядом полиции Шабашкин Константин Алексеевич, задержанный при переходе улицы в неположенном месте, и это ладно бы, это нормально для простой человеческой глупости, но задержанный переходил улицу с глазами закрытыми и на просьбу глаза открыть мотал головой и только крепче стискивал веки.

На приём к профессору Алексееву, светилу, известному в области расстройств психики, человек с глазами закрытыми попал вне очередности страждущих, именно как случай, любопытный для практики: было ясно, что несчастный боится реальности до той степени, что не может взглянуть ей в глаза.

— Вы чего-то боитесь, Шабашкин? — сразу же перешёл к делу профессор.

— Да … мне страшно, мне страшно — да-да! — закивал пациент.

— Вы здесь в полной безопасности, Константин Алексеевич, сами видите … — при этих словах профессор вздохнул и покашлял, — здесь только вы и я. Посмотрите!

Но Шабашкин отрицательно покачал головой.

— Не меня же вы боитесь, Шабашкин? Я желаю вам только добра. Поверьте, ничего не может быть хуже страха реальности …

— Вы ошибаетесь, доктор … может …

— И что же?

— Понимаете, я вижу … сны …

— Все видят сны, это абсолютно нормально. Может быть, вам снятся кошмары?

— Что вы, доктор, нет! Это прекрасные сны!

— Вот оно что … и вы не хотите открывать глаза, потому что реальность кажется вам хуже кошмара?

— Не в этом дело!

— В чём же тогда?

— Понимаете, доктор … я боюсь открывать глаза … потому …

— Почему же? Я слушаю … ну?

— Дело вовсе не в том, что реальность хуже кошмара … Она … она — лучше, она не исчезнет оттого, что я закрою глаза, а они, мои сны … Они исчезают!

— И что же?

— Но ведь доктор … это миры! Это — люди … доктор! Мне снятся люди! Разве я имею право дать им исчезнуть?

— Видите ли, Шабашкин, сны — это только порождение вашей фантазии, сон — лишь ключ к пониманью себя, сновидения — идеальный выход из негативного напряжения … Ничего реального, материального, Константин Алексеевич!

— Вы уверенны … доктор?

— Ну, разумеется. Вы боитесь жизни, Шабашкин. Боитесь взглянуть в глаза настоящему. Даже можно сказать не живёте! Так что успокойтесь, пожалуйста, и откройте глаза. Скажите мне, да? Хорошо?

— Хорошо … но, доктор … Доктор! дайте мне руку …

Профессор, улыбаясь, протянул Шабашкину руку, и несчастный крепко вцепился в неё, готовясь сделать то, на чём настаивал Алексеев.

— Что ж, готовы?

Шабашкин кивнул.

— Тогда открывайте, я жду!

И Шабашкин открыл глаза. Перед ним на прикроватной тумбочке тикал будильник.

Бесконечный запас

А тем временем, потрясённый, застыл, уставившись в циферблат, бессмертный Константин Алексеевич; бессмертный, потому что каждое движение стрелки по кругу часов его, мгновение за мгновением стирая сейчас, одновременно пополняло запас его в будущем.

Алексей Сальников

Водоплавающая кошка



Мама не сразу поняла, что летняя жизнь её сы-

на Саши чревата опасностями. Во все остальные времена года он почему-то берёг себя, когда она уходила на работу, а летом, будто назло, начинал получать травмы и творить всякие дикие вещи.

К примеру, как-то в июне, когда ему только-только исполнилось семь, он зачем-то собрал на кухне ворох газет и поджог. Сколько его потом ни спрашивали мама и другие взрослые, для чего это ему понадобилось, он не мог ответить. Саша и себе не в силах был объяснить, почему песня Окуджавы “Ты гори, гори, мой костёр”, воззвавшая к его сердцу посредством телевизора, подействовала таким образом. Помнил только, как надеялся, что брошенная спичка погаснет в полёте, и то, что у него дрогнула правая бровь, когда среди покрытой буквами и фотографиями бумаги возникло и стало разрастаться тёмное пятно почти невидимого в свете дня пламени.

Обнаружив почерневший потолок и оплавленную дыру в линолеуме, мама так поколотила Сашу, что на следующий день, при виде всех его синяков, принялась извиняться. Но что синяки? Буквально через пару дней, проверяя, сколько ступенек лестницы может перепрыгнуть на бегу, Саша сломал ногу. Всё лето перед школой он провёл в больнице на вытяжке, затем дома в гипсе и

снова в больнице на реабилитации.

Лето между первым и вторым классом было летом плаванья. Два раза Саша тонул. В конце июня, когда все друзья разъехались по дедушкам и бабушкам, он решил сходить искупнуться. Ему было лень тащиться до места, что считалось в их ПГТ пляжем, поэтому Саша самым кратчайшим путём добрался до реки, разделся и прыгнул в воду с глинистого берега. В том месте было неглубоко, но Саша по колено застрял в иле и с грустью наблюдал близкую, сантиметрах в десяти у себя над головой, поверхность воды и пускал пузыри.

Как-то выкарабкался, долго сидел, стуча зубами от запоздалого ужаса. Тут-то его и заприметил кто-то из маминых знакомых. А вечером, как после достопамятного костра, мама применяла насилие и кричала:

— Тут сказали, что ты один купаться ходил. Ты башкой своей соображать вообще можешь? Ты обо мне подумал? У меня ноги подкосились, когда я это услышала! А если бы тебе кто-нибудь голову открутил, пока ты там шлялся, ты об этом подумал?

С чего бы кому-то откручивать ему голову, Саша не понимал, но это было постоянной маминой страшилкой.

Мама категорически запретила ходить на реку, пока не вернётся кто-нибудь из друзей во дворе.

Это не помешало Саше выбрать место, как ему казалось, поукромнее, чтобы поупражняться в плавании без свидетелей (он стеснялся, что держится на воде неуверенно). Даже не умея плавать, Саша добултыхался дотуда, где ноги уже не могли нащупать опоры, тут хлебнул водички сразу ртом и носом и пошёл ко дну в полном молчании, потому что кричать не было смысла: Саша знал, что никого рядом нет.

Так он думал. А зря! Трудно было доискаться одинокой смерти в их маленьком посёлке.

В отчаянии, что по-собачьи он до берега не доберётся, Саша всё же продолжал двигаться на сушу, но тут его схватили поперёк туловища, вытащили из воды и пристроили на его же расстеленную в траве футболку. Сквозь слипавшиеся от сырости ресницы Саша увидел овчарку, вилявшую хвостом. Рядом с собакой стояла учительница начальных классов, не их классная. Она молча выжимала платье, не глядя на Сашу, смотрела на часики на запястье, подносила их к уху, пару раз досадливо цыкнула.

— Чеев! — сказала она, когда наконец обратила на него внимание. — Какого чёрта вообще!

Живой хоть?

Она проводила его до подъезда. Саша опасался, что учительница раззвонит всем, как спасла его. Однако она никому ничего не рассказала. Только потом, когда Саша пересекался с ней в школе или в магазине, в библиотеке, на улице, они обменивались едва заметными кивками, ведь у них было теперь что-то вроде общей тайны.

Но в то лето Сашу не покинуло желание купаться. В один из особенно жарких дней он пошёл на местный пляж: будь что будет, разболтают так разболтают. На глубину предусмотрительно решил не лезть, понял, что ему достаточно будет лягушатника, но и по колено не успел зайти, как порезал ногу, да так, что местный автолюбитель, взявшийся подвезти наспех перевязанного Сашу до больницы, оглядывался на него, лежавшего на заднем сиденье, и бледнел. Мама, пока ходила за Сашей, за его швами, получается, лечила его с одного конца и колотила с другого.

В начале каникул между вторым и третьим классом мама купила Саше велосипед. Саша поклялся, что станет кататься только во дворе. По первости он исполнял это обещание, но всё равно получил шрам на подбородке. Мама обговорила с ним множество деталей насчёт того, что можно

считать двором, а что уже является улицей, проезжей частью и всё такое, но ей не могло прийти в голову, что сын попробует научиться кататься без рук. Затем последовало сотрясение мозга, или того, что находилось у Саши в черепной коробке.

— По-моему, он у тебя отчаянно не желает дожить до приёма в пионеры, я так вижу, — заметила как-то соседка по лестничной площадке, у которой был телефон, и от неё обычно вызванивали Саше всяких врачей.

Разумеется, Саша однажды не вытерпел и выехал на улицу. Сама форма велосипеда, его видимая лёгкость и быстрота, блеск спиц и крутящихся катафотов требовали путешествия за пределы, очерченные двумя домами, помойкой и котлованом будущей стройки. Ничего не случилось. И на следующий день ничего не произошло. И неделя миновала без приключений. А потом Саша чуть не угодил под “КамАз”. Вышло так, что Саша спешил, не зная куда, и “КамАз” торопился, и пути их почти пересеклись неподалёку от хлебного магазина. Остановились они в метре друг от друга, Саша даже подумал, что не доставил никакого беспокойства шофёру, решил, что инцидент исчерпан тем, что велосипед оказался быстрее вылезшего из кабины водителя, и как же

удивился, когда вечером ему дико влетело.

— Выпускать тебя нельзя! — кричала мама. — Но и дома тебя не оставишь! Что ты за проклятие такое? Объясни мне, чего тебе не хватает? Почему ты не можешь быть нормальным, как другие? Почему у других матерей дети дома прибираются, еду готовят, а ты такой бестолковый? Всё! Будешь сидеть с нянькой, как маленький! К Ольге будешь ходить, а она за тобой будет смотреть, я уже договорилась!

Саше пришлось отвернуться, чтобы скрыть довольную улыбку.

В посёлке у мамы была сестра, а у сестры дочь по имени Оля. Они дружили семьями, в гости друг к другу ходили, дни рождения отмечали, иногда и Новый год тоже, но сильного желания общаться с двоюродной сестрой Саша не испытывал. А уж она — тем более. Ему было девять, ей — четырнадцать. Он был просто обузой, причём обузой опасной, с ушами и языком. Он мог что-нибудь подслушать и сболтнуть. Если детсадовец ещё представлял какой-то интерес в компании подруг, будучи живой куклой, которой дай в руки карандаш и листок бумаги, считай — занял, то с Сашей этот номер уже не прокатил бы. Его нельзя было попереодевать и попричёсывать всяко

— хрен бы он дался. Саша это понимал. Пусть его поступки не всегда отличала рациональность и предусмотрительность, но в некоторых вещах он всё же соображал. Он помнил, что Оля не пускала его к себе в комнату, если он находился в гостях. Закатывала глаза и вздыхала, если им предлагали уйти и не сидеть за взрослыми разговорами. Понятно было и ежу, что Оля сидеть с ним не станет, а сразу спровадит на волю с их общего согласия.

Только наутро, когда Ольга, зевая, впустила его к себе, Саша узнал, что это не его покарали, а это он был наказанием Оли, потому что она косякнула как-то невообразимо, сотворила что-то такое эдакое, о чём не спешили распространяться ни мама, ни родственники, ни сама двоюродная сестра. Поэтому-то Саша прилагался теперь к ней, как гиря к арестанту, как чемодан без ручки, который, как известно, и тащить тяжело, и бросить жалко.

Тут бы им и свихнуться обоим от скуки в компании друг друга, но подруга Ольги дала ей на несколько дней “Девочку с Земли” Булычёва. Сестра принялась читать книгу вслух, а когда устала, Саша взялся за это дело. В промежутке между чтением посмотрели серию “Путешествия Пана Кляксы”. В паузах между всем этим, и за

обедом, Оля то и дело вспоминала своего знакомого молодого человека, и её слова Саша большей частью пропускал мимо ушей. Его заинтересовали только рассказы про то, как Оля ходила с молодым человеком в тир и в кафе-мороженое. Саша сам был не против найти такого товарища, который свозил бы его в город и развлёк просто так, за красивые глазки, но подобных в его окружении что-то не наблюдалось. Маму в кафе было не затащить, а что до тира, то она только однажды расщедрилась на пять пулек, и на том стрелковая подготовка Саши закончилась.

“Девочка с Земли” быстро подошла к концу. Но сестра выяснила, что Саша не читал “Приключения Гекльберри Финна”. “Приключения Тома Сойера” — да, а вторую книгу — нет. Взялись за неё. А после стали читать “Сказки братьев Гримм”.

Во время чтения, болтовни, чая и перекусов в квартире всячески фигурировала кошка — мирный чёрно-белый зверь по кличке Мурка, навсегда запертая в квартире во избежание котят, которых однажды притащила, погуляв на улице. Играть с ней было неинтересно — Мурка не реагировала на попытки развлечь её, равнодушно смотрела на конфетный фантик, привязанный к

нитке, на руку, шевелившуюся под покрывалом, на пальцы, хищно скрюченные перед её мордой.

Ела она то же, что и люди. Она и упрёки получала, как дети, с той же интонацией к ней обращались Олины родители, нисколько не сомневаясь, что их понимают.

На второй неделе ареста, соревнуясь, кто сможет сильнее поперчить суп и съесть, Саша и Ольга оба проиграли, вылили свои порции в унитаз, а курицу из супа выложили кошке в блюдце. Но и Мурка не пришла в восторг от обилия специй. Вернувшиеся с работы взрослые заметили, что кошка не ест курицу, но поняли это по-своему, по-родительски:

— Мурка совсем уже охренела, мясо не ест! — возмутилась Олина мама.

— Значит, не голодная! — заключил Олин папа.

Саша, бывший свидетелем этой сцены, мучимый совестью, что Мурка осталась без ужина, на следующее утро выкрал у себя дома тефтели из кастрюли в холодильнике и дошёл с ними, сжатыми в кулаках, до двери Ольгиной квартиры.

Это кормление Мурки отчасти смягчило сердце Оли, пробудило в ней любопытство к личности младшего брата, она даже не удержалась и

спросила, зачем он пытался устроить пожар два года назад. Наверно, она думала, что у него была причина, которую Саша скрывал от взрослых. И если маме и тёте, её мужу он отвечал, что не знает зачем, то Оле ответил: “Просто почему-то захотелось”. Она решила, что это признание, и поэтому тоже поделилась, за что её арестовали.

Оля подружилась с одним из стройотрядовцев, что приехали в посёлок на помощь совхозу, выдавала себя за шестнадцатилетнюю, а студент поверил.

Когда Саша вырос и вспоминал об этом её признании, его начинало колотить от бешенства к стройотрядовцу. Не могла Оля его обмануть, потому что не выглядела старше, а если бы и выглядела, то это ничего не меняло. Как можно было начать мутить с девочкой, которая читала “Приключения Гекльберри Финна” и смотрела “Путешествия пана Кляксы”, Саша не понимал. О чём они могли разговаривать? Что у них было общего?

Но вот девятилетний Саша почувствовал разочарование. Он сделал вывод, что это глупость — запирать за такое, что это признание ничего не стоит. Он решил, что за Олиным признанием скрывается настоящий секрет, неизвестно какой,

но допытываться не стал. Возможно, он попытался бы вытащить из сестры ещё какой секрет, но произошло то, что отвлекло его на долгое время.

Мурка лежала на солнечном подоконнике и сохла, словно какая-нибудь тряпка. Он и раньше замечал, что иногда кошка выглядит так, будто побывала под сильным дождём, но всё это между делом, просто деталь, которая сразу же вылетала у него из головы, как и многое, попадавшееся ему на глаза. Кошка гуляла на балконе и там могла промокнуть в те прошлые разы, когда он её видел, потому что стояла пасмурная погода.

— Она у вас в ведро, что ли, упала? — спросил он, потому что сам недавно споткнулся на ведре с водой на лестничной площадке и несколько раз ловко увернулся от швабры, которой его пыталась огреть дежурная по подъезду.

— Нет, — отвечала Оля. — Мурка любит в ванне поплавать. Она со мной моется иногда.

— То есть как?

— Просто берёт и плавает, всегда плавала.

Саша уставился на сестру, задохнувшись от чувств, что его охватили.

Они были родственники, по праздникам взрослые всегда задерживались допоздна, многое обсуждали, всякие глупости про работу, жизнь,

прошлое своё деревенское, скучное, давно известное Саше, кошке исполнилось несколько лет, Саша и Ольга столько сидели вместе, читали книги, и Оля все уши прожужжала про своего дурацкого парня, который почти не стоил внимания, а самое главное не вспомнила. И никто из её семьи не упомянул никогда, вскользь даже, будто водоплавающая кошка имелась в каждом доме. Да кошки и отличались от остальных домашних животных тем, что ловили мышей и не любили воду, поэтому умывались сами. Как? Как про такое можно было забыть сказать, Саша не понимал. Всё равно что слона дома держать и молчать.

Выражение Сашиного лица Оля приняла за недоверие, поэтому сказала, поднимаясь:

— Можно хоть сейчас ванну набрать.

Минут через десять кошка действительно соскользнула с бортика ванны в горячую воду и принялась не без видимого удовольствия и совершенно без труда медленно кружить там под восхищённым взглядом Саши, которому было далеко до её умения плавать.

Когда Мурке надоело, она без труда выбралась наружу, поначалу непривычно худая, даже тощая, истончившимися хвостом и лапами по-

хожая на крысу. Они сушили её в полотенце, а Мурка спокойно принимала всю возню вокруг неё как должное.

Оля быстро поцеловала Сашу в щёку, а он сделал вид, что не заметил её глупого поступка.

Месяца хватило родителям, чтобы натешиться властью и унять свои страхи. Когда заточение подошло к концу, Саша и Оля с лёгкостью разбежались по своим компаниям.

Учебный год стартовал. Средняя и начальная школы занимали в посёлке одно большое здание. Иногда Оля проходила мимо Саши, делая вид, что не замечает его, но Саша не мог так быстро оставить её в покое, не умел быстро забыть о чтении вслух, о разговорах за чаем, обо всём таком, что их ненадолго связывало. Каждый раз он машинально хватал её за запястье, когда видел в школьном коридоре. Оля спокойно выдёргивала руку, даже не отвлекаясь от болтовни с одноклассницами.

Совместная встреча Нового года прошла как прежде. Оля, злая оттого, что её не пустили праздновать у подружки, в упор не видела Сашу.

Весной мама невзначай передала Саше, что Оля потеряла сознание во время репетиции в танцевальном кружке, и её отправили на обследование. После обследования Олю положили в

больницу.

В середине следующего лета они увиделись снова. Оля сильно располнела после терапии. Она всегда была загорелой, похожей на цыганку, а тут её смуглость превратилась в нехорошую желтизну. Их зачем-то оставили одних, и тогда Оля сказала, что у неё рак, что она исхитрилась подсмотреть свою историю болезни, и прогноз неблагоприятный.

Саша не понял, о чём это она вообще. Он довольно часто попадал в больницу и выходил из неё вполне здоровый. Он тогда и не сообразил, что она ждала сочувствия, предполагал, что всё будет в порядке.

Когда мама говорила, что Оля не может больше без морфия, для него это были тоже пустые, не значащие ничего слова.

Конечно, Оля умерла. Саше показалось, что, когда он услышал эту новость, то остался равнодушен. Его сводили на похороны, он постоял у сестры перед гробом, он давился кутьёй на поминках, на девятый день и в сороковины, сидя почему-то среди чужих людей, каких-то умилявшихся ему старушек, ему чудовищно жаль было родителей Оли, они приглашали в гости, но добровольно он не появился ни разу, только

когда мама водила за компанию.

Не стало Оли в начале зимы, и вроде бы всё было по-прежнему, но Саша перестал делать уроки. Открывал учебник, тетрадь, закрывал обратно, не в силах соображать. Автоматически ходил в школу, просто сидел за партой, отвечал, когда спрашивали, за одну четверть превратился из хорошиста в двоечника, благо мама не доставала. Ей хотелось, чтобы он был здоров, а оценки и записи в дневнике её не трогали.

За вторую половину учебного года Сашу дважды исключали из пионеров. Первый раз за то, что он не пришёл на школьный концерт, где должен был читать стихотворение. Второй раз он не поехал петь на шефское предприятие, хотя, учитывая слух Саши и его голос, Сашу должны были чем-нибудь наградить, а не наказывать. Где-то через неделю после исключения классная руководительница собирала что-то вроде коллективного суда из Сашиных одноклассников, там голосовали, достоин ли он того, чтобы вернуться в ряды, и т. д. Снова ему повязывали галстук, пристёгивали значок. Спрашивали: “Теперь ты осознал?” Саша кивал, чтобы отстали.

Но постепенно жизнь взяла своё, Саша выправился по учёбе, втянулся в игры во дворе и на

улице. Знание, что у дяди и тёти была дочь Оля, перестало его угнетать, а стало просто фактом, тем более тётя через пару лет родила девочку, которую назвали Ирой. Тётя с дядей сами, кажется, утешились, не мог же Саша страдать дольше, чем они.

Дальше — больше. Саша вступил в подростковый возраст, временно заслонивший от него все прежние впечатления, и взрослая жизнь пошла, пошла, захватила до такой степени, что и вовсе некогда было оглянуться порой и что-то как-то там отрефлексировать. Женился Саша так, что родственники с его стороны, и мама в том числе, и родственники со стороны невесты почему-то бесились. Обе большие семьи считали, что жених и невеста выбрали неудачную партию. Саша с женой цапались как проклятые первые пятнадцать лет брака, упорно не расходились, будто из чувства азарта, словно желая досадить друг другу присутствием, но при этом и много хорошего было, что с лихвой перекрывало тяжёлые моменты.

Да и вообще, со дня смерти Оли прошло тридцать с лишним лет. Саша о многом не помнил. Имена некоторых одноклассников забыл, как имена и отчества учителей. Его сыну исполнилось двадцать с лишним.

Что там. У Иры уже был муж, двое детей и три собаки.

В июне очередного в его жизни лета Сашу забросило командировкой в Москву. Он шёл по Бауманской в сторону Некрасовки, где была назначена встреча, болтал с женой по телефону, по своему обыкновению поглядывая скорее под ноги, чем на встречных прохожих. Но хотелось успеть тяпнуть рафа где-нибудь по пути. Он поднял глаза и буквально в метре от себя увидел Олю, такую, какой она была в дни их совместной отсидки у Оли в квартире. Их отделял друг от друга шаг — полтора. Она шла очень быстро, торопилась куда-то. Раньше она казалась Саше очень высокой, на две головы выше него, а сейчас была по плечо. Но всё равно — миг, и он ощутил себя снова девятилетним, всё прошлое на долю секунды будто исчезло. Он явственно вспомнил и прохладу её руки, за которую цеплялся зачем-то чуть выше кисти, чуть ниже манжета, и запах каких-то простеньких духов, которыми она уже начала пользоваться, да так и не продолжила, не дожила до нынешнего обилия ароматов, а ведь наверняка бы полюбила. Ему почудилось, что он опять в школьном пиджаке купленной на вырост формы, и ощутил, как воротник натирает ему

шею, от чего раздражённо пошевелил головой. Долю секунды он телесно находился в далёком прошлом. Ещё её смерть не произошла, как не случились и другие события после.

На какое-то мгновение Саша превратился в третьеклассника в школьном коридоре, а Оля топала, не замечая его, и он чуть не ухватил её запястье, как раньше. Вот это был бы номер.

Благо в левой руке, по которую она обходила Сашу, у него был телефон, а наваждение быстро исчезло, как только они разминулись. Саша даже не стал оглядываться, не прервал беседы, но подумал: “Какой кошмар … какой кошмар я сейчас чуть не устроил бедному ребёнку своей заморочкой”.

Память к чему-то вынула со своего дна эпизод из прошлого: тётя рыдала и рассказывала, что поправила чёлку дочери в гробу, а ночью ей приснилась недовольная Оля. “Она никогда не любила, чтобы я к ней лезла”, — объясняла тётя. Тётя горевала, что дочь ничего не успела, не успела пожить.

Но если разобраться, что значит “успеть пожить”? Никто не успевает. А Оля охмурила студента (он её тоже, но ведь и она была не против), научила кошку плавать, много что ещё, о

чём Саша не знал, но оно, без сомнения, было.

Вовсе не специально сделала так, что ещё несколько месяцев, когда Саша брал телефон, то в нагретых карманом пластмассе и стекле чувствовал живое человеческое тепло. Ему казалось в такие моменты, что это не он вспоминает её, а происходит что-то обратное, для чего он не мог найти подходящие слова, если бы потребовалось кому-то объяснить.

Юрий Буйда
Йолотистое моё йолото



Когда Мишаня спросил: “Гиза, ты за меня выйдешь?” — она ответила: “Нет”.

Мишаня испугался. Четыре года он ухаживал за Гизой, четыре года каждую неделю провожал её после кино до дома, и все считали, что всё у них на мази, что они вот-вот поженятся, — и вдруг Гиза ответила “нет”.

“Нет, — повторила она. — Надо не так”. Гиза так часто воображала эту сцену, воображала в мельчайших деталях, так часто репетировала её, — а Мишаня чуть всё не испортил. Гиза взяла его за руку и рассказала, как это должно происходить: при луне, на коньках. “На коньках … — потерянно пробормотал Мишаня. — У меня нет коньков”. — “Значит, придётся купить”, — сказала Гиза.

Мишаня купил коньки и пластмассовую розу, а Гиза — перчатки до локтей и шляпку с шёлковым цветком на тулье. Потом они ждали полной луны. Потом довольно долго искали на реке подходящее место. В тот вечер Мишаня оставил обувь дома — и всю дорогу ему пришлось ковылять на коньках. Но Гиза была неумолима: всё должно пройти в точности так, как она задумала.

Небольшой участок чистого льда был ярко освещён полной луной. Гиза отправила Мишаню на другой берег, а сама сняла беличью шубку,

оставшись в платье с глубоким декольте, надела туфли на высоких каблуках и шляпку, натянула перчатки до локтей — и замерла, облокотившись на толстый сук поваленного дерева и обратив лицо к луне. Было холодно, но она терпеливо ждала, пока Мишаня доберётся до неё от другого берега. Последние метры он проехал почти без запинок. Опустился на колено, протянул Гизе пластмассовую розу, политую духами “Красная Москва”, и, задыхаясь и заикаясь, произнёс слова, которые она заставила его выучить наизусть: “Богиня моя, Гизелла, я люблю тебя всем сердцем, будь моей навеки”. Гиза выдержала приличную паузу, подала ему руку и кивнула свысока. Мишаня приложился губами к её перчатке. После этого Гиза взяла розу, быстро переобулась, надела шубку, и они отправились домой, держась за руки и дрожа от холода …

Поженились они, однако, только летом — Гизе нужно было ещё окончить швейный техникум. Но после объяснения при луне она стала позволять Мишане целовать её на прощание в губы, хотя и не взасос. Если же Мишаня пытался добиться большего, Гиза останавливала его взглядом: она была прирождённой дрессировщицей.

Её все любили — родители, бабушка, соседи,

друзья, кошки и собаки.

Мать носила свою крошку на руках и, целуя то в плечико, то в попу, со слезами повторяла: “Золото моё золотистое … золотистое моё золото …” И маленькая Гиза повторяла: “Йолотистое йолото …” Укладывая малышку спать, мать снова и снова целовала её пальчики, её коленочки, её впадинки и холмики. Оставшись одна, Гиза с удовольствием целовала свои руки и шептала: “Йолото моё, йолотистое моё йолото …”

Гиза любила себя и была твёрдо убеждена в том, что её плечи и колени, её глаза и губы, каждое её слово и каждый взгляд — подарок Господень человечеству.

Она была невысокой, крепкой, звонкоголосой, с шелковистой смугловатой кожей, полноватой шеей, коричневыми глазами, в глубине которых посверкивали искорки, с выпяченной нижней маленькой губкой и твёрдым подбородочком. До восьми лет она спала на животе, чтобы не мять попу, а потом — только на спине, чтобы не мять грудь.

Она не была красавицей — но она была страсть какой хорошенькой. Как говаривал учитель рисования, “посмотришь на неё — и неделю сыт”. Особым умом она не отличалась, но живость и

упорство вполне искупали этот невинный недостаток.

Взрослые, дети и животные с готовностью повиновались любому её капризу, любому её приказу. Она была единственным человеком, которому сошедшая с ума бабушка (однажды та перестала узнавать дочь и зятя) подчинялась охотно и даже с радостью.

Бабушка рассказывала Гизе о чудесах Индии, где алмазы копают лопатой, как картошку, где великие молочные реки текут в кисельных берегах, где мужчины прикуривают от женских улыбок, а счастья там столько, что его заготавливают впрок, как русские бабы — огурцы …

У бабушки была мечта — умереть на кресте, как Иисус Христос. Внучка помогла ей сколотить крест, притащила табуретку, но, когда дошло до гвоздей, сбежались взрослые и стащили старуху с креста, а у девочки отняли молоток и гвозди.

Гизу не ругали — что взять с ребёнка, — а бабушку отправили в дом престарелых, под надзор. На прощание она сказала: “Человек только раз в жизни бывает человеком, а в остальное время он — пища дьявола. Видать, мне так и не узнать, пища я или не пища”.

…Волшебная Индия с её алмазами, Иисус на

кресте, омерзительное, страшное слово “пища”, йолотистое йолото, швейный техникум, пластмассовая роза, пахнущая духами “Красная Москва”, — всё это осталось в прежней жизни, законсервированное, как индийское счастье.

Гиза вышла замуж, стала директором швейного ателье, родила двоих детей — Андрюшу и Анечку. С наступлением новых времён ателье разорилось, но Гиза открыла собственное, взялась шить бельё и одежду для полных женщин, дело пошло. Вскоре стала ещё и владелицей двух парикмахерских и салона красоты в Кандаурове, небольшого фитнес-клуба в Москве. Мишаня ушёл из дальнобойщиков, стал помогать жене. Бизнес разрастался, процветал.

Тогда же у неё обнаружился рак неясной этиологии. Опухоли возникали то в одном месте, то в другом. Гиза стала своей среди завсегдатаев онкологической больницы.

“Исцеление — это возвращение к целостности, — сказал ей как-то старик Фельдман, лечащий врач. — Каждый человек лишь часть себя, и с годами — всё меньшая часть. Вернуть человека к нему самому, то есть исцелить его, часто не под силу никакому врачу, Гизелла Сергеевна. Болезнь — это не только физиология и психология, это

ещё и духовная, душевная проблема. Чем больше мы любим себя, тем больше удаляемся от Бога, тем неразрешимее эта проблема".

Гиза ничего не понимала, но ей нравилась вся эта заумь, обволакивавшая загадочную болезнь возвышенным мистическим ореолом. Она держалась, не жаловалась, со временем привыкла к раку.

Дочь вышла замуж, родила Петрушу. В тридцать девять лет Гиза стала бабушкой, а через год потеряла всё. Андрюша повёз Анечку, её мужа и их сына в деревню, к родне, и попал в аварию. Прибывшие на место аварии спасатели не сразу разобрались, сколько людей было в машине: тела погибших были перемешаны, как яйца в омлете.

Через месяц муж подал на развод; сошёлся с хохлушкой-гастарбайтершей, звонил, обзывал сукой, винил её в смерти детей. Гиза поняла, что совершенно не знала человека, с которым прожила столько лет. И все его достоинства — он был молчалив, послушен и не пил — не стоили ничего.

Гиза осталась одна. Двадцать лет она была женой, девятнадцать лет — матерью, одиннадцать месяцев — бабушкой, и вот — осталась одна, совсем одна.

Она всегда считала себя призовой женщиной, поэтому ей было стыдно оставаться одной, стыдно до боли и слёз. Но и дарить своё йолотистое йолото первому попавшемуся мужчине … Даже при мысли об этом ей становилось не по себе. Первый попавшийся мужчина представлялся ей огромным, волосатым, с золотыми зубами, в чёрных носках, розовых резиновых шлёпанцах и с грязными ногами. И вот это чудовище заберётся на её белоснежные простыни и положит руку с обкусанными ногтями на её восхитительную грудь … в постели, без одежды, она будет совершенно беззащитна перед первым попавшимся мужчиной …

Она любила послушать болтовню своих парикмахерш, маникюрш и массажисток, которые обсуждали мужчин: этот неутомим, тот любит полизать, а тот — сзади, — но все эти истории никак не соотносились с опытом Гизы, для которой первым и последним мужчиной, всеми “этими” и “теми”, был записанный муж. Потому-то она и боялась ошибиться, потому-то и боялась чёрных носков и розовых резиновых шлёпанцев.

Хотя Гиза и считала себя существом исключительным, она с детства знала, что надо соответствовать ожиданиям окружающих, жить как все,

как полагается.

Когда сосед дядя Коля Маслов, пятидесятилетний вдовец, поймал десятилетнюю Гизу в малиннике, где она пристроилась пописать, схватил, раздел и облизал своим жёлтым языком с ног до головы — она чуть не умерла от стыда и нечистого счастья. Но этого никто не видел, а сосед дал ей рубль, и она не стала никому рассказывать об этом происшествии. “Один раз — не арзамас”, — говорила тётя Ира, когда подруги начинали осуждать её за очередную измену мужу. Через неделю после происшествия в саду мужчины поймали Маслова с поличным — в овражке с пятилетней Ниночкой Травкиной — и избили так, что он вскоре умер. Про Гизу никто ничего не узнал, рубль лежал в копилке, ничем не отличаясь от других рублей. Один раз — не арзамас.

Когда она заканчивала школу, в Чудов привезли тело старшего брата Димы, погибшего в Афганистане. Офицер из военкомата следил за тем, чтобы никто не открыл запаянный цинковый гроб. Отец спрашивал: “Погиб за родину?” Офицер терпеливо возражал: “Погиб, исполняя интернациональный долг”. Старики шептались: “Это ж армия, война, бывает …” Похороны прошли *как полагается* — с оркестром, бабьим воем,

шумными поминками.

Так полагается: солнце встаёт на востоке, все цыгане — воры, женские туфли должны быть тесными. Так полагается.

…Смерть детей и развод не изменили порядка жизни Гизы, лишь ненадолго внеся в него смуту. Но Гиза никогда не поддавалась панике. Не поддалась и на этот раз. Как и прежде, она рано вставала, обливалась ледяной водой, занималась делами, не пила, не курила, засыпала без снотворного, по праздникам отстаивала службы в церкви, принимала витамины — словом, держалась огурцом.

Её жизнь рухнула за шесть минут.

Гиза вытащила из огня соседа — учителя Сергея Сергеевича Колесова — и сама оказалась в больнице. В огонь Гиза бросилась не раздумывая. Колесов лежал на полу в гостиной, у него горели ноги. Гиза схватила его за руки и потащила к двери, выволокла во двор, опустилась рядом — и потеряла сознание.

В себя она пришла только на следующий день. Лицо и шея чудесным образом почти не пострадали, а вот тело, её дивное тело, было сплошь покрыто ожогами. Увидев свою грудь в зеркале, Гиза упала без чувств.

Доктор Жерех сказал, что Колесову ампутировали ступню. Учителя все жалели: несколько месяцев назад умерла его жена, а годом раньше погиб в автомобильной аварии сын. Теперь он остался и без дома.

Через два дня в палату прискакал на костылях Колесов.

— Новая жизнь, — сказал он. — Теперь у нас, Гиза, начинается новая жизнь.

Сергей Сергеевич не пытался вызвать жалость, говорил голосом тихим, но твёрдым. Он был высоким, худощавым, лысым, с косматыми седыми бровями и небольшой эспаньолкой.

— Можете пока пожить у меня, Сергей Сергеевич, — сказала Гиза.

— А удобно?

— Вы про людей? — Гиза вздохнула. — Пусть говорят.

После выписки из больницы Колесов поселился внизу, в комнате рядом с кухней. Еду они готовили по очереди. За ужином учитель выпивал рюмку-другую водки, но разговорчивее не становился. Вскоре он обзавёлся протезом. По ночам он громко храпел.

Гиза плохо спала. Даже прикосновение белья причиняло ей боль. Несколько раз на дню она

смазывалась мазью, которую выписал доктор Жерех. Перед сном просила Сергея Сергеевича смазать ей спину. Руки у него были костлявыми, но тёплыми. Потом Гиза поднималась наверх, а Колесов долго курил в кухне. Поначалу Гиза запиралась в спальне на ключ, но Сергей Сергеевич ни разу не попытался подняться наверх, и вскоре ключ был повешен на гвоздик.

Однажды клиентка — рослая широкоплечая женщина с огромными грудями, которой требовался лифчик с очень широкими лямками, — рассказала Гизе о своих океанских плаваниях. Клиентка была яхтсменкой. С мужем и старшим сыном она плавала из Брисбена в Сан-Франциско, из Бреста в Тампико и из Туамасина в Джакарту. Недели, а то и месяцы в океане. Крики чаек, плеск воды, скрип корпуса, свист снастей. Днём и ночью, неделя за неделей. Эти звуки становились привычными, даже если их тональность менялась.

“Но если появляется новый звук, так и знай: быть беде, — сказала клиентка. — Какой бы он ни был, этот новый звук, — быть беде. Это не паранойя — это закон. И пока не обнаружишь источник нового звука, спать нельзя. Ничего нельзя — только искать, где и что случилось,

иначе погибнешь”.

Сергей Сергеевич и был таким новым звуком в жизни Гизы.

Она не боялась Колесова, но что-то в его облике, в его взгляде, манере говорить вызывало у неё незлое раздражение, лёгкое беспокойство. В его присутствии Гиза чувствовала себя ребёнком, едва научившимся складывать буквы, которому вдруг подарили “Преступление и наказание”. Раньше она твёрдой рукой отодвинула бы такую книгу и через минуту забыла о ней, а сейчас — сейчас не получалось.

Наверное, всё дело в том, думала она, что ожоги, из-за которых она лишилась своего йолотистого йолота, освободили её от мыслей о мужчинах в чёрных носках и розовых резиновых шлёпанцах.

Гиза продала свой бизнес, и у неё появилось много свободного времени; она не знала, чем его заполнить. Она была типичной русской женщиной — из тех, что спасаются уборкой, стиркой и готовкой от любых жизненных невзгод и радостей. Муж посмеивался: “Если б тебя заставляли каждый день убирать квартиру при помощи патефонной иглы и зубной щётки, ты, наверное, была бы счастлива”. Но заставлять Гизу было не нужно. Уборка, наведение порядка, приведение

мира в состояние “так полагается” — это было потребностью, такой же безусловной, неотменимой и безмозглой, как потребность в воздухе, еде или любви. …Теперь же Гиза целыми днями смотрела телевизор, листала журналы или дремала.

Сергей Сергеевич получил страховку за сгоревший дотла дом, но на эти деньги нельзя было даже собачью будку построить. “Да живите пока у меня, — сказала Гиза. — Или вам здесь плохо?” Он промолчал. У него не было ни родных, ни близких — податься ему было некуда.

В конце зимы Гиза легла на обследование в онкологическую больницу — она делала это ежегодно. Доктор Фельдман был поражён, не обнаружив у неё никаких признаков рака. Гиза предположила, что это результат шока и стресса, вызванного смертью детей, разводом и ожогами. “Чудеса бывают, — сказал доктор Фельдман. — Но приходите через полгода”.

С наступлением весны Колесов построил в саду беседку. Гиза всё ещё боялась выходить на улицу, но с удовольствием пила чай в беседке по вечерам. Она привыкла к учителю, к запаху его дешёвого табака, понимала причины его молчания: даже 62-летнему человеку трудно смириться с тем, что у него нет будущего.

— Дело не в этом, — возразил Колесов. — Дело в том, что за несколько дней до смерти жена сказала, что никогда не любила меня. Сорок лет назад я сказал, что люблю её, и попросил стать моей женой. Она согласилась. У нас родился сын. Мы прожили бок о бок долгую жизнь. Это была мирная жизнь. Мы никогда не произносили слова “любовь”, потому что в этом не было необходимости. Некоторые слова жизни не нужны … Когда она сказала, что не любила меня, я от неожиданности чуть не рассмеялся. Жизнь прожита — о чём речь? Не думал, что это так меня заденет … всё-таки она сказала это перед смертью … я думал об этом каждый день … что за жизнь мы прожили? Зачем жили вместе? Зачем вообще жили? Ради чего? Какие роли играли в этом чёртовом спектакле? — Он закурил. — В Евангелии есть очень театральный эпизод — суд над Иисусом Христом. Понтий Пилат пытается понять, какую роль играет Иисус, кто он — бунтарь, еретик, пророк, проходимец? Пилат задаёт вопросы, но не слышит ответов. Пилат привык к тому, что вся жизнь — игра, а люди — актёры. Пилат играл много ролей: он был прокуратором Иудеи, мужем и отцом, любимцем императора, вельможей; в Иерусалиме он был одним, а в Риме

— другим. Такова была его жизнь, да и не только его. А Христос — какие роли играл он? Кем он был? Понтий Пилат не может понять, что человек, стоящий перед ним, не играет, он — есть. Он не пророк, не гений, не революционер — он Иисус Христос, единственный. А я — кто я? Пилат или Иисус? Муж? Какой же я муж, я чёрт знает что, а не муж. Отец? Уже нет. Даже имя я не выбирал, мне его родители дали … в одном только Чудове пятьдесят шесть Сергеев … раньше я не придавал этому значения, а теперь это сводит меня с ума … глупость какая-то …

— Ага, — сказала Гиза, в упор глядя на Колесова. — Значит, вот почему вы подожгли свой дом. Значит, вот в чём дело …

— Случайно всё вышло, Гиза …

— Пойдёмте спать, Сергей Сергеевич, поздно уже, — сказала Гиза строго. — Сегодня ляжем вместе. Кожа у меня всё ещё болит, так что будьте поосторожнее. Попробуем. Счастья я вам не обещаю — и от вас счастья не жду …

— А чего же ты ждёшь, Гиза?

— Порядка, — ответила она. — Чтобы всё было как полагается. Чтобы солнце вставало на востоке, чтобы цыгане по-прежнему воровали, чтобы женские туфли были тесными. Чтобы у женщины

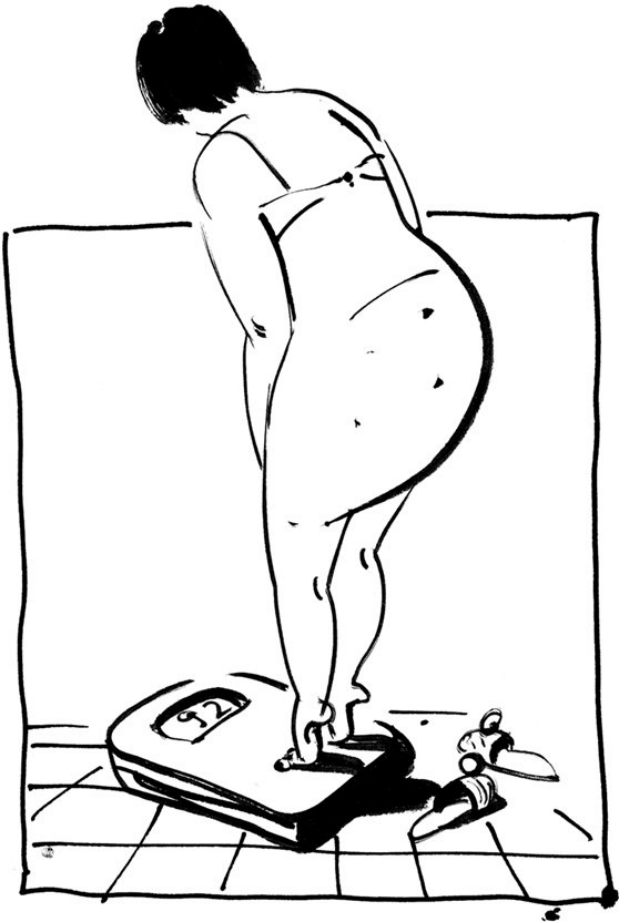
был мужчина. Я ж вам не Иисус Христос — я хочу порядка и больше ничего. Понимаете?

Сергей Сергеевич понял, что она говорит о любви, и ему стало не по себе.

Через месяц они поженились, через полтора года Гиза родила дочь. Девочку назвали Надеждой. Сергей Сергеевич целовал её в плечико и шептал: “Йолотистое моё йолото, йолото моё йолотистое …”

Когда муж умер, Гиза продала дом и уехала с дочкой из Чудова. Одни говорили, что она перебралась в Москву, другие же утверждали, что Гиза отправилась в Индию, в страну мечты, где алмазы копают лопатой, как картошку, где великие молочные реки текут в кисельных берегах, где мужчины прикуривают от женских улыбок, а счастья там столько, что его заготавливают впрок, как русские бабы — огурцы …

Евгения Некрасова
92 кг



К тридцати семи годам у Аллы было всё, чего она хотела. Но было и то, что ей на фиг не сдалось, — слишком много себя. В щеках, боках, руках, плечах, икрах, бёдрах, животе.

Она всегда жила немного кругловато-обтекаемой, а после тридцати пяти и двух ковидов вышла из берегов своего тела. Алла не сильно переживала за то, как она выглядела, на мнение других плевать хотела. Родня реагировала на присылаемые фотки упрёками, что Алла ещё молодая и надо худеть, а Алла отвечала, что нечего было называть её в честь Аллы Пугачёвой из-за её рыжеватости. На что родня отвечала, что Пугачёва — молодец, так как всё время худеет.

Алла над худением не задумывалась, но с новообретённой толстотой ей стало неудобно жить. Многие вещи, обычные или дороговатые, перестали на Аллу взбираться. Независимые бренды, которые она так любила поддерживать за их уникальность, оказалось, не шьют вещей нового Аллиного размера. Это, конечно, была дискриминация, возникшая из-за рыночных причин: покупательницы такой одежды чаще всего носили эмку. Но главное, Аллу теперь атаковали хвори. Заболели шея и спина вверху, воздух при ходьбе сложно передвигался по телу. На голове

будто засел дятел и стучал в виски. Алла почитала симптомы, заказала непенсионерский по цене тонометр. Давление оказалось повышенным. Алла купила таблетки, которые пила её бабушка. И пот, который потопом летом, речкой осенью и весной, мерзким ручьём зимой. А вот ещё что: Алла обычно носила только платья и юбки. В тепло это оказалось невозможным — внутренние части бёдер теперь тёрлись друг о друга до розового мясца. Алла бесилась, она привыкла контролировать всё, что происходит в её жизни, и делать так, чтобы всё, даже работа, давало ей только удовольствие. Она смотрела свои фото двухлетней давности и видела себя же — но со скулами, с одним подбородком, со стандартными руками и ногами, с очевидной талией, меньшей грудью, не сливающейся в единую телесную массу с животом.

Алла впервые в жизни заказала весы. С синими глазами и белоснежным корпусом. Проснулась, проверила соцсети, сняла пижаму и встала на новинку. Она сразу ей показала 92 килограмма. Алла задумалась. 92 — это почти 100. 100 весили незнакомые тётеньки, которые пытались худеть в телевизоре в Аллином детстве. Кажется, со 100 шагало слово “ожирение”. Алла погуглила: да,

при её росте это называлось “ожирение первой степени”. Подруга детства сказала на это Алле: а что делать, у нас возраст.

Алла решила действовать. Она всегда достигала всего, чего хотела. Вот евродвушка в хорошем районе мегаполиса недалеко от центра и рядом с парком, вот работа, на которую не надо ездить и которая нравится, вот немалые деньги, которые за неё отдают. Вот девайсы с яблоком. Или не с яблоком, но дорогие. Вот доставкой блюда стран мира, в которых Алла уже побывала или планировала побывать когда-нибудь. По вкусу блюда редко отличались от оригиналов, а иногда жевались лучше. Возможность еды — готовой или продуктами, вкусной, разнообразной, необычной, смелой, свежей, сложной в добывании, выращивании или приготовлении — была для Аллы самым главным достижением. Больше всего Алла любила китайскую, не кантонис, а поострее — сишуань, и индийскую, оттуда досу, бириани с бараниной и, конечно, даал. И возможность вина, разумеется. Алла не алкогольничала, но бокал красного всегда выпивала за ужином зимой, весной и осенью, а настоящим летом покупала розе или белое.

Guilty pleasures с ней тоже жили, курить Алла

бросила, но жевала тягучий мармелад в виде мишек, червей и бутылочек колы. Вот этих последних, полупрозрачных с коричневатой заливкой, делающей вид, что она напиток, Алла обожала. Настоящую кока-колу Алла не любила. И вот все эти явления — доса, розе, ремонт-аллиной-мечты, жевательная кола, поездки, авангардные спектакли, девайсы, шёлковое платье за 30 тысяч, выигранный тендер (честно), радость придумывания и проектирования, крутая музыка, грандиозные книги — не имели силы, если бы с ними вместе не приходил Запах арахисовой пасты. Им Алла обзывала ощущение, которое образовывалось у неё в груди и вокруг от новой покупки вещи, еды, пространства, впечатления.

Когда Алле было семь, в их панельный двор привезли ящики американской гуманитарки. У Аллы появились первые джинсы, на четверть ноги длиннее, она подворачивала. Но промежность и живот штанов там сшили на мальчиков, поэтому жёсткий джинсовый шов вгрызался ей между ног. В холодильнике из того же американского ящика засели тонкие серебристые пакеты, три или два. Мама копалась, нашла, где надрез для открывания упаковки, выдавила чуть массы и попробовала. Сказала: фу. Но Алла всё равно

взяла и унюхала самый прекрасный запах на свете, попробовала чуточку, вкус чужероден и от этого грандиозен. Мама вытащила у Аллы из лапок блестяшку и выкинула в мусорку. Второй, неоткрытый пакетик — тоже. Алла даже не заплакала, она догадалась, что Запах арахисовой пасты — это то, что ей предстоит достичь в жизни. Самой. И вот теперь поданная в ресторане доса пахла в первые несколько секунд не собой, а арахисовой пастой. Десерты из бельгийского шоколада на вкус в первые мгновения имели вкус арахисовой пасты. Купленный новый девайс источал не фабричный пластик, а арахисовую пасту. Свежий, непошлый, но небездушный ремонт не вонял краской или деревом, а выделял запах арахисовой пасты. Эйфория от секса, концерта любимой группы, чтения удивительной книги, долгий спокойный сон ощущались как запах и вкус тогдашней арахисовой пасты.

Даже запах и вкус реальной арахисовой пасты не мог сравниться с ощущением от *той*. Алла пробовала американскую, британскую, немецкую, индийскую, китайскую, русскую, заводскую и фермерскую. Приятель-и-секс-партнёр сказал ей, что это она тогда словила ощущение достижения американской мечты, которое ничем на

самом деле не отличается от постсоветской. Алла же подумала, что это просто ощущение её собственного счастья. Она жила и работала для того, чтобы испытывать Запах арахисовой пасты не реже двух раз в день. Ограничения могли означать сокращение Запаха арахисовой пасты. Алла принялась искать аккуратные стратегии.

Интервальное голодание. Шестнадцать через восемь. Ешь что хочешь и сколько хочешь восемь часов. Не ешь шестнадцать часов. Алле давалось сложновато. Алла переживала, что не успеет спокойно наесться до девяти вечера. Она с трудом дожидалась завтрака в час дня. Иногда даже не вылезала из кровати до этого времени. Просыпалась, отвечала на письма с телефона или работала на лэптопе. Если с утра случались встречи онлайн или офлайн, Алла глядела на часы, мысленно давила на цифры, приближая их к еде. Количество времени для счастья ужалось. Но Запах арахисовой пасты ощущался. Всё же он добывался не только из еды. Синеглазые весы выдавали Алле 92,5, иногда 93. Друзья и буквы в интернете обещали Алле, что сейчас вот-вот пойдёт, случится чудо. Но оно не приходило. Два месяца спустя Алла весила 93, а от интервалов в питании в желудке случился гастрит, оставлен-

ный вроде в юности. Алле это всё не нравилось. Друзья удивлялись, советовали спорт. Алла очень не любила спорт.

Алла пару недель побеждала гастрит. Кашами, йогуртами. Вес не двигался вверх, но меньше 92 весы-голубоглазки не выдавали. Алла вспоминала, как в двадцать мучилась год от мощного гастрита, из-за которого повышалась температура, плохо пахло изо рта и болела вся передняя поверхность тела от паха до груди. Алла ела только варёное: кашу, курицу, бананы из микроволновки. Пищу потребляла только с помогающими желудку таблетками. Сама была как варёный суповой курёнок — костлявая и желтоватая. Ручки висели, и рёбра рассчитывались, а живот впадал внутрь. Алла не помнила, как она выглядела тогда в зеркале, но помнила ощущения от своей ненормальной тонкости. Худоба для неё с тех пор сделалась болезнью. Вот сейчас Алла глядела на себя в зеркало голой. Тело расплывалось вниз взбитой белой периной. Алла мысленно старалась усушить себя хотя бы до трёхлетней давности. Значительно меньше бёдер, щёк, грудей, больше скул и глаз, тонкие руки и ноги, и живот, кругленький, живой, мягкий, но отдельный, сам по себе, не монолитный

с туловищем, не растекающийся по нему и вниз. Вот она могла придумать — и дальше двигались целые плиты или деревянные брёвна и появлялись здания или другие объекты. Но в реальности тело её не менялось от её придумок.

Дальше Алла начала низкоуглеводную диету. Жиры, здравствуйте, да, здравствуйте. Алла отказалась от выпечки, сладостей, любимых пасты, суши, кускуса. Бананы тоже попали в бан-лист. Остались авокадо, горький шоколад, грибы, хумус, капуста, оливковое масло, мясо плюс, разумеется, арахисовая паста и ещё некоторые продукты. Красное сухое по бокалу-два в день оставалось во всех Аллиных диетах. Шло легче, чем томительное ожидание еды во время интервального голодания. Люди получили Нобеля за него, ну и что теперь. Низкоуглеводка была прикольнее.

Раз в неделю Алла позволяла себе пасту из твёрдых сортов пшеницы, с морепродуктами или курицей. Иногда заказывала три низкоуглеводных пирожных за стоимость камчатского краба. Они были тяжелы, слишком сладки, и ощущения Запаха арахисовой пасты от них не появлялось. Алла решила больше не тратить так деньги и осталась просто на горьком шоколаде. Она ожи-

дала потерю всего своего лишнего, планировала 10, для начала килограмма 2–3. Чтобы спокойно жить, Алла не взвешивалась много дней. Но тут пошла к синеглазкам. Они, моргнув, выдали ей 94,7. Алла почувствовала, что задыхается. Не вышла в этот день в зум-встречу, заказала суши и индиан одновременно и напилась красного вина. С утра заказала доставку классического синнабона с молочным кофе. Сама спустилась за сигаретами. “Спорт”, — тихонько писали подруги. Алла очень не любила спорт. Ходи каждый день по 10 тысяч шагов, писали. Она ходить-то не хотела и не любила. Вот купила квартиру у старинного огромного парка, из-за него жильё стоило особенно дорого. Но среди деревьев Алла не гуляла ни каждый день, ни раз в неделю. Только друзья приезжали и вытаскивали её с трудными уговорами в парк с хорошей погодой. Алла сейчас гуляла только на лоджии с сигаретой. Она снова стала есть всё.

Со временем Алла успокоилась, заработалась, просто потребляла пищу, особенно не думая над ней. Синеглазки снова занудно выдавали 92,3, 92,5. “Может быть, смириться?” — спрашивали подруги. Может быть, отвечала Алла. Снова пришло жаркое лето, сверхжаркое лето. Трусы и туловищ-

ная одежда намокали на сорок процентов ещё до того, как Алла выходила в город на деловую или дружескую встречу. Она таскала с собой влажные салфетки и полную смену одежды. Принимала душ три раза в день. Постоянно стирала. Запах собственного пота перебивал Запах арахисовой пасты. Похолодало, и на Аллу напало опять высокое давление. Она пила капотен, носила его с собой, а ещё тонометр, когда выходила в город. Чаще всего лежала, потому что болела голова. Начала заваливаться работа. Коллеги относились с пониманием. Алла злилась на своё тело. Худая подруга-коллежанка посоветовала эндокринологиню. Та тоже была худая, даже щуплая, но строгая. Она велела Алле сдавать анализы, пить таблетки для правильного захвата инсулина, считать калории, есть не более 1500 калорий в день и ходить по парку минимум 13 тысяч шагов. И эндокринологиня советовала спорт, эндокринологиня велела спорт. Алла сходила один раз в зал. Было чужо, скучно и неприятно. Не оттого, что Алла самая крупная в зале, — не самая. Её раздражал звук, запах спорта, и делающие его в одном зале люди вызывали у неё беспокойство. Она решила пока просто ходить.

Ходить было чрезвычайно скучно. Алла развле-

кала себя: слушала музыку, аудиокниги, глядела на природу и природу людей. Проверяла рабочую почту на ходу. Один раз её сбил человек на самокате, потому что она случайно вступила на велосипедную дорожку. Алла ходила кругами по утрам, и худая женщина водила теми же кругами свою бульдожиху, похожую на тюленя на мелких ножках. Хозяйка обычно шла впереди и звала собаку за собой. Та, дыша как курильщик, переваливалась следом. Когда Алла делала перерывы и садилась на лавке поотвечать на письма или поговорить по зуму, бульдожиха останавливалась, садилась у Аллиных ног, выбирая её в новые хозяйки. Настоящая собачья хозяйка улыбалась Алле и несколько минут уговаривала бульдожиху ходить дальше. Та мрачно смотрела по сторонам, на Аллу, слушала хозяйку, не глядя на неё минуты четыре-пять. Хозяйка говорила о том, что ходить полезно, важно, весело. Ну вот это неправда, думала Алла. Иногда худая хозяйка даже использовала любовь, объясняла бульдожихе, что очень любит её и хочет, чтобы та прожила дольше. Хозяйка продвигалась чуть дальше от лавки вперёд, и собака, отдохнув, поднималась с асфальта и плелась за ней. Хозяйка ждала, они равнялись, шли вместе, но очень быстро бульдо-

жиха снова начинала отставать.

Анализы не показали никаких серьёзных нарушений. Эндокринологиня вновь выговаривала слово “спорт”. Алла ходила по надоевшему парку, пила таблетки. Купила дорогие красноглазые весы для еды. Калораж сделался Аллиным террористом. Все guilty pleasures были изъяты из жизни. Остались только функциональные, средне- или низкокалорийные продукты. Даже полезности выкинулись: авокадо, оливковое масло, орехи и их пасты, хумус. Алла мечтала как-нибудь съесть с утра один крупный классический синнабон, а потом заснуть до следующего утра, например, потому, что в синнабоне содержалось две трети суточной нормы калорий. Ощущение Запаха арахисовой пасты Алла теперь испытывала всего три-четыре раза в неделю. Она всё равно не выдерживала новый тоталитарный режим. Пару недель Алла вписывалась в 1500 калорий, засыпая голодной. Было слишком нервно и холодно. Когда пошёл снег, сделалось вовсе невыносимо. Алла переедала на 300–400 калорий. Никакой зимний ужин, приготовленный ею самой или заказной, не помещался в 500 вымученных, высчитанных, сохранённых до вечера калорийных возможностей. Весы показывали 92 килограмма,

по утрам иногда 91,5.

Потом всё ушло на новогодние каникулы. Людские тела. Худеющие и худые. Людские мечты и цели. Алла решила вернуться к снижению веса после праздников. Она поехала к родне — употреблять любимейшие майонезные салаты. На вокзале она увидела тренершу, к которой ходила заниматься в детстве спортом. Та осталась совершенно прежней — худой и низкой, — в спортивной куртке, брезентовых штанах, лыжной шапочке, с рюкзаком и в кроссовках. Тренерша не узнала Аллу, может быть, оттого, что она так выросла, или из-за маски. Алла, единственная на вокзале, носила маску. При покупке билета на автобус у Аллы в голове возникло то, что вроде и так всегда было рядом, на поверхности болталось в этом коробе памяти среди всяких других штук детства. Она словно всегда это помнила, только теперь достала и внимательно стала рассматривать. Алле девять, много детей и несколько взрослых едут на спортивные сборы, живут в советском общежитии без горячей воды и стульчаков в туалете на этаже. Дети выключают свет, запирают её в комнате с сыном тренерши, которому лет двенадцать. Сын тренерши пытается Аллу изнасиловать или играет в то, что пытается.

В общежитии советские кровати с гладкими коричневыми перекладинами у головы и ног. Алла кричит сипло и плачет беззвучно. Дети гогочут, включают свет и заходят. Не сразу, через какое-то время. Алла совсем не помнила внешность сына тренерши. Только его холодные и серые глаза. Тренерша сидит в автобусе на противоположном ряду на два места позади с краю. Алла смотрит на неё, но не может выудить из неё, как выглядел её сын. И глаза у неё казались другими. На следующий день все дети и взрослые спортивной секции едут на экскурсию в местный музей. За семейным столом Алла поглощала тарелки упрёков про отсутствие жизни в традиционных ценностях, тазик государственной пропаганды из телевизора, зато оливье с ветчиной, салат с крабовыми палочками без всякой там глупой кукурузы, салат с курицей, грецкими орехами и грибами. Всё это обильно заправлено нежным майонезом. Алла полировала всё это бутылкой хорошего сидра, который нашла в местном супермаркете. Алла пыталась рассказывать про свою жизнь в Москве, про работу и даже про похудение, но её особенно никто не слушал из-за того, что не было связи между вот этой чужой взрослой далёкой Аллиной жизнью и всеми её

тутошными родственниками. Тогда Алла рассказала, как встретила тренершу на вокзале. Родня оживилась, это всё было понятное и родное ей, она начала вспоминать то, как Алла занималась этим спортом, а потом в четырнадцать резко бросила, кто до сих пор, кроме тренерши, работает, какие секции остались в их городе и платные ли они. Алла выпила бутылку сухого красного сама, родня сказала, слишком кислое.

После праздников Алла вернулась в Москву, но не в зал и не к подсчёту калорий. Голубоглазые весы она не доставала из-под кровати. Алла старалась не объедаться, не хватать перекусы, но в остальном никак не ограничивала себя. С ежедневными прогулками в парке она завязала. На письма эндокринологини не отвечала. Вернулся какой-то ещё осенний крупный проект. Директорка её фирмы вдруг выплыла из своего заграничного отпуска и объявила корпоратив через две недели в модненькой галерее современного искусства. Алла два дня искала себе платье в инстаграмах независимых российских марок. Наконец-то нашла. Чрезвычайно оригинальное. Стоящее своих 30 тысяч. В директ ей ответили, что, конечно, за дополнительные 5500 они сошьют это платье размером 3XL. Алла согласилась

и ждала спокойно пошивку и доставку. Бренд, как и многие маленькие и независимые, базировался в Петербурге. Платье прислали за полтора суток до корпоратива. Оно влезло на Аллу огромным насилием, обтягивало все её складки-недостатки, топорщилось, пупырилось, страдало на Алле. Так эти девочки S-M представляли себе размер 3XL. Алла распяла платье на плечиках на вешалке на ножках и закурила прямо в комнате, молча глядя на наряд. Не выпуская из рук сигарету, Алла поскребла весы из-под кровати и, затягиваясь дымом, взвесилась. Голубоглазые показали 92,3.

На корпоратив Алла пошла в чёрных брюках и свитере. Она напилась, много слушала других, что-то говорила сама, и коллежанка-неподруга посоветовала ей женщину, которая сто процентов сможет помочь Алле с её 92 килограммами. Результат гарантирован. Проверено самой неподругой, которая обращалась с другим, но вот подруга неподруги приходила с тем же самым, даже хуже, а теперь носит М.

Алла решила не практиковать снобизм и быть открытой к разным опытам. Она вспомнила, что уважает магическое народное сознание. Книга одной антропологини, которая исследовала восприятие архитектуры через магическое со-

знание россиян, до сих пор очень помогала Алле в работе. Она написала Женщине-помощнице в ватсап. Через пару часов Алле ответили. Женщина-помощница тоже жила в свежепостроенном районе. Только гораздо проще, российскее. Без парка, с парковочными местами внутри двора. Алла знала, что вот в этих комплексах слышимость хуже, чем в той панельке, в которой она выросла. Поднималась на лифте на девятый и подумала, что магия не смогла остановить эту вот женщину от покупки дрянного жилья. Но потом устыдилась своей вредности.

Женщина-помощница выглядела как усталая, но дотошная докторка в платной, но недорогой поликлинике. Была одета в белую рубашку и джинсы. Очки. Выкрашенная в блонд короткая стрижка. Аккуратный макияж. Квартира безликостью напоминала съёмное жильё: белые стены, нейтральная, полузаметная мебель, картина с красным парусом в чёрном море над диваном. Никаких стеклянных шаров, ковров или там деревянных штор на входах в комнаты. Алла была разочарована. Никаких антропологических новинок. У Женщины-помощницы был сигаретный голос, но курением не пахло.

Разговор походил на помесь диалога с психоте-

рапевткой и эндокринологиней. Алла спокойно и подробно рассказывала всё про свои 92 килограмма и борьбу с ними. Просто упомянула, что не очень любит спорт и не хочет им заниматься и что он ей вряд ли поможет. Женщина-помощница кивнула неестественно медленным движением. Она спросила Аллу, чего именно та хочет. Только конкретно. Алла сказала, что хочет похудеть ровно на 10 килограмм. Это будет означать, что тело вернётся в прежние границы, скулы, грудь, живот окажутся прежними, она сможет носить L или оверсайз M, снова ходить в платьях без колготок и велосипедок, уйдут давление, головные боли, задыхание. 82 килограмма — вот её цель. Женщина-помощница, словно лягушка в монолитной коробчонке, пообещала, что так и будет. Они говорили более двух часов. В финале за свои услуги она попросила 20 тысяч. Алла решила, что это ок, дешевле, чем платье. Она добралась домой, весело взвесилась, весы показали голубоглазо 92,2. Алла сама с собой пошутила, что, блин, никакого результата, и занялась своей работой.

Она проснулась на следующий день от оглушающего и, пожалуй, страшного крика. За её панорамными окнами только-только поднималось худое и блёклое московское солнце. Алла

чувствовала, что спать ей ещё минимум три часа до её необходимых десяти. Удивилась нехарактерной её типу жилья слышимости. Что-то где-то нарушилось или сломалось, или Алла и вместе с ней какие-то ближайшие соседи не закрыли двери. Или, скорее всего, кто-то неудачно сделал ремонт и пробил стену прямо к ней. Прямо под правым ухом кричал младенец. Алла знала этот звук из кино, уличных столкновений с матерями и редких навещаний детных подруг. И вот она наконец догадалась, что это включилось видео на смартфоне, нажалось случайно во сне. А в видео плачет младенец. Она привстала и полуслепо принялась нащупывать телефон. Вместо этого она нащупала кожаную дрожащую мягкость. Рядом на кровати рыдал крупный младенец. У него между ног торчали мужские половые признаки. Ребёнок был голый. Алла вскочила и отбежала от кровати. Рядом с первым и орущим младенцем-мальчиком лежала младенец-девочка. Такая же крупная и голая. Алла принялась бегать по своей просторной, но не самой большой евродвушке. Заглянула в ванную, в гардеробную, на балкон, вышла в подъезд босая, чуть не навернулась, споткнувшись о свои же штаны. Никаких других людей, авторов этого пранка, рядом не оказалось.

Алла зацепила себя рядом в зеркале, вернулась к нему. Пижамные штаны с авокадами висели. Майка топорщилась хлопчатобумажными складками. Грудь и живот существовали отдельно друга от друга, талия свободно просматривалась. Как и скулы, как и шея, с которой теперь ушёл второй подбородок. Алла приподняла штаны. Поглядела в зеркало на свои ноги и руки. Они были прежние, трёхлетней давности, нормальные.

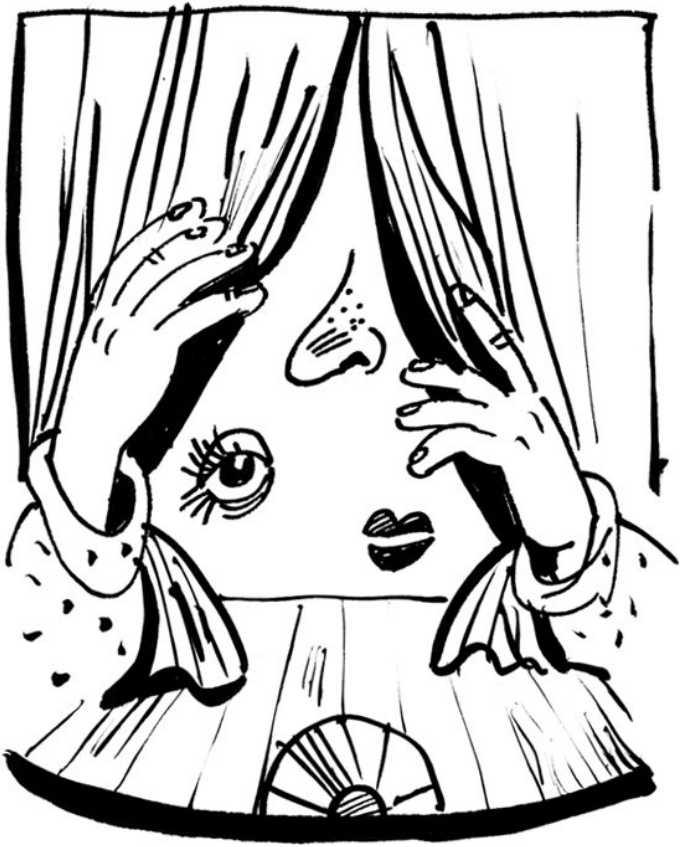
Смартфон Алла нашла на противоположной стороне кровати от младенцев. Нагуглила телефон полиции. Начала звонить, заткнув свободное ухо ладонью. Орали теперь оба ребёнка. Вдруг Алла нажала отбой. Вытащила весы. Встала. Голубоглазые выдали ровно 82 килограмма. Алла погуглила, как брать младенцев. Первой взяла девочку, она тут же замолчала. Алла хотела её положить на весы. Но вспомнила, что те холодные. Положила младенца на кровать. Спокойствие передалось мальчику, он тоже замолчал. Алла сняла наволочку с подушки, обернула в неё младенца женского пола и положила его на весы. Девочка замотала ногами и руками, и наволочка вокруг неё расползлась. Весы синеглазыми цифрами показали сквозь накрывшую их ткань 5 килограмм и 4 грамма наволочки. Алла вернула

ребёнка на кровать и прикрыла его наволочкой, как одеялом. Потом сняла вторую наволочку с другой подушки, запеленала в неё младенца мужского пола. Он весил те же 5 килограмм и 4 грамма наволочки. Алла вернула второго ребёнка на кровать. От ужаса Алла очень устала и села рядом. Дети почти идентичные, разнящиеся только полом, были рыжеватые, с холодными и серыми глазами. Оба молчали и ждали от Аллы чего-то.

Майя Кучерская
Пионы

Я – микрокосм, искуснейший узор …

Джон Донн



Действующие лица:

Волосы — светлые, тонкие, давно и безнадёжно влюблены в Ветер, у него в этой пьесе нет слов, есть только функция — летать.

Глаза — вечно удивлены и на мокром месте.

Нос — мечтатель и болтун, флиртует с Волосами.

Уши — часто брюзжат, потому что им постоянно мешают слушать! Очень любят немецких композиторов эпохи барокко.

Рот — фольклорист, знаток русских пословиц и поговорок.

Подмышки — легкомысленные хохотушки.

Пуп — ямка, мечтающая стать бугорком.

Попа — срамница и хулиганка.

Член — закомплексованный мальчик, баскетболист.

Ладони и *Руки* — примирители всех.

Ноги — высокие, немного лобастые парни.

Пятки — уставшие и несколько озлобленные рабы.

Правая коленка — стоик.

Левая коленка — нытик.

Василий, отрок 14 *лет* — хозяин всей этой

компании, это его волосы, подмышки, коленки и т. д.

Тень и голос Даши, которой 12 лет.

Сцена первая

Утро. Дачная комната. Василий крепко спит. Из приоткрытого окна дует лёгкий ветер.

волосы. Куда же вы? Помедли, задержись хотя бы на мгновение …

ветер. У-у-у-у! *(Улетает.)*

нос. Хм, какой славный аромат. Свежий, мокрый, сладкий … Арбуз! Несомненно, арбуз. *(Мечтательно.)* О, как я всё помню: густая зелень, пахнет речкой, зацветшей водой, сыроежками в красных шляпках, бабушкины розы благоухают. Шмель гудит. Мальчик в белой панамке. Сидит за деревянным столом в заросшей беседке, чёлка за лето отросла, мальчик склонил над арбузом голову, на клеёнку каплет розовый сок — так ведь мы и встретились с вами впервые, помните?

волосы *(стараясь не поддаваться).* Да вы мечтатель. Сегодня он вымыл нас арбузным шампунем, вот, собственно, и вся недолга.

нос. Коснитесь, просто коснитесь меня. Воздушным невесомым движением проведите по переносице, она совсем близко.

волосы *(осторожно касаются носа).* А вы — ми-

лый. И, кстати, слегка мохнатый.

нос. Да ведь мы с вами — одно. Вы сияете и благоухаете теперь почему-то сиренью. Как хорошо, что лето ещё совсем юное, только началось, едва вылупилось из мая. И шелест лепестков пока шёлковый, в них прячется ветер.

волосы. Молчите! Не напоминайте! Ветер … Едва он касается нас, едва запускает свои воздушные пальцы в гущу нас, мы забываем, забываем обо всём.

нос *(улыбаясь).* В гущу нас … Вы и сами — ветер, невесомые, тонкие, парите над землёй.

уши. Mein Gott. Нет, это становится совершенно невыносимо. Неужели вы сами не слышите?

нос. Что, что именно?

уши. Что фальшивите! Несносно. Безбожно, непростительно, пошлость за пошлостью, ох! Не согласились бы вы в честь этого чудесного летнего утра поумерить свою разговорчивость? И послушать. Слышите? Щебет. Шорохи. Щёлканье.

рот *(внезапно).* Мал соловей да голосист.

Звучит пение птиц.

нос. Зяблик? Кстати, довольно приятный голос, кажется, будто он выпил немного родниковой

воды, пополоскал горлышко и …

уши *(перебивая).* Да помолчите вы, наконец? Ну откуда в вас эта болтливость? Ваше дело — нюхать! Вдыхать, различать оттенки. И молчать! Молчать.

нос. Уши — вы скушные зануды, вам бы только немо к у ш а т ь *(брезгливо кривится).* Кушать звуки. Видно, вы не любили никогда. А любовь, любовь, слышите ли, требует болтовни, любовь должна быть глуповата, вот и влюблённые мудрецы превращаются в младенцев, теряют рассудок, горько плачут, но преодолевают себя, сочиняют стихи, дарят любимым благоуханные соцветия, кто-то одуванчики, кто-то георгины, а кто-то нежно-розовые …

Уши сворачиваются в трубочку.

глаза *(приоткрываются).* Какой необычный сегодня свет. Прозрачный, нежный и тёплый. Персиковый. Вчера всё было совершенно иначе. Плоско, сегодня появился объём.

нос. Вчера мы проснулись раньше, вот и …

рот. Две печки, одно поленце, тс-с …

василий *(просыпается, отдувает чёлку).* Фу! *(Сладко зевает. Переводит взгляд на часы.)*

Нос испуганно умолкает. Волосы сжимаются

и замирают. Уши делают вид, что ничего не говорили.

василий. Рано! Ещё посплю. *(Переворачивается на другой бок и спит дальше.)*

рот. Слаще мёда, сильнее льва.

сцена вторая

Там же, те же, с добавлением некоторых лиц.

попа. Опять этот … всё утро болтал. Торчит, как торчило, и ню-ню-ню, бу-бу-бу, ни бельмеса не понятно. Говорить надо кратко, чётко. Пык! Пук!

рот. На чужой роток …

нос *(страшно изгибаясь и морщась).* Проклятье!

пупок. Я пуп.

Подмышки тихонько хохочут.

попа. Пук-пук!

пупок. Не пук, а пуп!

нос. Толстуха! Вонючка! Дура!

Попа отзывается радостным ржаньем.

уши. Уймитесь. Дайте же наконец послушать! Слышите? Дрозд. Неприметный, маленький, но из певцов лучше всех. Восторг и деликатность, учитесь! Да-да, это я вам *(Носу)*, зовёт подружку, но ненавязчиво, нежно, и балконная дверь поскрипывает точно в такт. Гендель, соната № 5, слышите? *(Звучит краткий фрагмент из Генде-*

ля.) А теперь — ба, да это же Глюк! Флейта, соль минор. Даже ветер сбежал с вершин, ликует, дует в занавески.

Волосы закатывают глаза. Тянутся к окну.

нос. Как густо дохнуло хвоей, тонкий древесный запах из раскрытых белками шишек стелется слоями.

уши. Наконец хоть что-то по делу! И я тоже слышу цокот беличьих шажков по ветвям. Дятел скребёт кору. Пеночка-весничка поёт, чисто, сладко. Фа, ми, фа, соль, фа, ре …

Напевают знаменитую мелодию флейты из оперы Глюка “Орфей и Эвридика”.

Василий просыпается, трёт глаза, садится на кровать и начинает свистеть тот же мотив, что только что напевали Уши.

За сценой слышен голос мамы. “У мальчика идеальный слух. Надо обязательно доучиться в музыкалке! Вася, завтракать!”

член. Время вставать.

сцена третья

Лужайка. Василий играет в бадминтон. Ему помогают Ноги, высоко подпрыгивают, тянутся, вообще сопровождают игру акробатическими этюдами. По ходу дела они негромко ухают и вскрикивают. Второй игрок присутствует в виде тени. Это девочка, ровесница Василия, Даша. Судя по тени, она в короткой юбке и кедах.

василий. Вечером будем костёр жечь, на поляне. У ручья берёза завалилась, дров будет полно. Лёшка гитару принесёт. Андрюха транзистор захватит. Серёга с первой просеки тоже будет. И Женька, чёрненькая такая, соседка твоя. Пойдёшь?

даша. Да я бы и пошла. Но бабушка … Не пускает. Даже с Женькой. Лучше этюды, говорит, повтори! А пианино-то у нас старое совсем, рассохлось и дребезжит! Но бабушке всё равно. *(Изображает бабушку.)* Пусть дребезжит, мы, когда не было инструмента, по бумажке с нарисованными клавишами всё повторяли. Она же учительница музыки у меня.

василий. Да я сам музыкой занимаюсь. Но мать

хоть тут меня не трогает. Не тащить же сюда виолончель. Так придёшь?

даша. Говорю ж тебе. Если отпустят. *(Снова передразнивает бабушку.)* Нечего шастать по ночам. Дня вам мало? Почему надо обязательно ночью жечь костёр? Первобытно-общинный строй.

василий. Да какой ночью! Мы же часов в девять начинаем. После ужина приходи.

даша *(неуверенно)*. Ну, спрошу.

член. Удача!

Продолжают играть.

василий. Дашк. Ты так классно играешь!

Даша не реагирует, молча отбивает волан.

василий. И ещё я хотел сказать тебе, я думал …

даша. Подавай!

василий. Подожди. Давно хотел сказать тебе. Я не могу без тебя … Я тебя люблю!

Василий подаёт. Воланчик улетает далеко в крыжовенные кусты.

даша *(тянется за воланчиком).* А я, я … люблю пионы. Пиончики — любимые мои цветы. Ты будешь дальше играть?

Василий бросает ракетку на землю.

василий. Нет. Не буду!
ноги. Погнали! Быстрей!
даша. Почему?
василий. Потому что ты дура!

Василий убегает в лес.

сцена четвёртая

Лес. Чаща. Василий идёт напролом.

правая коленка *(запыхавшись).* Сколько можно! Шаг за шагом, позади половина леса, сил наших больше нет.

пятки. Тропа затянулась, мы все в мозолях, нас никто не любит.

левая коленка. Колючки прямо в лицо. Ой, кровь! Больно! Сейчас будет заражение крови.

правая коленка. Надо терпеть. Надо служить. Мы дойдём.

подмышки. Хо-хо!

пупок. По мне льётся пот. Тону.

глаза. Осторожно, ветки!

левая коленка. Невыносимо.

василий. Куда это я забрался? Где же дача?

глаза. Где же наш дом? *(Плачут крупными слезами.)* Наш Вася в печали, мы потерялись … Мох, травы, кусты, папоротник — настоящее зеленое месиво, каша!

рот. Пора бы перекусить.

подмышки. Хи-хи.

левая коленка. Хватит. Сколько можно идти,

да ещё так быстро. Сколько можно издеваться над нами!

глаза. Кажется, впереди просвет.

правая коленка. Осталось совсем немного, мы скоро дойдём.

пятки. Больно, больно, плохо, душно, тяжко. Мучитель. Тиран!

левая коленка. Забастовка! Не хотим. И не можем. И главное, куда, куда мы так мчимся, всё дальше в лес, тропа тает, меркнет, сумерки близко. Стоп, стоп, стой сейчас же!

Василий переходит на шаг.

глаза. Нет, это просто пр**о**сека.

пятки. Нас никогда не спрашивают, шагай, работай, дави стельки, потей. Никакого покоя, никогда. Только однажды, помните, коленки? *Там* мы часто ходили голышом, по рассыпчатому, тёплому, а потом Вася повелел нырять в воду, в круглый аквариум с рыбками, а рыбки, мелкие ребятки, начали нас покусывать, да так ласково. И щекотно. Вот когда было хорошо! Рыбки играли с нами, рыбки нас целовали … Только совсем давно, когда мы были маленькими, нас целовала мама, и бабушка, а потом долго-долго никто, и вот рыбки. Хотим к рыбкам. Тиран.

левая коленка. Угнетатель. Мучитель. Стой! Раз-два, гнёмся! *(Подгибается.)*

василий. Всё. Ноги больше не идут. Пора бы передохнуть, но уже темнеет. Где я? Надо как-то выбраться к шоссе.

глаза. Сумерки опускаются, лес погружается в серую воду близкой ночи. Где же шоссе?

руки. Не печальтесь, потрём вас немного, погладим, станет легче.

Василий не выдерживает и опускается на лежащее бревно. Срывает листок, жуёт.

попа. Йопть. Сели! Уф. Пук.

член. Осторожней.

рот. Листочек. Кислица. Но хоть так. Ближняя соломка лучше дальнего сенца.

пуп. Телефон не взял, рванул, побежал! Куда? Обиделся … За что? И что в итоге? Бежали за него мы, старались, улепётывали …

уши. Hals über Kopf![1]

Василий задрёмывает, ему снится Даша. В той же белой короткой юбочке, но во сне она не играет в бадминтон, а танцует.

---

[1] Примечания: 1
Сломя голову! (*нем.*)

член. Какая гибкость, точные движения, стройные ноги. Руки, как веточки, как две волны, какое волшебное кружение.

попа. А попа? Где она? Попы почти и нет! Хочу быть танцовщицею, танцовщицею звуков.

уши. Was?

нос. И без вашего немецкого тошно.

попа. Гы!

член. Пленительна, непостижима, и пушок над губой, розовой, детской. Нет, это выше моих сил, выше, выше … стыд.

попа. Что естественно, то не постыдно.

член. Но мне всего 14 лет…

рот. Каждый кочет кукарекать хочет.

…Василий открывает глаза. Темнеет, он в тревоге.

пятки *(уныло)*. Куда это он? Снова идти? Только не это.

попа *(ноет).* Как хорошо было сидеть, давай ещё посидим, поспим, ау.

Но Василий обречённо бредёт по бурелому. Все бормочут в его адрес ругательства, все его ненавидят.

сцена пятая

Вокруг по-прежнему лес. Наступили сумерки и пока длится эта сцена, становится совсем темно, неуютно. Ветер качает ветки, тени скользят. Начинает накрапывать дождик.

уши *(Ртy)*. Мечтали попить? Наслаждайтесь!

рот *(распахнувшись)*. Вода путь найдёт.

волосы. Ох! Мы измучены, всклокочены, мы вспотели. Промокли насквозь.

нос. Благоуханные. В этом запахе столько тепла, чего-то совсем домашнего, родного, лёгкая кислинка, и немножко печёный хлеб — зарыться в вас и так провести всю жизнь.

пятки. Соскользнуть. Провалиться в болотную топь. Сорваться в пропасть.

правая коленка. Где вы разглядели пропасть?

пятки. За что. Он нас. Мучает.

левая коленка. Всегда, целые дни работа, никогда, никаких выходных — пинай мяч, карабкайся в гору, прыгай через ручей!

правая коленка Но мышцы должны работать!

левая коленка *(не уступает).* Пружинь, распрямляйся, тянись.

уши. Ни мгновения тишины, даже во сне, всё время шум, беспокойство, крещендо, форте, фортиссимо! Где же покой?

пятки. Не хотим. Довольно! Соскользнуть, свалиться, под-вес-ти! Убить.

рот *(тяжело дыша).* И наконец-то передохнуть.

уши. Бессмысленный плебс, ну, что вы там бормочете? Погибнет он — погибнем и мы. Оно, конечно, настанет пьяно, пьяниссимо …

попа. Пьяницы! Фи.

уши *(продолжают).* А там и вечная тишина, беззвучие, ни шороха, ни стука. *(Продолжают с нарастающим недовольством.)* Ни свиста, ни треска стрекозиных крыл, ни щёлканья веток в костре, ни бормотанья лягушек, ни таинственных шорохов ночи …

нос. Ни запаха краски, ни благоуханья лип.

глаза. Где же дорога? Где наш дом?

рот. Как хочется пить.

попа. И хорошо бы покакать.

правая коленка. Терпи!

пятки. Запутал. Заблудился. Убить!

правая коленка. Мы справимся …

левая коленка. Удушить!

ладони *(мечутся).* Тише, тише!

пятки. Шагнём с балкона, нужна только ваша

помощь. И наконец отдохнём. Оттолкнёмся, подпрыгнем повыше!

волосы. И полетим. Полёт — это встреча с любимым. Краткий блаженный миг!

левая коленка. Сначала будет больно, зато потом — покой, тишина, воля.

пятки. Долой!

ладони *(заламываясь).* О, нет!

пупок. Я — пуп. Альфа и омега. Жизнь и смерть.

рот. Хотел чёрт на луну влезть …

пупок. А дальше?

нос. Да погодите вы! Чую запах тления, надо остановить их.

уши… О вечная какофония, о ненавистные, когда же вы замолчите! Вселенная звуков, диезы и полдиезы, оттенки мелодий, дивный мир мелодий, только ты достоин быть, жить.

нос. Что вы там затеяли? Вонь, смрад. Помойка. Здесь были люди!

рот. Восстань, пророк!

член *(очнувшись).* Что? Подъём! Есть! *(Поднимается и стоит по стойке смирно.)*

уши. Да тише вы. Тише … Различаем, слышим так ясно дивные звуки, соединение гармонии и металла. Это же Шёнберг, вариации для оркестра.

Божественный лязг, идиоты — поезд! Железная дорога совсем рядом. Мы спасены! Скорее!

глаза. Видим огоньки в темноте. Кажется, это станция?

нос. Запах креозота, немного мочи, так пахнут шпалы, рядом и в самом деле — дорога.

пятки. Тысяча чертей, куда же он так рванул?

левая коленка. Всех уничтожить!

Василий выходит к станции, читает её название.

василий. Донино! Вот куда я забрался. Две остановки до нашей дачи.

Приближается сияющая электричка.

уши. Ветер свищет, колёса стрекочут, ровный голос механической женщины. Магическое трио.

Василий заходит в вагон.

сцена шестая

Дача. Раннее утро, брезжит первый свет.

В комнате звенит будильник. Василий просыпается, идёт в сад, рвёт пионы, покрытые росой, пробирается на Дашину дачу. Дашина дача — деревянная, трёхэтажная, Даша спит на третьем этаже, в комнате с маленьким балконом. Вот туда-то и надо попасть Василию. Этажи соединены столбами, по ним и карабкается Василий.

пятки. Наконец-то повезло! Незаметно соскользнуть.

ладони. Ну, нет, будем держаться изо всех сил. Но как же мешает букет.

пятки. Оттолкнёмся посильнее — и вниз.

уши. Дикари.

волосы. Ветерочек, это ведь ты? Спасибо, спасибо, что пришел со мной попрощаться …

попа. Тяжко!

нос. Сладкий тяжёлый запах. Пион.

рот. Какой странный душистый сон.

глаза. Внимательнее, осторожнее. Вот и её окно.

ладони. Но как нам перехватиться, как подтя-

нуться? Помогите!

пятки. Пытаемся, так уж и быть. Поможем неблагодарному. Оп!

ладони. Держимся, держимся, надо жить. Донести букет.

левая коленка. Больно!

правая коленка. Терпи.

ладони. Осталось совсем чуть-чуть. Подтягиваемся!

пятки. Мы уже тут. Переступаем. Есть.

василий *(добравшись до третьего этажа, глядит в окно).* Ух! Вот это да. Еле долез. Как будто что-то тянуло вниз. Пятки как свинцом налились. Почему-то хотелось отпустить руки. Но не отпустил. Спит. Какая же ты красивая, Дашка.

Форточка приоткрыта.

василий. Но как закинуть букет? Надо пройти по карнизу. Перебраться на балкон. Только бы не сорваться! Ох!

волосы. Летим! Прямо над пропастью! Любимый, ты здесь?

член. Ой.

пуп. Вася, не подведи!

ладони. Работаем, стараемся, всё получится.

попа. Пр-р … Хр-р! Мр-р!

Василий добирается до цели. Встаёт на балкон, осторожно опускает в форточку букет. Букет приземляется на подоконник.

василий. Спасибо, ножки, не подвели. *(Обращается к рукам.)* Спасибо, ребят.

левая коленка. Невероятно! Впервые в жизни он нас поблагодарил.

правая коленка. Всему своё время.

Уши тихонечко напевают.

ладони. Васенька, мы с тобой.

пятки. Да мы, в общем, тоже. Погорячились …

Вася смотрит на Дашу, потом на сад сверху. Член смущённо улыбается красоте.

попа. Гор! Лобадень! Пинь-пинь.

нос. Огуречный запах рассвета.

глаза. Зажигаются звуки. Плещется радугой утренняя земля.

уши. Небо пахнет водой. Сосны слегка охрипли. Рыхлые вздохи облаков. Лиловые ливни птичьих песен.

нос. Светло-жёлтые пушистые запахи недавно вылупившихся птенцов.

уши. Возгласы флоксов, горение лилий, свет так и тянет мысочки лучей, танцует Брамса.

волосы *(колеблемые ветром)*. Наконец ты со мной, ветерок, как мне спокойно, мирно.

нос. Как легко и весело вы прикасаетесь ко мне. Ой, щекотно!

подмышки. Хи-хи.

руки *(раскрывая объятие)*. Как славно, что все помирились. Пора перестать сражаться с ним и друг с другом, перейдём перевал переходного возраста вместе.

рот. Клади картошку в окрошку, а любовь …

попа. Труляля. Пык-прык. Скок.

член *(чётко)*. Всегда готов.

ладони *(дирижируя)*. Вместе!

все хором. Я люблю тебя. Я люблю тебя. *(С расстановкой.)* Я тебя люблю.

девичий голос. Это ещё что? Пиончики … Мои любимые цветы. Васька! Что ты делаешь на моём балконе?!

Занавес

Александр Архангельский

Крупный план



Ранним утром они прилетели в Архангельск — звонкий, холодный. Возле деревянного особняка Суркова записали дурацкий стендап. Смуглый ведущий с трёхдневной щетинкой, обмотанный ярко-оранжевым шарфом, долго ходил вдоль забора и зубрил невыносимый текст: мы находимся в том самом городе, который … гордится и помнит … и буквально за моей спиной … уберите этих чёртовых детей из кадра … мы находимся в том самом городе, который … Девушка-координатор, плотная, в розовой тесной футболке, подбежала с модным термосом, напоила ведущего чаем. Ведущий успокоился, размяк. И снова пошёл вдоль забора, уверенным прыгучим шагом:

— Город, который помнит и гордится …

Крикнув “Было!”, Митя наспех прописал фоны́, крупным планом взял табличку музыкальной школы, честно отработал скучное задание. Технику сгрузили в праворульку, неизвестно как попавшую на севера́, и поехали “на историческую родину великого учёного, поэта, патриота Ломоносова, восторг внезапный ум пленил, ведёт на верх горы высокой”.

Приличная дорога быстро кончилась. Подкидывало на ухабах; комары плотоядно зудели; девушка-координатор пшикала пульверизато-

ром: машина пропахла лавандой и хвоей, дышать было нечем, но комары не собирались умирать. Крупный неухоженный видеоинженер, от которого разило перегаром (накануне он работал в подмосковной Жуковке, на презентации каких-то крымских коньяков), спрятался в похмельный сон; водитель слушал вечных “Тату”, нас не догонят, нас не догонят, нас не догоня-а-а-ат. А Митя мрачно смотрел на дорогу.

Тут было нечего снимать! Кусты-недомерки, куцые берёзки, плоская усталая земля. Идеально для артхаусного фильма, никуда не годится для дока. Дёрнуло их заявиться в июне, когда всё бестелесное, неразличимое, как буддийское молитвенное пение … Знал бы, отказался наотрез. Он вообще попал сюда случайно: заскочил на студию за гонораром и в бухгалтерии наткнулся на Сладкова, у которого свалился с гриппом оператор.

— Митька! Ты мне должен за Колумбию с Венесуэлой! — завопил Сладков. — Мог отправить Иванову, а выбрал тебя.

— И?

— Ты пока не семейный.

— И?

— Съёмок мы тебе не ставили, как знали.

— И?

— Завтра вылет в семь. В пять встречаетесь у входа в Шарик, не проспи.

Митя не стал отбиваться; его всегда охотней брали за границу, где он только ни был, от Австралии до Болливуда, а хотелось взглянуть на глубинку, за пределом больших городов. Тем более Сладков пообещал удвоить цену. И вот — низкорослая рябь, тусклое неразличимое пространство, что тут можно дать на крупняках?

Как положено, на полпути их праворулька дёрнулась и замерла.

Водитель, сладостно проматерившись, залёг под капот. Справился часа за полтора. Но местные предупреждали: после восьми приезжать бесполезно, все разъедутся по деревням, некому будет селить; не успеете — являйтесь с утра. Пришлось заселяться на трассе. В придорожном отеле обнаружился один свободный номер; девушке-координатору досталась старая пружинная кровать с полосатым матрацем тюремного вида, мужикам принесли раскладушки.

Водитель вытащил из чёрного клеёнчатого рюкзака просторный бутерброд, завёрнутый в отмокшую газетку, сел за широкий подоконник, поужинал, запил кипячёной водой из титана.

После чего старомодным движением, поворачивая в воздухе будильник, завёл советский механизм. (Митя даже облизнулся, вот бы в кадр.) Натянул повязку на глаза и замотался в серую невысохшую простыню. Комары плотоядно зудели, только водитель не слышал. Он спал.

Остальные спустились на первый этаж в кафе. Длинные сосновые столы, толстые расшатанные стулья, лакированная жёлтая вагонка; всё проморено густой олифой, из каждой свободной розетки торчит фумигатор. В простенках — застеклённые картинки из журналов, порнографическая радость дальнобойщика: силиконовые девушки на корточках, парни с перекрученными жилами. И советская латунная чеканка: по краям виноград, в центре витязь в тигровой шкуре, царица Тамара и горная речка.

Они заказали шашлык и дешёвое пиво в двухлитровой пластмассовой бутылке, которую они именовали “сися”. Предпочли бы, конечно, вина, но ведущий повертел единственную здешнюю бутылку и сказал актёрским голосом:

— “По-ме-роль”. Хорошее вино, достойное. Второго года. Это славно. Сла-авно. Но ведь скисло всё давно уже, я прав?

— Вы лучше водочки возьмите, — предложила

гладкая барменша, беззастенчиво глядя в глаза покупателю.

— Водочки. Но вот вопрос: а как тут с кладбищем? Недалеко? Приедут сразу?

— Ну, они же пьют. И живы.

За соседним столом отдыхали водилы: шашлык, промасленные чебуреки, двухлитровая коробка сока, украинская горилка на бруньках. Все рослые, светловолосые: порода. Пили мрачно, тяжело, не чокаясь, словно отрабатывали долг. Настроение за их столом царило мирное; они уже растратили запас веселья, но застряли в стадии последнего покоя, когда слова не складываются в предложения, а злоба ещё не пробилась.

Девушка-координатор почуяла неладное.

— Слушайте, — спросила она барменшу, — а в номере можно покушать?

— Принесём, — ответила понятливая девка. — Там у вас в углу табуретки. Ну, один посидит на кровати. Нормал?

— Будет готово — тащите!

Невесело поужинав, легли. Ведущий подложил под щёку кулачок и с головой укрылся пледом; девушка-координатор растянулась на спине, расплескав по телу грудь. А Митя заснуть не сумел. Храп, зуд, сопение соседей, короткие сатиновые

шторки. Он ворочался, приказывал себе уснуть — не получалось. Поискал на компе файлы с Янкой Дягилевой, закачанные перед отъездом. И как-то внезапно пробило: не слова, не музыка, даже не голос. А что-то такое, чего объяснить невозможно.

если мы успеем мы продолжим путь ползком по шпалам

ты увидишь небо я увижу землю на твоих подошвах

надо будет сжечь в печи одежду если мы вернёмся

если нас не встретят на пороге синие фуражки

Без четверти час он накинул худлон, отмотал рукава, стал похож на подростка. И вышел на улицу.

Собственно, идти здесь было некуда. Направо — федеральная трасса, налево — бетонка, между ними — карликовый лес, в который врезáлась тропинка, прямая и тонкая, как стрелка на глаженых брюках. Мягкий мох светился изнутри зелёным светом. А неподвижные деревья напоминали аппликацию, наклеенную на целлулоид. В Питере белые ночи другие: дымчатый

воздух, серые прямоугольники домов, жёлтые квадраты окон и стальная рябь Невы. Готовые продуманные декорации, сплошная рекламная пауза. Выставил свет — и снимай. А эта ночь была какой-то безысходной, словно природу пытали бессонницей, запрещали закрывать глаза.

Поначалу лес казался слишком редким, но вскоре путь загородил кустарник, за которым обнаружился военно-полевой сортир. Валялись обрывки газет, басом гудели навозные мухи. Митя ускорился, удерживая тошноту, но метров через двести упёрся в толстый ствол поваленной берёзы, потом нарисовался низкорослый ельник, а берёзы густо заплелись стволами у корней и стали похожи на сжатые пальцы. Чтобы продираться дальше, нужно было взгромоздиться на сплетение, ухватиться за толстые ветки — и спрыгнуть. Чтобы через несколько шагов опять уткнуться в перекрученные низкие стволы.

И комары атаковали. Как без них.

Пришлось возвращаться обратно. За это время он успел окончательно проснуться. И сообразить, что сам себе напоминает странного толстовского героя, который поехал служить на Кавказ и попал к казакам, но ни мыслей их не понимает, ни слов, затерянный мир.

Когда он подходил к гостинице, водилы выбрались на улицу. Митя сначала решил, что отлить. Но ошибся. Они, как зомби, выстроились в идеально ровный круг, вытолкнули молодого парня в середину. И стали перекидывать его, как свёрнутый ковёр. Один пихнёт, другой подхватит, аккуратно даст под дых и перекинет следующему. Молча, безжалостно. Паренёк не сопротивлялся, не кричал, только ухал после каждого удара. Вмешаться было невозможно — кто он, один против них? Жалкий спортивный москвич, жертва столичного фитнеса.

Парень споткнулся, опустился на колени, его свалили на асфальт и по очереди стали бить ногами.

Напряжённое кряхтение, глухие удары и тихий стон. Парень свернулся калачиком, прикрыл лицо и рёбра.

На мгновение они остановились, отдохнули и, всё так же соблюдая очередь, стали молча прыгать на него. Беззлобно и безлично выполняя неприятную работу. Когда паренёк перестал реагировать, его оставили валяться на асфальте и цепочкой поднялись по лестнице, в кафе. Мало было вам телесности, товарищ оператор? Получите, распишитесь.

Тут на крыльце появилась барменша. Вылила на лицо и руки избитого бутылку перекиси водорода, промокнула скомканной туалетной бумагой, отогнала облезлую дворнягу, несоразмерную, с коротким телом на высоких лапах:

— Нах пошла, я кому, блядь, сказала, урою, будешь мне тут кровь лизать.

Собака завернула длинный хвост между ног и бочком, бочком отбежала. Но остановилась метрах в десяти-пятнадцати.

— Ждёшь чего, — сказала барменша Мите, не поворачивая голову. — Помоги. Не видишь, блядь, какое дело.

В голосе не было ни осуждения, ни сочувствия, только равнодушное приятие всего. Как вышло, так вышло, что было, то будет. Работа знакомая, дело привычное. Они затащили безвольное тело в кафе, плюхнули, как мешок с картошкой. Барменша налила воды в эмалированную миску, обтёрла кровь губкой, пролила йодом. Избитый дёрнулся. Значит, жив. Она достала из аптечки тюбик с клеем БФ, выдавила на рассечённую бровь, помяла пальцами, чтоб скорей засохло, с обезьяньей ловкостью перебрала волосы, нащупала рану, обеззаразила её, прошлась клеем.

— А ничего, живучий, — одобрительно про-

изнесла она и покрыла тело грязной марлей, пояснив: — Иначе комары сожрут. Но фингал, смотри, здоровый, морда заплывёт, до вечера ехать не сможет.

— Да какой ему ехать, — сказал Митя и трусливо добавил: — Блядь.

Барменша не ответила, даже голову не подняла, но брезгливо повела плечом — и он сразу перестал подделываться “под народ”.

— Слушайте, у него же рёбра переломаны и сотрясение мозга наверняка. Надо скорую вызвать.

— Скорая, — заржала барменша в голос. — Глаза разуй. Какая скорая на трассе ночью, мальчик, это тебе не Москва. — И добавила серьёзным тоном: — И никаких переломов, прикинь. Чтобы этому сломать, нужна кувалда.

В подтверждение она ладонью надавила на грудную клетку, как будто делала массаж; водила даже не вздрогнул.

— На нём пахать можно. Хоть сейчас на войну. Всё, фотограф, отвали, я запираю, мне в полседьмого яичницу ставить. Ложись, не проспи.

— А как ты поняла, что я фотограф?

— Не слепая. Ты же камеру грузил. Да и вообще.

Следующий день ушёл на проработку *жиз-*

ненного материала. Мотались по одинаковым соседним деревням: сбившиеся в кучку домики, палисадники, бревенчатая старая библиотека или каменный советский клуб, на возвышении — церквушка с мелким куполом, блестящим, как дешёвая серёжка, на горизонте — поле с трактором по центру, за которым ковыляют чёрные грачи. Митя снял пейзаж в одной деревне, снял в другой, а потом забил на это дело, потому что в кадре всё неразличимо, подкладывай планы внахлёст и монтируй потом как придётся. Кроме местных жителей, никто не заметит. Ведущего библиотечные не волновали, он в основном отсиживался в праворульке. Координаторша сама высаживала тёток перед камерой, пропускала микрофончики через застиранные кофты с катышками, задавала идиотские вопросы, как бы проверяла на речистость.

Тётки очень хотели понравиться. А Митя смотрел в окуляр и как бы просвечивал их. Все, без исключения, гордились тем, что получают регулярную зарплату, кто четыре тысячи, кто пять, а кто и целых шесть, угощали группу травяным настоем, поскольку чаем угощать не по карману, и бесконечными сдобными шанежками, извиняясь, что на рыбник до получки не хватило, вот

если б вы приехали на той неделе …

В Москву вернулись вечером следующего дня. Сдали арендованную технику, отвезли ведущего на “Чистые пруды”, девушку-координатора доставили на “Алексеевскую”, инженера высадили на “ВДНХ” и, сделав немыслимый крюк, отправились в Замоскворечье, к Мите. Он обожал свою квартирку, такую искривлённую, с изломом; 46 квадратных метров казались бесконечным лабиринтом. Но главное в ней было — вид с балкона. Жестяные крыши, скособоченные старые дома, плотный оранжевый свет сквозь тюлевые занавески, силуэты хозяек на кухнях, лай безумной соседской собаки.

Не разуваясь, он прошёл на кухню и распахнул балконные двери. Перед ним был беззаботный город, словно навсегда застрявший в летних сумерках; снизу поднимался влажный жар — лето рано вступило в права.

Вера Богданова
Антитело



Катя ненавидит свои пальцы.

Толстые обрубки, бракованная версия нормальных пальцев. Свиные хрящики. Сардельки. Коротыши, как их называет мама. Они милые, так говорит она, твои коротыши. И ты сама такая милая, булочка моя.

Ублюдская, добавляет Катя про себя. Розовощёкий нелепый кусок человека.

Обычно она прячет пальцы в карманы. На уроках пишет, подминая под себя тетрадь, скрывая обрубки от посторонних взглядов, потому что хуже сарделек могут быть только сардельки, держащие ручку. На улице она натягивает перчатки, даже когда совсем тепло, и становится как Микки Маус и прочие диснеевские мыши. Только Катины перчатки совсем не белые, они вязаные, серые, с дыркой между большим и указательным пальцами.

Иногда Кате снится, что пальцы распухли и она не может ими шевелить. Они лишь трутся друг о друга покрасневшими отёкшими фалангами, совершенно бесчувственными. Она сидит на алгебре, контрольная, все пишут, а у Кати ручка соскакивает с парты, весело катится к доске. Катя пытается её ухватить, ползёт за ней по проходу между рядами, оказывается у ног Никиты

Певцова. А тот глядит на Катю улыбаясь, сверху вниз, садится ей на спину, причмокивает губами и говорит: пошла, моя хорошая, пошла! И бьёт пятками по её бокам.

Ты такая милая, булочка моя. Давай положу тебе ещё котлету.

Иногда Кате снится, что она идёт в маникюрный салон “Клеопатра”, тот, что за углом. Там её пальцы отпиливают болгаркой, а на их месте вырастают новые, длинные и изящные, как у пианистки. Идеальные. Как у Светы Михайловой.

Как дела, спрашивает Света.

Они у Кати на кухне, сидят на диване поджав ноги. Ноги у Светы тоже красивые — длинные, с узкими ступнями. Катя смотрит на свои ступни, накрывает их ладонями.

Всё хорошо, отвечает.

Света кивает, что-то набирает в телефоне, клацая по экрану ногтями. На Катином стареньком ноутбуке открыто видео какого-то американского визажиста. Визажист наносит на лицо модели десятый слой тональника, хотя не нужно ей совсем, она очень красивая и без макияжа. Но визажист проводит тёмную полосу под скулой, превращает её в мягкую тень, растушёвывая спонжем. Модели очень нравится, она улыбается, показывая

ровные белые зубы.

Катя глядит на своё отражение в зеркальной вставке кухонной двери, показывает ему зубы. Отражение кривится в отвращении.

Света рассматривает новый кухонный гарнитур, блестящую варочную панель, на которой три кастрюли и сковорода. Духовку, хлеб нарезанный подсыхает на блюде, рядом яблоки, на подоконнике горшки с цветами и прихватки, на прихватках тоже вышиты цветы. Пахнет уже съеденной шарлоткой и стиральным порошком — дверь в ванную открыта, там сушится бельё. Телевизор в комнате иногда взрывается криком, Катина мама смотрит “Пусть говорят”.

Света представляет, как Катя приходит домой из школы. Её встречает мама, спрашивает, что Катя будет есть, — у мамы всё готово уже, и котлеты, и суп, и картошка пюре, и компот в большой кастрюле (Свете очень хочется попросить добавки, но это будет неудобно, она и так постоянно Катю объедает).

Свете нравится, как Катя одета. Всё свежее, новое, по размеру. Сама Света обычно донашивает за кем-то: за дочкой Марьванны, за внучкой Асьпетровны, за Фирой Александровной из пятого подъезда, всё с чужим душком, покрыто

катышками и великовато. Покупают Свете только ботинки, одну пару на зиму, одну — на лето.

Телефон жужжит, Лёва отвечает: ну что завтра в пять? всё в силе?

Света ему пишет — да — и чешет шрамы под рукавом. Те извиваются, въедаются всё глубже, не дают покоя.

У Светы нет родителей. Мама умерла, папы и не было, и теперь Света живёт у Тётьмаши, маминой сестры, которая бухает. Хотя сама Тётьмаша говорит, что вообще старается не пить, ей вредно, только иногда для настроения. Иногда к ней приезжает Боря, и Света гуляет, пока в квартире не включится свет и во дворе не затарахтит, разогреваясь, Борина машина.

Иногда гулять приходится до часу ночи. На площадке сидеть скучно и холодно, и Света делает круг по району — от поликлиники до школы, вдоль бетонного забора, в арку, через двор нового ЖК, до конца улицы, потом на проспект, в фонарный свет и шум машин, до поворота и обратно к дому. Вечером на улицах обычно пусто, а окна горят, за окнами что-то происходит, и Света ненадолго погружает взгляд в чужую жизнь, то стыдливо прикрытую тюлем, то настежь открытую: колбы встроенных светильников, шкафы,

работающий телевизор на стене, кто-то что-то режет или жарит, видны голова, плечи, пар.

А в конце марта случилось вот что. Тётьмаша с Борей задержались — Света пришла, а окна тёмные, Борина машина всё ещё стоит. Света думала зайти в подъезд, там посидеть, час ночи опять же. Но в подъезде тепло, начнёт клонить в сон, Света один раз так уснула и проснулась только в пять утра, уборщица разбудила.

Она двинулась по второму кругу: поликлиника, школа, бетонный забор. Не боялась как-то, всё исхожено, изведано давно, что случится-то? Когда шла через арку, к эху её шагов примешалось ещё одно эхо, защёлкало по влажным кирпичам. Уже во дворе ЖК Света обернулась. Следом шёл какой-то мужик, смотрел он прямо на неё, так странно, что Света всё сразу поняла десятым звериным чутьём, спинным мозгом, и побежала.

Мужик за ней. Хватанул за ворот куртки — Света дёрнулась, сумела вырваться, помчалась — молча, глубоко дыша и стиснув зубы. В дальний подъезд заходила какая-то тётка, и Света бросилась к ней, к маячку лампы над козырьком, слабо выдохнула что-то вроде “ …ите, помогите”. Тётка глянула на неё, зашла и закрыла дверь. Несколько шагов оставалось.

Света добежала, дёрнула ручку — закрыто. Помогите, крикнула.

Ну и тут мужик её догнал. Ударил головой о стену. Перед Светиными глазами мелькнуло объявление: приличная семья славян снимет однушку в вашем районе. Из носа пошла кровь, Света ещё раз закричала, а мужик достал короткий армейский нож.

Не ори, велел.

Чё, испугалась, сукабля, спросил и лыбился нехорошо, а глаза были пластмассовые, неживые.

Света рванулась вбок, а он как давай махать ножом слева-направо, справа-налево. Света закрылась руками, предплечья обожгло, больно было очень, и нож всё ходил слева направо, справа налево. Она зажмурилась, слышала тяжёлое дыхание мужика: видимо, резать было тяжело.

А потом он просто ушёл. Света открыла глаза — а мужика нет, только она и вспоротые рукава куртки, вывалившие пропитанные кровью синтепоновые внутренности. Она пошла домой, и как во сне всё было, в тишине, по чёрному подтаявшему льду. Боря уже уехал, помятая и датая Тётьмаша долго ругалась, заматывая Свете руки бинтом. Я на стройке упала, сказала Света. У

рынка. Хотела посмотреть, как у них там, полезла и упала на что-то, распорола всё. Тут Тётьмаша стала ругаться ещё сильнее, пообещала, что не купит ничего, так в драной куртке и будешь ходить, поняла? А за ней, во тьме коридора, маячил тот мужик с пластмассовыми глазами, ждал.

Потом зажило всё, мужик перестал мерещиться, только шрамы остались, длинные, на всё предплечье. Света смотреть на них не может, всё время закрывает рукавами. И руки эти как будто не её, какой-то другой глупой девочки, которую порезали во дворе нового ЖК. Сама-то Света просто на стройке упала, куртку порвала, бывает. Чего её понесло туда? Она не помнит.

Что будем бить, спрашивает Лёва, собирая машинку.

Света закуривает, придвигает пепельницу. Вот их закрой, отвечает и показывает на шрамы. Просто полосой, вот здесь и здесь.

Сплошняком, что ли, удивляется Лёва, и Света кивает.

Сплошняком, да, прям до локтя. Шрамы закрыть. Ага?

Ага, Лёва пожимает плечами и включает машинку. Он боялся, что Света попросит чей-нибудь портрет или животное в стиле реализма, чтоб

как на картине. А он сам только узоры бьёт, животное-то вряд ли сможет. Но сплошняком забить вообще говно вопрос.

Потом второй раз надо будет пройтись, когда заживёт, предупреждает Лёва и впивается иглой в Светину руку. Света вздрагивает, затягивается, выдыхает дым.

Чё как, спрашивает Катя.

Нормально всё, отвечает Света.

Они стоят в Светином подъезде, Катя сидит на подоконнике, Света курит рядом, стряхивает пепел в банку из-под кофе. На улице уже стемнело, влажно мерцают листья на берёзе. По двору едет машина, втискивается в свободный угол у тротуара. Из машины выходит женщина, вытаскивает с заднего сиденья пакеты, по три штуки в каждую руку, тащит их в подъезд.

Кате пора домой, но ей не хочется. Хочется куда угодно, только не домой. Она изучает Светины пальцы, указательный и средний, между которыми зажата сигарета. Из-под рукава выглядывает запястье, всё черное, — татуировка?

Чего, спрашивает Света. Катя мотает головой, мол, ничего, впивается ногтем в ладонь.

Катя ненавидит свои бёдра.

На той неделе она побывала у Никиты Певцова в гостях. Он подошёл к ней на перемене и сказал: родители уехали на дачу, вернутся поздно, часов после одиннадцати. Посмотрим фильм?

Они давно переписывались, больше по приколу, конечно, но обсуждали всякое. Никита хвастался, сколько и с кем у него было, Катя тоже придумала что-то. Ну и тут, не дура же, сразу поняла, что фильм они смотреть не будут. И столько раз ей это представлялось, что она сразу сказала “да”, хотя могла ради приличия подумать.

Она кивнула уверенно, вроде как показать, что есть опыт, хотя сама паниковала жутко — первый раз же. Видела порно, конечно, но там-то не она, там девушки с идеальными телами, с рабочими ртами, хваткие, умелые. Не булочки с коротышами вместо пальцев, в общем.

Когда она сняла трусы (стоя немного полубоком, пряча половину себя в тени), Никита сказал, что жопа у неё хорошая, самое то, хоть и целлюль. Сказал — прям укусил бы, какая жопа сочная. Но не укусил.

Потом он долго теребил свой член, чтобы тот встал. Член сопротивлялся, морщился и прятался в ладони, а Катя стояла голышом и мёрзла, ей не хотелось секса, ей ничего не хотелось, по правде

говоря, только одеться и уйти.

Что она и сделала в итоге.

Катя смотрит в зеркало и начинает разминать целлюль, больно сжимать плотные складки бёдер и ягодиц — проклятые складки проклятыми пальцами — будто хочет выдавить их из себя. Кожа краснеет пятнами, становится ещё страшнее. Катя мнёт сильнее — и вдруг одна из складок подаётся, будто течёт сквозь пальцы — и исчезает.

Катя глядит на ровный и бескровный мясной срез на правой ягодице, обведённый срезами желтоватого жира и кожи. Совсем не больно и не страшно даже, просто удивительно. Она проводит по глянцевой поверхности ладонью — тоже ничего. Если прикрыть одеждой, так вообще прекрасно.

Подумав, Катя отщипывает часть живота.

Тётьмаша сидит и читает-заполняет договор купли-продажи — она продаёт квартиру и переезжает к Боре. Света переезжает в интернат, всего-то года два, недолго куковать, так Тётьмаша говорит. У Борьки просто места мало, мы все не поместимся туда.

Рядом с договором стоит рюмка, уже пустая.

Тётьмаш, говорит Света. Тётьмаш, у меня с руками что-то не так. Шрамы болят и как врастают,

что ли, посмотри.

Слушай, ну аккуратнее ходить надо было, говорит Тётьмаша. Она оценивает Свету сверху вниз, а после снизу вверх, перебирая взглядом ноги, голые руки с татуировками и шрамами, одежду. Удостоверившись, что всё на месте в нужном количестве, она возвращается к бумагам.

Шрамы как шрамы, говорит она. Всё в порядке там, под твоими чернилами вообще не видно. И нечего лазить по стройкам, чего ты там забыла, ночью тем более.

Свете хочется ответить, что она их не на стройке получила, хочется рассказать, как нож поблёскивал и свистел слева направо, справа налево, чёиспугаласьсукабля. Как она выскочила из себя, а зайти обратно полностью уже не может, не её вот это всё порезанное, а другой, беззащитной девочки.

Теперь будешь с такой вот жутью на руках, добавляет Тётьмаша, аккуратно вписывая своё имя в графу “продавец”. Набила на всю жизнь. Думать же надо, не знаешь, что страшнее, шрамы твои или вот это. И болит из-за чернил небось.

Шрамы выбираются из-под татуировки, ползут всё выше и буравят тело. Света чувствует их словно червей под кожей.

Чёиспугаласьсукаблячоиспугалась?

Машинка ходит слева направо, справа налево, заполняет грудь и живот чернильным непроглядным, закрывает жуть. Жути не видно, значит, нет её. Жаль, нельзя забить себя и изнутри, заполнить чернилами каждый орган тела.

Света думает о белках глаз. Их тоже можно заполнить чёрным, она видела в ютьюбе. Опасно это, правда. И Лёва вряд ли сделает, хоть ради Светы он вообще на всё готов. Но она посмотрит, подумает, как это можно провернуть, куда пойти.

Я ненавижу свои пальцы, говорит Катя. Она поглаживает постройневшие бёдра, отщипывает ещё кусочек от икры. Платье колышется свободно на месте живота, втягивается мягкой полупрозрачной складкой внутрь, в пустоту под ребрами, за которой просвечивает спинка стула. Катя отпивает чай, и по цветастой ткани расползается пятно.

Шрамы растут. В кожу впиваются, прикинь, отвечает Света. Как леска.

Как они тебе, спрашивает Катя, рассматривая свои пальцы. Мне кажется, они толстые.

Света молчит и наблюдает, как шрамы переползают с груди на живот, сворачивают на бедро.

Смыкаются на шее.

Они тонкие, отвечает, но болят. Пойду завтра забивать. Когда забиваешь, как-то легче.

Катя кивает, отламывает указательный палец, и тот исчезает.

Катя пропустила тот момент, когда тело начало исчезать само. Просто заметила, что коленей нет, на их месте пустота, а дальше начинаются тщательно выщипанные стройные икры и узкие ступни. Катя могла стоять, ходить, с какой-то стороны даже стало удобно не стукаться коленями о письменный стол — он расположен в углу комнаты, зажатый между шкафом и кроватью, и сесть за него возможно только стукнувшись три раза.

Но совсем без коленей как-то тоже неудобно. Некрасиво.

Потом исчезла попа. Вся, совсем. Джинсы стало не на чем застёгивать, Катя нашла старые дедовы подтяжки, спасалась ими. Ладони тоже пропали. Пришлось пропустить школу.

Потом руки вообще исчезли.

Может, еда поможет? Встроится в тело, как встраивается вирус в спираль ДНК.

Катя кусает бок младенчески-розовой “докторской”, затем кусает хлеб — без рук бутерброд нормально не отрежешь. Прожёванная бело-розо-

вая каша вываливается из подреберья, шлёпается на пол и пальцы ног. Слышен стук входной двери — мама пришла. Катя ступнёй сдвигает прожёванное под кухонный стол, выходит в коридор.

Мама снимает пальто, мимоходом, не глядя на Катю, спрашивает, как в школе дела, что получила и что задали. Катя врёт. Мама кивает, роется в сумке, что-то пишет в своём айфоне, а Катя смотрит вниз — икры подтаяли до щиколоток. Потом мама снова вдевает себя в пальто, говорит, что надо по работе ей уехать, закрой за мной, уходит.

Катя сбрасывает мобильник на пол и вызывает нужный номер большим пальцем ноги. Тут ноги исчезают полностью, и Катя падает на пол, хотя раньше она как-то держалась и без колен.

Из лежащей рядом трубки вытекает тёмный голос Светы.

Ты как освободишься, приходи, говорит ей Катя. Сразу, ладно? Дверь открыта, если что.

Пока Катя лежит и ждёт Свету, она смотрит в потолок, на псевдолепнину вокруг люстры, на саму люстру, а в плафоне лежит сухая муха скрюченными лапками вверх. Этими лапками она как будто держит лампу, не даёт упасть.

Света всё равно звонит, когда приходит, лишь

после заглядывает внутрь. Лицо её черно, шея черна, черна рука, которой она придерживает дверь. Только глаза ярко белеют, будто в голове у Светы вдруг включили свет.

Привет, говорит. Как дела?

Привет, отвечает Катя. Да нормально. Есть хочу.

Света поднимает Катину голову, несёт её на кухню, ставит на стол между вазой и солонкой в виде кошки. Разогревает спагетти — нашла их в холодильнике, — придвигает тарелку так, чтобы Катя цепляла макаронины языком. Сама садится рядом и глядит в окно.

Я вещи собрала уже, говорит она. Завтра заберут. Сказали, много не тащить с собой. Тётьмаша говорит, что будет всё окей. Говорит, что будет приезжать. А мне не надо. Ну приедет она, и что?

Катя всасывает макаронину, глотает, слушает.

Они везде, ты понимаешь, продолжает Света. По всему телу. Я-то хочу, чтоб их не видно было, а их видно всё равно. Вдруг все увидят и поймут. Ну, что я боюсь пипец. Что я ничего не сделаю в ответ на самом деле. Если двинуть или толкнуть — ну ничего же. Слабая. Оно вот (Света щиплет себя за чёрную руку) слабое совсем.

Катя ест и слушает. Губы её чуть сползают на-

бок с исчезнувшего подбородка.

Света глядит — на улице уже темно, пора. Пойду прогуляюсь, говорит она. Увидимся, наверное.

Увидимся, хочет ответить Катя, но рот занят и языка она не чувствует.

Щёлкает дверь — Света ушла. Катя делает вдох, потом долгий усталый выдох и исчезает. Между вазой и солонкой остаются макаронины, блестящие от масла, свитые на скатерти кольцом.

Света выходит из подъезда. Вливается во тьму, и Светы больше нет.

Евгений Водолазкин
Чьё тело?



Жизнь редко предоставляет законченные сюжеты. От литературы она отличается большей безалаберностью: редко следит за композицией и уж точно не формулирует основной идеи. Всё, что мы находим в литературных текстах, — это плод работы сочинителя. С другой стороны, он — как бы не очень и сочинитель, потому что описываемые события не придуманы им, а заимствованы, как правило, из другого времени и пространства.

Есть ещё одно отличие реальности от искусства, о котором писал Юрий Михайлович Лотман: художественное произведение непременно имеет границы. Оно от-граничено от жизни, которая — безгранична. Удобно, когда такие границы намечает само бытие: чёткий сюжет, пространство и время. Но есть множество событий, разбросанных по всей жизни, которые ничем не объединялись и порознь как бы существовали, но, окидывая ностальгическим взглядом прошедшее, автор видит иные связи — не такие, может быть, очевидные, не собранные в одном времени, но несомненные.

Когда же возникает необходимость написать что-нибудь — ну, скажем, о теле, — он, автор, понимает, что сплошными линиями связи не прочерчены, что ему остаётся следовать линиям

пунктирным. И не то чтобы автору совсем уж нечего было рассказать о теле — просто он предпочитает сложный путь.

Автор (назовём его Евгений) начинает с дальнего разбега. Вспоминает о том, как в аспирантские годы они с будущей женой (назовём её Татьяна) дружили с юной американской исследовательницей по имени Лорел. Высокая светловолосая девушка в очках. Удивительно обаятельная. Приехав в тогда ещё Ленинград, она, подобно Евгению и Татьяне, занималась древнерусской литературой. В свободное от *ятя* и *фиты* время читала английские детективы, которые ей присылали из Америки. Ну, и встречалась, само собой, с Евгением и Татьяной.

Самый яркий эпизод этой дружбы связан с отмечанием нового, 1989 года. Американскую гостью советские аспиранты принимали в общежитии. С хлопком пробки шампанское (тоже, естественно, советское) превратилось в форменный огнетушитель. Евгений попытался заткнуть пальцем горлышко бутылки, чтобы не замочить коллегу, но джинна в бутылку было уже не загнать. Суть перемен состояла лишь в том, что если до этого шампанское распределялось на всех равномерно, то теперь, под пальцем Евгения, оно собралось

в мощную струю, бившую прямо в Лорел. Возможно, бутылка не до конца охладилась или изначально предназначалась для “Формулы-1”. Как бы то ни было, иностранная исследовательница оказалась мокрой с головы до ног. Высушив Лорел феном, кружок медиевистов отпраздновал-таки Новый год. Здесь — эротично прилипшее к американской подруге тонкое платье — впервые мелькает тема тела. Более подробно эта сцена описана в романе “Брисбен”, но развитие сюжета связано не с ней.

Уезжая через полгода домой в Сиэтл, Лорел оставила Евгению и Татьяне все свои детективы: они просто не помещались в багаж. Детектив — он как семечки. Вроде бы им и не увлекаешься, но, если уж он попадает в руки, не прочитать его невозможно. Стоит ли говорить, что все Лорины детективы молодые исследователи древнерусской литературы прочитали. В том числе — и здесь мы выходим к основной теме повествования — роман Дороти Сейерс “Whose body?”, что на русский переводится понятно как.

Этот роман не перевернул их представлений о жизни, а даже, напротив, вскоре был забыт. Но жизнь — терпеливый автор, и у неё есть возможность ждать. Сочинение Дороти Сейерс вновь

возникло в сознании Евгения спустя лет десять, когда он несколько запоздало прочитал роман Владимира Набокова “Отчаяние”. Сходство двух книг ему показалось очевидным, и в свободное от древнерусской литературы время он их сопоставил.

Кто такая Дороти Ли Сейерс (1893–1957)? В отличие от создателя романа “Отчаяние”, о ней нашим читателям известно не так уж много. Сейерс была не только автором популярных детективов, но и богословом, а также переводчиком и комментатором Данте. В определённом смысле она была чем-то вроде женского варианта Г.К.Честертона. Обширный диапазон интересов Сейерс не ухудшил качества её детективных романов: написаны они со вкусом, хорошим языком и, что существенно для детективов, без претензий.

Сюжет “Отчаяния” читателю, как я полагаю, знаком, поэтому ограничусь кратким напоминанием о том, что повествователь (он же главный герой романа) Герман вдохновляется на преступление своим абсолютным, как ему кажется, сходством с неким Феликсом. Герман страхует свою жизнь — и убивает Феликса, чтобы выдать его тело за своё. Роман — блистательный, оригинальный, но при этом, судя по всему, имеет

претекст.

О книге “Чьё тело?” (1923), первом романе Сейерс, стоит рассказать подробнее. Он открывает серию романов, где действует лорд Питер — аристократ до кончиков ногтей, пополнивший галерею “неподходящих” сыщиков, характерных для английской детективной литературы (патер Браун, мисс Марпл, Эркюль Пуаро и др.). По позднейшему замечанию самой Сейерс, роман явился результатом посещавшихся ею coffee parties, участники которых по очереди придумывали детективные истории. Первоначально он назывался “Необычайные приключения человека в золотом пенсне”, но для большего интереса к изданию был переименован в “Чьё тело?”.

Сюжет в самом кратком виде сводится к следующему. Талантливый врач и учёный Фрик задумывает убить банкира Леви, мужа дамы, на которую сам Фрик некогда имел виды. Чтобы избавиться от тела (а тело, по мнению Фрика, — главная проблема любого убийства), он придумывает сложный план, согласно которому тело Леви можно будет скрыть в анатомическом театре. Фрик ждёт удобного момента. По случаю в его руки попадает тело бродяги, удивительно похожего на Леви. Фрик потрясён внешним сход-

ством этого человека с банкиром и, понимая, что его час пришёл, заманивает Леви к себе и убивает. Труп Леви Фрик препарирует в анатомическом театре своей больницы, доводя его до неузнаваемости. Тело бродяги он переносит по крыше из здания больницы на крышу соседнего дома, а затем протаскивает его в открытое окно ванной комнаты одной из квартир. Суммируя данные следствия, лорд Питер говорит, что имеется Леви с его прошлым, но без будущего, имеется неизвестный бродяга с будущим (на кладбище), но без прошлого, и между их прошлым и будущим стоит Фрик.

Тема сходства/несходства Леви с бродягой затрагивается основными персонажами романа. Полицейский инспектор, человек, как положено, ограниченный, уверен в том, что это тело Леви. Помощник лорда Питера Паркер говорит, что это кажется ему маловероятным, но (он пожимает плечами) в профессии сыщика случаются и самые невероятные вещи. Лордом же отмечается ряд странностей: маникюр и дорогие духи (денди!) сочетаются у покойного с мозолями на руках, нечищеными ушами и — что самое неожиданное — со следами блошиных укусов на спине.

В романе Сейерс, как и в “Отчаянии”, убийца

переодевается в одежду жертвы: чтобы уверить всех, что Леви исчез из собственного дома, Фрик надевает его одежду и среди ночи посещает этот дом. Фрик приводит в порядок лицо и тело бродяги — подобно тому как позднее в “Отчаянии” Герман займётся туалетом убитого им Феликса. Параллели “Отчаяния” и романа Сейерс не ограничиваются темой подмены тела, бритья и стрижки ногтей трупа или вообще внешнего сходства. Образ Фрика-убийцы в какой-то степени является кратким конспектом набоковского Германа. И тот и другой пишут, обоими движет жажда рассказать о содеянном. Последнюю главу романа “Чьё тело?” можно было бы назвать исповедью Фрика, если бы такое определение не было связано с идеей покаяния.

Ни Фрик, ни Герман не рассматривают свои тексты как покаяние. Герман хочет издать написанное как литературное произведение, Фрик же предполагает положить созданный текст в сейф с завещанием опубликовать посмертно. Интересно, что в момент ареста они оба дописывают свои произведения.

То, как начинает своё признание Фрик, может показаться загодя написанной пародией на будущую шахматную тему Набокова. Фрик вспо-

минает, что в детстве, бывало, играл в шахматы с другом отца (“очень плохой и очень медленный игрок”), не умевшим разглядеть неизбежность мата и настаивавшим на игре до конца. Фрик признаёт, что партия — за лордом Питером, и считает нужным описать ему преступление в деталях.

Сейерс снабжает Фрика биобиблиографической справкой, из которой следует, что в юности он учился в кембриджском Trinity College. Если предположить, что Набоков читал “Чьё тело?” (а предположение кажется мне правомерным), это упоминание не могло не показаться ему забавным, так как он и сам окончил это заведение в 1922 году. Что же касается Фрика, то в 1892 году у него вышла книга “Некоторые замечания о патологических аспектах гениальности”. В романе цитируется ещё одно сочинение Фрика — “Физиологические основы совести”, где он пытается доказать, что представление о добре и зле — это доступный для изучения феномен, зависящий от состояния определённых клеток мозга. В письме к лорду Питеру Фрик цитирует свои исследования, говоря, что вменяемый человек, не запуганный религиозными или иными заблуждениями, всегда может уйти от следствия — если преступ-

ление хорошо продумано, осуществлялось не в спешке и его ход не был нарушен роковыми случайностями.

В сущности, Фрик и Герман очень похожи. Оба циничны и тщеславны, для них не существует никакой метафизики: по словам лорда Питера, совесть для Фрика — это род аппендикса, который, как известно, легко удаляется. Обоих влечёт “поэзия преступления”. Лорд Питер, в отличие от полицейского инспектора (“все преступники одинаковы”), оценивает Фрика по достоинству. Он сразу чувствует, что убийство рассматривалось Фриком как произведение искусства, — и этим роман Сейерс также сближается с “Отчаянием”. Надетое на труп пенсне не являлось чем-то необходимым: для Фрика это — каприз художника. Объясняя причины преступления, Фрик пишет, что животная страсть к убийству и желание мести соединились в нём с намерением воплотить свою теорию в жизнь. Герман говорит, что заключённая им страховка вовсе не являлась основной причиной убийства. Имея реальные мотивы для преступлений, они совершают их в каком-то смысле “бескорыстно”.

Ну и, наконец, стиль — лёгкий, изящный, ироничный. Так писали и в высших эшелонах ан-

глийской литературы (Шоу, Уайльд, Честертон), и в среде попроще — например, в публицистике. Стоит ли удивляться, что и роман Сейерс является образчиком этого стиля? Именно это стилевое направление стал развивать Набоков. Я мог бы привести ещё ряд фактов, доказывающих сходство английского и русского романов, но делать этого не буду. Как сказал бы Герман Карлович, знаю, что убедил …

Кстати, об убеждении: в правильности своей гипотезы Евгений однажды убедил Сергея Сергеевича Аверинцева. Они много общались во время конференции в итальянском Пьемонте. Гуляли по деревне Маньяно (описана в романе “Лавр”), включая деревенское кладбище. Говорили о том, что нашим погостам дано растворяться в деревьях, траве и прочей зелени, в то время как католические кладбища — это своего рода города мёртвых с величественными склепами и надгробиями.

Аверинцев легко цитировал относящиеся к теме источники. Это же пытался делать и Евгений, и в таких случаях Сергей Сергеевич без труда подхватывал цитаты. Евгению, по молодости лет, это было удивительно и слегка даже обидно. Покинув область древних литератур, он рассказал

Аверинцеву о своих наблюдениях относительно Набокова и Сейерс. Полагая, что великому антиковеду и медиевисту это имя не очень известно, Евгений начал было рассказывать об английской писательнице, но Аверинцев его вежливо перебил: “Сейерс? Ну конечно знаю: мы с женой переводили её пьесы для наших деток”.

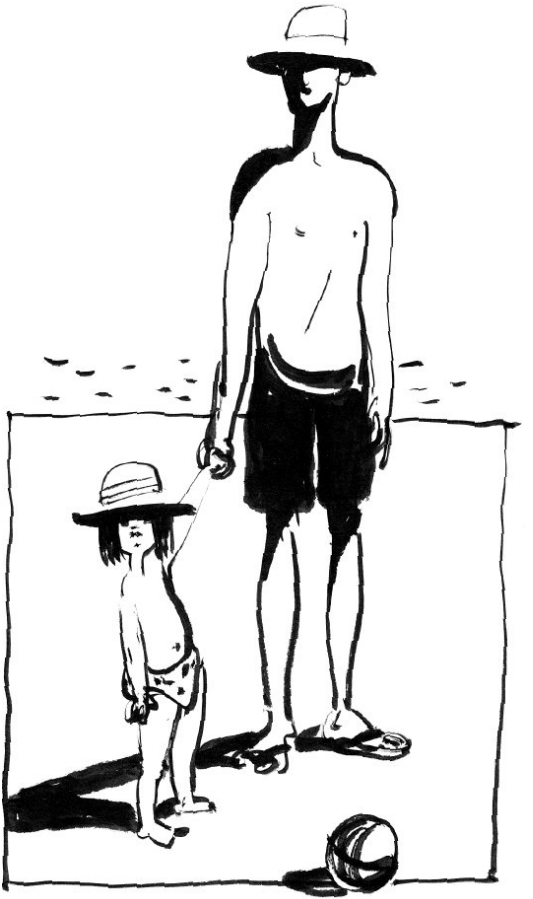
В дальнейшем ничего интересного из области подмены тел и препарирования трупов в жизни Евгения не происходило. Лишь однажды его попытался пригласить один телеканал на съёмку программы о расчленении питерским профессором Соколовым тела любовницы-студентки. Отказавшись участвовать в программе, Евгений тем не менее полюбопытствовал, почему выбор пал именно на него. “Вы тоже питерский профессор”, — было ответом. Евгений мог бы сказать, что он студенток не расчленял, что его должность соответствует академической, а не университетской системе: он не профессор, а ведущий научный сотрудник. Но не сказал, избегая дальнейших вопросов: куда, например, ведущий? Ограничился анекдотом. На ленте новостей: в Москве две женщины не поделили мужа. А в Петербурге — поделили.

Последним обновлением по теме стала двух-

недельная поездка в Японию, куда Евгения пригласили для выступлений. В одном из университетов он решил рассказать о творческих связях Набокова и Сейерс. В конце лекции кокетливо заметил, что сходство романов, подобно сходству Германа с Феликсом, возможно, мнимое. Что вопрос сходства таит в себе много загадок и является, по сути, топким местом.

После лекции один из профессоров сказал Евгению, что совершенно согласен с тем, что сходство — это топкое место (“топ-ко-е — я правильно выговариваю?”). Особенно топкое в восприятии японцев европейцами. Настолько топкое, что Евгений не поздоровался с коллегой N. Евгений сконфуженно попросил прощения: ему казалось, что с коллегой N он сегодня уже здоровался. Японский профессор излучал доброжелательность: “Ну что вы! Не волнуйтесь. Мы это поняли, когда вы дважды поздоровались с коллегой NN”.

Сергей Шаргунов
Кровинка



— Когда появятся уши, дело сделано, — говорит врачиха.

На ней голубой халат и прозрачно-зелёная шапочка. То же самое на мне.

— Ху. Ху. Ху … — жена часто-часто дышит открытым ртом, живот её ритмично опускается вниз.

Ещё в начале беременности она заговорила о моём присутствии, и я легко согласился.

Вместо любопытства чувствую сейчас тёмную, дикую тревогу, хотя, судя по врачихам, всё идёт как и должно. Боюсь помешать им, отвлечь, лишний раз встретиться с женой взглядом, сдерживаю порыв выйти в коридор и мысленно тороплю — не её, конечно, а эти роды, как некое капризное божество.

Ноги широко разведены и высоко подняты, а между ними — яркое пятно света.

— Дышим, тужимся!

Я тоже тужусь, сжимаю запрокинутую ногу, поглаживая, стараясь придать сил. На другой ноге — рука врачихи. Мне кажется, мы толкаем заглохшую машину в гору.

— Дышим! Молодец!

Из сырого красноватого лоскута мяса показывается лоскут волос, тёмных, мокрых, вьющихся.

Картина сюрреалиста.

Голова выступает мягкими толчками, склизкая, похожая на большой набухающий гриб.

Совершенно неожиданная волосатость той, чьё лицо никогда не видел.

— Расчёску уже купили? — смеётся врачиха.

Вторая врачиха, обхватив, тянет голову руками в резиновых перчатках.

Кажется, она действует грубо и опасно, но я молчу, не возражаю, уверяю себя: не мешай, это только кажется.

Рывок, рывок, новый плавный рывок, голова извлечена наружу — безжизненное квёлое красное личико с закрытыми глазами; на приставленный белый плат брызжут мутные фонтанчики. Мне мнится ужасное: ребёнок — мертворождённый …

— Передохни …

Врачиха поворачивает младенцу голову, как бы отвинчивая. Хочется крикнуть, но немею.

…Перемещает младенца личиком вверх, выпрастывает плечико, затем ручку …

— Потужься ещё! Ноги, ноги …

Слова перекрывает вопль.

— У-а-а …

Первый, но уверенный, как будто девочка репе-

тировала там, где была.

Она висит на медицинских руках, вопя и жмурясь, в кашице, белёсо облепившей всё тельце и особенно попку. Длинный сизоватый червь пуповины тянется ввысь из кровоточащего лона.

Дочку кладут на мать, кожа к коже, щекой к опустевшему животу, накрывают пелёнкой, и она таинственно затихает.

Мне доверено особое действо. Дрожащей левой рукой держу пластиковый зажим, правой перерезаю ножницами тугую пуповину: стальной щелчок.

Девочку подтягивают выше, к ждущей груди.

Она снова пробует голос, сердито мявкает, находит сосок, причмокивает.

Вглядываюсь в личико, минуту назад сморщенное и гневное, а теперь подобревшее и разгладившееся, с крепкими щёчками, и уже не пунцовое, а розовеющее.

Целую крохотные пальчики с острыми, отрощенными во тьме ноготками.

Дитя опускают на весы, на которых почему-то написано “Саша”. Тотемная больничная Саша — покровительница всех Маш, Тань, Катюш. Ещё безымянная девочка зевает, щурится, первый раз чихает.

Из матери, сияющей и слабой, сочится кровь, всё прибывая. Как остановить?

Соединяюсь долгим поцелуем с её подрагивающими губами.

И тут же через стену долетает отчаянный ночной стон, переходящий в пещерный вой. Это в соседней палате страдает роженица, которая, как доверительно шепчет врачиха, отказалась от обезболивающего.

Девочке уже неделя. Затаив дыхание купаю её в розовой кукольной ванночке, придерживая голову. Она блаженствует, крутясь под тёплой водой, непрерывно бултыхая ножками и не закрывая рта. Глазки её поблёскивают темно и хитро.

Скоро они у неё посветлеют, как и волосы. И выпадут шерстинки зверёныша, покрывавшие уши и попку.

Прошло время, мы вдвоём на даче, она возится на полу с восковыми карандашами, оставляя на листах цветной хаос, я же как могу рисую Буратино и бородатого Карабаса, подгоняемый требовательным: “Нось! Бась-Бась! Исё!”

Отхожу в другую комнату за книжкой, и до меня доносится приветливое, но столь же требовательное:

— Рисовай, рисовай!

Возвращаюсь: она разговаривает с мышью, тихо грызущей карандаш посреди кухни.

Мышь похрустывает, зачарованная, словно вылезшая из сказки, и не замечает нас. Похоже, одурманенная ядом, пришла к нам от соседей.

— Рисовай! — моя девочка придвигает к ней лист.

Что она ждёт от мыши? Космический вихрь? Профиль Буратино? Или, может, автопортрет?

Срываю кухонное полотенце, набрасываю на тёмно-серый холмик, бегом несу на крыльцо, почти не ощущая, и выкидываю в снег и темноту.

Стою, зачем-то вглядываясь в равнодушный сугроб, к чему-то прислушиваясь. Стоять холодно, а дочка уже хнычет и стучит в дверь веранды.

Иду в дом, наполняю ванну тёплой водой. Пробую рукой: не горяча ли, погружаю малышку, выдавливаю пенку, и начинается наше ежевечернее представление. Сижу на корточках и выставляю пластиковых зверят на блестящий край ванны. Они общаются парочками — корова и лиса, черепаха и волк, одного держу я, другого она: привет, привет, как дела, ты кто, я лиса, а я черепашка, давай дружить, давай, а давай прыгать, давай, прыг! — и падают в мыльную гущу,

пробивая полыньи.

Под конец купания девочка окружена зверинцем. Она вертится и поливает каждого из лейки, рассеивая там и тут нежно шипящую пену.

Последним кидается серый слон, чтобы вынырнуть хвостиком наружу.

— Мам, у нас мысь, — заявляет дочка.

— Правда? — жена вернулась из магазина и стоит со мной рядом. Она сразу догадалась, что речь не об игрушке.

— Правда.

— И что ты с ней сделал?

— Отпустил.

— Надо было убить.

— Она и так замёрзнет.

— Ты не знаешь мышей. Они могут за километр вернуться.

— Эта не придёт. Она была полудохлая.

Отрывистые слова над тающей пеной, в просветах которой радостно двигается худенькое детское тело. Курлыкая, пища и лепеча, девочка сталкивает зверей. На светлых кудрях висит мыльный клок.

Зачерпываю пену и мажу себе подбородок: седая окладистая борода.

— Бась-Бась! — мгновенное опознание.

— Дед Мороз, — хочу казаться добрее.
— Бась-Бась!
Ну ладно, пусть буду седой Карабас.

Мы на море. Она резвится у воды, возле двух мальчиков постарше, которые пинают мяч. С женой читаем книги, то и дело поднимая глаза. Мяч улетает в воду, следом смело шагает Катюша. Она стремится ему навстречу, воздевает ручки, делает новый шаг — и с головой пропадает в глубине: видна только макушка с торчащими волосами. Всё происходит за секунду — стальной щелчок ужаса — я бросаюсь со всех ног, спотыкаюсь и падаю, вспоров шлёпанцем серый песок с острыми ракушками. Вскакиваю и бегу, пока мальчики тянут утопленницу за подмышки.

Подоспевает жена, благодарим ребят, обнимаем и оглядываем спасённую, а та ничуть не испугана. Она скалится, хохочет, таращится, мокрая насквозь и ослеплённая солнцем.

Вместе с облегчением приходит боль. Простые рифмы боли: тёмная борозда на песке, алая рана на колене. Рана наполнилась солнечно-яркой кровью, бегущей струйками по голени. Как остановить?

Не надо бы показывать такое дочке, но, заметив рану, она любопытствует, хочет дотронуться.

Я вытянул ногу в теньке, где темнолицый доктор льёт жгучую перекись, от которой кровь бледнеет и пузырится. Катюшу не отвлечь, она большими глазами наблюдает волшебство. Доктор ваткой тычет в рану. Беру мокрую ручку, целую мизинчик и, морщась, прикусываю, солоноватый. Катя пристально смотрит мне в глаза взглядом, полным сострадания, и вдруг находит слова утешения:

— Папа, я тоже болю. Давай ты лялечка, а я мамочка …

Она уложила меня на диван и притащила в изголовье толстую книгу сказок.

— Одна девочка понюхала цветочек, он болел, и она заболела, и её отвезли в больницу, и цветочек тоже …

За окном — шептание мороси и осыпающегося сада. Катюша листает книгу и рассказывает бойкой скороговоркой, обгоняя свои фантазии.

Это двойная и даже тройная игра: она изображает мать, баюкающую дитя, и притворяется, что умеет читать, на самом деле — придумывая истории, а я подыгрываю, будто сплю.

— У девочки и цветочка была бобошка, и девочке, и цветочку дали лекарство …

Её истории могут тянуться бесконечно, быть

может, инстинктивно она делает их хорошими для всех, здесь не бывает гибели, которая есть в книгах.

Но когда я ей читаю, вижу, что она ещё не понимает непоправимости: отвалившийся хвост, вспоротое охотником брюхо, проглоченный кошкой мышонок … О чём жалеть, если всё — игра?

— Голову срубает! — с восторгом повторяет она и шлёпает ладошкой себя по шее.

Она хочет быть всеми, и злым обезглавленным тараканищем тоже: страшное — в радость, страшное — всего слаще. Она назначает меня медведем — и убегает, визжа и вереща, а потом сама становится им — и гонится с рёвом, а после придумывает новое развлечение: подскакивает, чмокает меня в руку и, отпрыгнув, вскрикивает: “Ой, кто это?”

— Скажи: “Ой, кто это?” — требует и целует снова.

— Ой, кто это?

Вся эта девочка — со смуглой папиной кожей и маминым ясными глазами, с розовеющим комариным укусом на плечике — ой, кто это? Откуда она?..

Иногда она внезапно затихает, поджимает губы, о чём-то задумавшись, и на её глаза падает

стальной отсвет какой-то недоступной мне строгой печали.

Как же хочется уберечь её от всего, даже от вида жуков и мошек, погибших в люстре и так красиво, узорчато темнеющих сквозь яркое стекло, пускай не понимает, чего они там забыли, а если и скажут, пусть не поймёт — и дальше как можно дольше верит, что всё — воскресимо.

Господи, как остановить кровь?

Безумные бесконечные дни и ночи, когда рушится мир и остаётся только воспалённое оконце телефона. Ближе к рассвету, изнурённый ежесекундным обновлением ленты, прихожу в спальню, забываюсь и сразу пробуждаюсь от крика:

— Снэйк!

Девочка сидит на кровати, её глаза возбуждённо блестят в сером подмосковном сумраке.

— Что? Что? Что такое? — родительский испуг. — Не бойся, всё хорошо …

— Снэйк!

Это слово (первые уроки английского) звучит зловеще и демонически.

— Ложись, тебе приснилось …

— Нет! — она категорична, она не играет и убеждённо показывает куда-то. — Чёрный снэйк

идёт к нам!

Страшно: может быть, сошла с ума? Сходят ли с ума так рано? Или она выражает кошмарную тревогу, которая разливается вокруг? Или и правда видит то, чего мы не видим?

— Тише, заинька, — мать прижимает её к себе и заботливо шепчет: — Откуда здесь снэйк? Сейчас зима, все змеи спят. Это складка одеяла, это каёмочка подушки.

— А это?

— Папина зарядка … Закрывай глазки …

Через короткое затишье — новый крик ужаса, ребёнок вырывается из материнских объятий:

— У-а-а! Вон, вон она!

Мы просыпаемся поздним воскресным утром.

В расщелине штор — солнечный снежный мир, чешуйчатое тело сосны, и такое чувство, что всё плохое — позади.

— Как ты, заинька? — спрашивает мать.

— Хорошо.

Заспанное круглое личико, песочные бровки, перепутанные волосы, спадающие на лоб.

— Может, ещё поспишь?

Девочка заглядывает внутрь себя, шаловливо-капризно, и возвращается с длинной фразой:

— Я не хочу закрывать глазки, потому что мой

носик хочет, чтобы его высморкали.

Приношу из туалета бумагу, в которую она с удовольствием выдувает обе ноздри.

— Выдуванчик, — говорю, и она заливисто смеётся.

На тумбочке заряжается телефон, его — усилием воли — не трогаю.

— Сделай горку.

Вечная забава: сгибаю колени под одеялом, она вскарабкивается и скатывается.

— Не упади с кровати, — беспокоится мать.

— Я держусь … Я держусь тремя моими ручками.

— Почему тремя? — спрашиваю, но ей не до ответа, снова лезет на белую горку и съезжает боком, издавая тонко звенящее щебетание.

Откидываю одеяло, спускаю ноги на пол:

— Прости, горка растаяла.

Катюшу это не расстраивает, она переключается на другую игру.

— Искайте меня! — голосок из-под одеяла, откуда выглядывает светлый завиток волос.

Я беру телефон с тумбочки — и читаю новости про убитых за ночь детей.

Алла Горбунова
Здесь, при жизни





***

Тошно и омерзительно видеть

и знать с изнанки, что происходит

с тем, что было розовым, гладким, грудным, молочным,

с тем, что купалось во внутренних водах,

водах живых, маминых, околоплодных.

Повырастало у этого чёрт знает что такое:

и хвосты, и рога, и копыта, и ямы, и горки, и частоколы,

теперь это нужно мыть, подстригать, приводить в порядок,

и как это всё изнурительно и неприятно.

Было оно молоком, а потом станет ядом,

было румяным и гладким, а станет – в ужасных пятнах.

Нужно это таскать по поликлиникам,

давать лекарства,

сдерживать, обучать, приучать к обществу и государству,

и ненавидеть это за то, что ему больно,

за то, что оно слабое, глупое, слепое,

и ненавидеть его до конца, долго-долго,

и жалеть, и лелеять, и всюду таскать с собою.

Всюду таскать и представлять собою.

Одна лишь надежда, что как-нибудь встречу кого-то

смеющегося, румяного, танцующего на водах,

он перстом кривым, жёлтым меня, словно жалом, уколет,

и не будет после того ни болезни, ни боли.

И я снова стану розовой, гладкой, голой,

отвалятся все хвосты и рога, затянутся ямы, выпадут частоколы,

и я стану грудной, совершенной, шаро-

образной, бесполой.

****

1

хотел своё – и получил награду
прекрасную на койке на руках.

торчком ощерились две груди
дикобразы.

но неподвижна стрелка на весах,
и неподвижна стрелка на часах,
и не поднялся столбик ртути
ни на градус.

2

циркач-канатоходец
прыгнул в купол,
в расщелинах земли вскипает жупел,
и ты ко мне, и я к тебе бегу.

но твердь не хочет мне сопротивлять-
ся,
и мякоть мне не хочет отдаваться,

и я её коснуться не могу.

и лезут морды карликов и огров
меж ног её распахнутых при родах.

не чертит ничего энцефалограф,
нас нет на снимке, что снимал фотограф,
где мы смеялись, ели бутерброды ...

3

мертворождённый лыбится дебил

/да, я Отца жестокого любил,
но больше всех – страдающую Матерь/

и падает из сонма божьих сил
танцовщик босоногий на канате.

***

(притяжение)

мы возвращаемся вместе в древнее море

в молекулярный эдем повествующий нам

о том что сделан из одного дуб и я; о том что

в кровяные тельца превращались дикие травы

что ел зверь, и ел зверя зверь, и ел солнце и воздух

в сок растений внутрь крови войти чтобы услышать

неотменимое знание клеточных ядер как сделать

человека/дерево/зверя/птицу/медузу/ рыбу

о, внутри твоей крови сладостную энергию

вырабатывают митохондрии; там

живу я

в запретном городе за священными стенами:

так глубоко и давно что это

больше любви

Жирный в утреннем свете

(японская песенка)

Я просыпаюсь в утреннем свете
Я просыпаюсь весной в похмелье
В ресентименте и одиночестве
Жирный в утреннем свете

Свет весны проникает в моё окно
Заливает мою постель
Я просыпаюсь небритый потный
Жирный в утреннем свете

За окном утренний дождик и пение птиц
Что-то благоухает что-то цветёт
Машины и мокрый асфальт и я
Жирный в утреннем свете

Моё тело голое на постели
Светлые тени ползут по стенам
Я пью утренний кофе и ем круассан
Жирный в утреннем свете

Каждую складку моего тела
Проницает утренний свет
Преображённый сияющий я
Жирный в утреннем свете

С маленьким членом между ног
С мягким уязвимым таким животом
С катышками в пупке на простыне
Жирный в утреннем свете

Вот он весь я как на духу
Ни тени щадящей милосердной лжи
Без одежды без воли без любви
Жирный в утреннем свете

В моём похмелье цветёт сирень
Поливальная машина дождя
В моём похмелье нет тебя я один
Жирный в утреннем свете

Перед лицом нового дня, космической чистоты
Перед лицом тщеты и божества
В моей сперме в моём поту
Жирный в утреннем свете

Иное присутствие

из тончайшей ткани
ты себя строишь,
товарищ Тело

разве это мистика?
мистики говорят всякий бред
ты делаешь только то,
что естественно

так ты узнаёшь себя
в том, что только возможно:
иное присутствие

из тончайшей ткани:
лёгкость, воздухопроницаемость
одиночества
жёсткость, прозрачность, невесомость поэзии
тончайший лёд зрения
белоснежный батист мушкетёрской сорочки
ситец нежности, простоты

надёжность и прочность
дружбы ...

брат мой Тело,
нравится ли тебе то, что ты делаешь?

здесь,
при жизни,
брат мой Душа

Михаил Турбин
Рыбка



Верчу в руках два стёклышка в синюшных разводах. На свету выглядит так, будто меж ними сдавили сказочную муху с фиолетовой кишкой. И гадко, и сочно. У стёклышек придуман матовый край, и на нём карандашом нацарапано: “Шилов С.Н.”. Шилов — это, понятно, я. Под фамилией стоят цифры: 141/16. Поди знай, на кой они нужны.

— Анализы забрали? — спрашивает меня медсестра.

Я показываю ей стёкла. Она листает документы, к ним прилагающиеся, поднимает пресное лицо и зовёт пойти следом, в кабинет онколога.

Началось со странного: зачесалось нёбо. Я посмотрелся в зеркало, но то ли глаза оказались коротки, то ли рот слишком чёрен — увидеть ничего не сумел. И только взяв фонарь и распахнув пасть до хруста, на глубине нашёл длиннотелую серую кочку.

В поликлинике приняла доктор, очень похожая на мою бывшую жену, только совсем ещё молоденькая и пряменькая. Она выслушала, усадила в кресло с лампой, свет которой тут же меня ослепил.

— Вижу-вижу, — сказала она, прижимая шпателем язык. — Давно это у вас?

Я промычал.

— Ясно-ясно. Вставайте!

Я поднялся и на ощупь подошёл к столу. Когда зрение вернулось, я ожидал увидеть всё ту же уверенную улыбку отличницы, но врач не улыбалась.

— Вам нужно показаться в институт отола … оториноларингологии. Вот. — Она придвинула листок с адресом.

— И что у меня?

— Не знаю, — нелегко ответила она.

— А что думаете?

— Не знаю! — Она злилась, так же аккуратно злится моя Манька. — Я такого раньше не встречала. Похоже на соединительную ткань. И ещё … вас точно отправят в онкологический диспансер. Не бойтесь. А когда пройдёте всех врачей, сообщите мне диагноз. Хорошо? Интересно даже.

Я пообещал.

Отличница.

После обеда я позвонил в институт оториноларингологии. Пока шли гудки, открыл бутылку пива.

— Мягкое нёбо?

— Да, какое-то образование.

— На мягком нёбе? Это не к нам.

— А куда?

— К стоматологу.

— Стоматолог направил к вам, — соврал я и отпил пива. — У него какие-то подозрения. Я запишусь платно.

— Ждите!

Я услышал, как трубка легла на стол, и оторвавшийся от неё голос понёс в гулкое пространство мои слова: “мягкое нёбо”, “платно”. Меня записали.

Когда выпил всё пиво, я пошёл гулять в парк. Летом он всегда заполнен детьми: аттракционы, автоматы с твёрдой конфетой, батут, клетки с фазанами, белками и другой подвижной шерстью. Осенью парк принимают студенты: они знакомятся с девочками, пьют ледяные коктейли в открытом кафе, наглеют, плохо шутят, смеются, потом бродят жидкой стаей в тенях лип и тополь-ков, фотографируются и целуют осторожно своих девочек. Зимой парк пустеет, деревья вяжут гирляндами, и от них идёт голубоватый свет. В таком облучении оставшиеся прохожие, старики да пьяницы, подобны скучающим покойникам.

Я очистил скамейку от снега, сел на холодное и позвонил Маньке.

— Сегодня видел девушку, похожую на тебя, — сказал я. — Только молодую совсем. Думаю опять

жениться.

— Ты приедешь в субботу? Я рассчитываю, что приедешь. Лильку надо сводить на ИЗО. — На другом конце послышался детский визг. — Только приезжай трезвый.

— Я всегда приезжаю трезвый.

— Но звонишь пьяный.

— Молодец! Раскусила … Ходил к доктору и немного испугался.

— Больше не бойся. И приезжай трезвый.

Не знаю, кто первый повесил трубку. Очень надеюсь, что я.

Дети мои — две весёлые девочки, Лиля и Анюта. Живут теперь без меня. Их отчим — удивительно занудный дятел. Нет, не та крапчатая ловкая птичка с алым хохолком, а тёмный камнелобый дятел. Дун-дун. В доме его принято называть Дозик. Раз в год в день семейной акции он водит девочек в аквапарк. Одна сиротливая фантазия, да и та лишняя.

— Шилов, что у вас?

Новый врач больше походил на врача. Это был мужчина с невнятным взглядом казённого человека и с прочими присущими такому человеку приметами: в движениях он не имел никакого заряда и внутреннего желания, поэтому шеве-

лился, говорил и слушал, корчась и вздыхая. Глядя на его муки, хотелось быстрее выздороветь и оставить доктора в покое.

Он опять усадил меня под лампу, но в этот раз я вовремя успел захлопнуть глаза.

— Вас рвало? — спросил врач, зевая.

Меня обдало перегаром. И я устыдился, что так торопливо обвинил доктора в пассивности и чёрствости к больному. Врач был не циник, даже не ленивый злодей, он просто тоже болел.

— Зачем рвало? — растерялся я.

— У вас случалась рвота? — повторил он.

— Нет.

— Изжога?

— Вот она была. Но ушла. Забрала детей и ушла.

Он натужно ухмыльнулся, пересел за стол и, хлопая ящиками, искал нужный бланк. Я поднялся и с терпением мертвеца стоял за его спиной. Врач вручил мне две серые бумажки:

— Это направление на общий анализ крови. И …

В ОКД № 1

Обоснование направления на обследование:

лейкоплакия мягкого нёба? рак мягкого нёба?

Врач Попов И.А.

ГБУЗ Научно-исследовательский клинический институт

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского

Треугольная печать

Как и было обещано, меня отправили в онкологический диспансер.

Ночью я внезапно проснулся и посмотрел в чёрный угол потолка. Если я тяжело болен, то мне положено думать как больному. А что должен думать человек в тоске умирания? И вдруг я понял, что в комнате пугающе тихо и что мне необходим какой-нибудь звук. Я начал разговаривать сам с собой: “И что? Н-да, и что … А ведь кто-то — ещё раньше. Обидно, конечно, но ведь кто-то — ещё раньше. Ну! Ничего пока не ясно. Придумываешь себе! Рано придумываешь. М-м-м. Трепло”.

С Манькой мы видимся в спешке. Всегда так: она открывает дверь и без привета зовёт девочек.

Выбежала Лилька, обняла, уколола подбородком живот, за ней нежным шагом из детской

вышла Анюта. Она ждала своей порции объятий и улыбалась светлыми глазами. Я подозвал её, сел на корточки и поцеловал в переносицу. Анюта молчит, скоро ей исполнится четыре года, но я не слышал от неё ни слова. Водил к неврологу — та мотала головой, болезней мозга нет, ждите. Ну и слава богу. Я знаю, что виноват, что наш развод сделал детку немой в тот нужный миг, когда она готовилась уже сказать “мама” и “папа”.

— В пятницу мы обещали им аквапарк, но Дозик задержался на чемпионате в Казани. Сводишь? — спросила Манька.

— А может, ну его, дятла? — сказал я жене, сказал нарочно, чтобы разозлить. — Возвращайся ко мне?

— Жизнь показала, кто из вас дятел. — Она косо поглядела на меня и застегнула змейки на детских пуховичках.

— Жизнь, ну что жизнь — дежурство. Твоего Дозика надолго не хватит. А на меня глянь? Вишь, какой терпеливый.

— Это я тебя терпела, а не ты.

Нас разлучило моё упрямство. Я не принимал претензий: тесная халупа, беспросветный рабочий график, эмоциональный голод, — считал всё проходящими мелочами, обязательными упрё-

ками уставшей женщины. Я проворонил этот решительный переход от томного страдания к побегу. Она затихла на какое-то время, лишив меня любого внимания, и мне ничего не удавалось разобрать в её недавно сыром, но теперь стремительно пересохшем взгляде. А потом, будто по волшебству, за Манькой залетела эта чёрная птица и вцепилась своими мохнатыми когтищами в чемоданы, где среди детских колготок и платьиц помещалось моё потасканное счастье. Я наказал себя ещё и тем, что свернул Дозику клюв, получив в ответ пару практических уроков от заслуженного тренера по самбо.

Манька вывела девочек в подъезд и, упёршись рукою и ногою, встала буквой в дверной проём. Красивая, сердитая.

— Терпение, Манечка, и есть мудрость. А ты, кажись, дура вечная, — бросил я, прячась с детьми в лифте.

— Папа, а покажешь дятла?

— Они зимой попрятамшись.

— Шарф забыли! — крикнула Манька, когда лифт тошно дёрнуло вниз.

Пока Лилька рисовала, мы с Анютой ели мороженое в кафе на первом этаже изостудии. Мороженое взяли с орехами и малиной. Потом

съели один апельсиновый сорбет на двоих. Я сказал Анюте, что всегда буду рядом, но для этого ей надо запомнить, как я смеюсь. И стал говорить шутку, чтоб самому засмеяться, но не договорил, оборвался от странной нахлынувшей робости и только досадливо вздохнул. Анюта болтала сапожками и облизывала розовую ложку.

Спустилась Лиля. Подарила мне рисунок губастой рыбы, стоящей в густых водорослях. Она, конечно, обиделась, что без неё съели мороженое, и пришлось ждать, пока она склюёт свою порцию. После мы ходили в кино, смотрели мультфильм про надувного робота. В мерцающей темноте я рассматривал рисунок с рыбой, а рыба рассматривала меня своим потёкшим глазом.

Когда я привёз девочек домой, Манька предложила чая, но я не стал. Потом я долго стоял у лифта, долго спускался вниз. Даже если бы у него отвязались тросы, падал бы я тоже отвратительно долго.

Утро пятницы я провёл в отделении опухолей головы и шеи. Очередь ползла медленно, и я всё думал о машине, которую бросил на Третьем кольце под знаком “Остановка запрещена”. Если машину заберут, я весь день проведу на штрафстоянке и не смогу отвезти девочек в аквапарк.

Эта мысль меня изводила.

Следующим в очереди мучился парень, совсем бледный и хрупкий, он горько скулил, сидя на корточках и зажав коленями виски. Он сидел так не потому, что для него не нашлось свободного стула, — просто в этой позе на страдание требовалось меньше сил. Мне захотелось пропустить его вперёд, но, когда сестра выкрикнула мою фамилию, я сразу забыл о своём желании.

Это был кабинет почтенного врача, хозяйский, обжитой, ни одна деталь в нём не напоминала о том, что я нахожусь в больнице. Горел скучный свет, похрустывала кожаная мебель, на полке книжного шкафа, делящего комнату на две уютные каморки, журчал фарфоровый фонтанчик. Меня встретила женщина лет семидесяти с тяжёлой янтарной брошью на врачебном халате и расположила в кресле, обычном домашнем кресле с приставным журнальным столиком. Затем она с невозможной медлительностью принялась искать очки и, найдя их, занялась розысками другого предмета. Потерянным оказалось налобное зеркало. Сверкнув им, доктор наконец приказала открыть рот.

— Очень интересно, — сказала она и распылила во рту лидокаин. — Вера!

Подлетела медсестра, тоже пожилая, но лёгкая дама. Такая лёгкая, что до тех пор я её не замечал.

— Век живи — век учись. Смотри, какая рыбка! — Теперь они обе с интересом глядели в зев. И им нравилась моя опухоль. — По форме очень рыбку напоминает, правда? Вон хвостик, видишь? Я такую не встречала … Верочка, дай-ка стёклышко.

С этой милой просьбой доктор крепко всадила шпатель в нёбо, я по-детски вскрикнул. Она вытерла окровавленный инструмент о стекло и сказала:

— Я взяла соскоб для цитологического анализа. Через час он будет готов. Но это платно.

— Ещё бы.

Я вышел из вафельных стен диспансера, сплюнул на снег красным и вернулся к машине. Решил проехаться в поисках свободного места на парковке. Свернул на Бакунинскую, крадучись проехал Красносельскую, скатился по лыжне трамвайных рельс на Ольховскую улицу, но там машины теснились уже на тротуарах и под стенами домов. Сделав петлю, я вернулся на прежнее место. Зажёг аварийку. Выключил радио. Снял бахилы. Посмотрел на часы. Через двадцать минут

они скажут, отчего чешется моё горло. Лидокаин отпустил, нёбо саднило. Я набрал Маньку. Послушал гудки. Пролистал записную книжку. Сотни номеров. Зачем они нужны?

В лаборатории выдали два стёклышка в фиолетовых разводах, и я опять оказался перед кабинетом онколога. Ко мне подошёл очень полный мужчина, протянул листок бумаги. “Вы последн.?” — прочитал я. На языке жестов я попытался объяснить, что вызывают по фамилии. Он криво усмехнулся, написал: “Я не глухой”. Конечно. Он просто не мог говорить. Левая щека его и подбородок были когда-то срезаны, по шее от уха до уха тянулся узловатый шрам, отчего голова, такая маленькая, обглоданная, казалась заново пришитой к телу. Глядя на него, я почувствовал, как жжётся у меня во рту, как нарост раздувается и мешает глотать, цепляется за корень языка и продолжает расти, и мне уже сложно говорить, я мычу, ворочая опухоль, как холодную котлету; ещё немного, и я перестану дышать.

— Анализы забрали? — спросила меня медсестра, лёгкая Вера.

Я показал ей стёкла, и она вернула меня в кабинет.

— А вы деловой, Семён! Утром явились, а к

обеду уже обследовались.

Доктор перебирала толстыми негибкими пальцами результаты анализов.

— Тороплюсь сводить дочек в аквапарк.

— Славно. Вы хороший отец. И сколько им?

— Четыре и семь.

— А у меня сын. Старше вас, знаете. Летом обещал круиз по городам Золотого кольца.

Она прочитала последнюю страницу и посмотрела на меня, точно пробуждённая лаской кошка.

— Воспалённые ткани эпителия, — объявила она. И повторила: — Воспалённые!

— Что это значит?

— Думаю, ваша рыбка имеет инфекционную природу. Но надо выяснять. Возвращайтесь к ЛОРу. Возьмите назад направление. У онколога вам делать нечего.

Я поблагодарил её, и мы поговорили ещё: про города на берегах Волги, в которых она будет скупать берестяные шкатулки, местную тёплую медовуху, дурные картины, — обсудили, хватит ли её быстрых лет, чтобы дождаться когда-нибудь внуков.

— А у вас дети есть? — спросила доктор, когда я поднялся из скрипучего кресла. Она забыла, что

уже спрашивала, и бросила мне вслед стирающий жест: да, конечно, две дочки, бегите к ним.

На быстрые горки Анюту не пускают, для малышей есть пологий скат, водяные пушки или тёплая лужица с пузырями. Такие забавы ей скоро наскучили, и Анюта сидит со мной на краю бассейна, следит за своей безумной сестрой, которая взобралась на десятиметровую лестницу и готовится спуститься по длинной кручёной трубе. Лиля машет с высоты, и мы машем в ответ. Потом она исчезает в жёлобе, и Анюта сторожит взглядом её финиш. Она видит вспышку жёлтого купальника и брызги, и лицо Лили, блестящее от восторга. Слышится плеск и хохот. Лиля бьёт ладонями по шумной воде, зачерпывает горсть и бросает в нас. Анюта смеётся, смахивает со щеки бисер — и дарит мне свой нечаянный взгляд. Она открывает рот, будто хочет сказать, но замирает в сомнении. Я глажу её по плечу. Ничего, не торопись, когда-нибудь ты скажешь мне слово, которое так долго берегла. И я на него отвечу.

Анна Матвеева
Красавица



Когда мама приводила меня в Музей, я рассматривал не картины, а рамы. Поначалу я делал так из страха перед обнажёнными телами и сам не заметил, как действительно полюбил то, с помощью чего спасался. Это были, конечно же, рамы Ренессанса — раззолочённые, со скошенными внутрь краями, щедро украшенные древесными листьями, цветами, ягодами и раковинами, в которых, если приглядеться, нередко попадались жемчужины (тоже, разумеется, деревянные).

На обнажённые тела я смотреть не мог, хотя в Музее они окружали меня повсюду; и если статуи ещё как-то можно было стерпеть (три Давида во дворике стали в конце концов привычны, один тем более в юбочке), то картины оставались мучением. Пышные, взбитые как тесто женщины, полуголые боги, святые, застигнутые в самый разгар страданий, ангелы, младенцы, старики и старухи — все раздеты, всеми нужно любоваться.

Из противоречия и страха я полюбил рамы и, немного, Рембрандта.

Рембрандтом экскурсия завершалась: ещё чуть-чуть — и будет мороженое и воздух, и огромные лиственницы, высаженные во дворе музея, помашут на прощанье своими мягкими лапами.

У Рембрандта в сравнении с другими мастерами было меньше оголений. “Портрет матери” взят в элегантную, потемневшую местами раму, украшенную по углам выпуклыми фруктами, а поверху — табличкой с именем художника. Табличка и тогда, и особенно теперь напоминает мне “вечный” перекидной календарь, где нужно менять название месяца вручную: сейчас эти календари продаются у нас на Самокатной по пять тысяч. Бывают и по три, но в них, как правило, отсутствуют некоторые месяцы — их нужно докупать отдельно, искать на других рынках или в сети. Одна дама, мечтавшая приобрести такой календарь “в память о детстве”, отказалась взять у меня практически идеальный лишь потому, что там отсутствовали июль и август.

— Это как будто бы дурной знак, — сказала дама. — Вдруг не будет у меня в этом году июля и августа?..

Я пожал плечами: каждому свой страх. Через день календарь без июля и августа купила девчушка с выкрашенными в сиреневый цвет волосами (в моём детстве многие бабушки красились в сиреневый, ярко-рыжий, красный цвета, а теперь это делают подростки) — она не боялась дурных знаков, ну или боялась каких-нибудь

других.

На Самокатной у меня прилавок с багетами и готовыми рамами, а календарями вместе с другими советскими сокровищами (куклы, фарфор, коврики, хрусталь — всё, кроме орденов, ордена за углом, у Михалыча) торгует Виола Викторовна. Она пенсионерка и заядлая курильщица, уходит на перекур как по часам, и я беру тогда её клиентов: у нас так принято. Виола Викторовна чем-то напоминает мою бабушку, хотя бабушка никогда не курила и к торговле подержанными вещами относилась презрительно.

Бабушка забрала меня к себе после того, что случилось. Потребовала от девятилетнего тогда человека никогда, ни при каких обстоятельствах не повторять то, что сделала мама.

Я дал слово. Бабушка взяла меня в рамку.

Так вот, раз в месяц мы с мамой приходили в Музей “как на свидание”. Так она говорила. Она и вправду как будто навещала там своих родственников, томящихся в заключении, замкнутых в прекрасных рамах. Быстрым шагом проходили мимо трёх Давидов (“Это всё копии, слепки, — говорила мама, — не люблю подделок”) и кондотьера на коне. Иногда, очень редко, заходили в египетские залы — а ведь мне там нравилось, я

любил и фаюмские портреты, и маленькие, тонкие фигурки жреца и жрицы, устремлявшихся вперёд с такими одухотворёнными лицами, что к ним идеально прикладывалось выражение “светлое будущее”, звучавшее в ту пору из всех радиоточек. Жрецу и жрице мешала витрина, но они всё равно стремились куда-то: я думал, что по ночам они покидают свою стеклянную темницу и расхаживают по тёмным залам Музея, наполненным бесчисленными копиями мировых сокровищ.

Мама любила залы живописи — она так мчалась к ним, что я не успевал за ней, спотыкался, и смотрительницы делали нам замечания. Мама смеялась, поднимала меня с пола, отряхивала — и снова летела к своим картинам.

— Смотри, какая красавица!

Я смотрел на раму.

Зимой и осенью в залах было слышно, как скрипят мамины ботинки, летом — как шлёпают её босоножки, прилипавшие к пяткам. Я стеснялся громкого голоса мамы, звуков, производимых её обувью, а ещё сильнее стеснялся того, что стыжусь её восторгов, слёз, “красавиц”, которыми она так щедро разбрасывалась, — доставалось не только картинам, но и некоторым избранным

статуям: например, святой Кристине с дуплом в груди (бюст-реликварий XVI века, Испания). Красавицами были три белокожих дамы Кранаха (я смотрел на них сощурясь, но всё равно видел, что цвет их кожи отличается от мужского — мужчины были темнее, возможно, успели загореть; протестантская сдержанная рама не спасала: взгляду было не за что уцепиться). Красавицей была Мадонна с рачительным младенцем, перебиравшим ручонками золотые монетки из преподнесённого волхвами дара (ок. 1500 г., Швейцария, диптих выполнен на альпийской ели), — по счастью, одетая. Красавицей была и пузатая Сусанна Саломона де Брая (1648 г.) — здесь рама по углам была украшена четырьмя виноградными листьями, и эти листья исполняли для меня роль фиговых.

Некоторые рамы имели специальные отверстия — тоже для красоты, но выглядело это странно, отверстия казались дырами, в которые можно было просунуть руку (моя, детская, точно бы уместилась). Рамы с букетами и виньетками. Рамы, покрытые тёмными пятнами времени, — сейчас я сказал бы “трупными”.

И почти все смотрительницы в залах живописи говорили на стариковские темы — о похоронах

или о внуках.

Дубовые листья, цветы — маргаритки. Раковины-веера, по выпуклым створкам которых очень хотелось провести пальцем. Лепестки, короны, волны.

Рама не просто ограничивала картину — она удерживала голую женщину, назначенную мамой в красавицы, от того, чтобы та проникла из вымышленного мира в наш, реальный: где шлёпают босоножки, скрипят ботинки, где лиственницы машут лапами, а впереди маячит спасительный Рембрандт.

Спустя много лет у Лотмана я прочту: “Рама в картине, рампа в театре, начало или конец литературного или музыкального произведения, поверхности, отграничивающие скульптуру или художественное сооружение от художественно выключенного из неё пространства, — всё это различные формы общей закономерности искусства: произведение представляет собой конечную модель бесконечного мира”.

Не стоит думать, что это моё чтение “у Лотмана” имеет под собой некое сближение с миром науки или изящной словесности. Я нашёл эту цитату на одном сайте, посвящённом багетным материалам, когда ещё мечтал открыть собственный

магазин. Мечты пребывают теперь примерно там же, где научная карьера, вместо магазина у меня есть прилавок на Самокатной (и это тоже неплохо). А цитата мне понравилась, вот я её и сохранил на память в том же самом файле, где пишу теперь о маме и наших с ней походах в Музей.

Сохранено там ещё и стихотворение Андрея Вознесенского, попавшееся мне на глаза тоже по чистой случайности.

Приведу его здесь целиком просто потому, что оно мне нравится.

Был бы я крёстным ходом,
Я от каждого храма
По городу ежегодно
Нёс бы пустую раму.
И вызывали б слёзы
И попадали б в раму
То святая берёза,
То реки панорама.
Вбегала бы в позолоту
Женщина, со свиданья
Опаздывающая на работу,

Не знающая, что святая.
Левая сторона улицы
Видела бы святую правую.
А та, в золотой оправе,
Глядя на неё, плакала бы.

Скошенные внутрь края рам дают зрителю впечатление глубины. При этом роль самой рамы как украшения вторична — она прекрасна всегда лишь во вторую очередь. Сама по себе рама ценности не имеет, но без неё картина всё-таки не была бы тем, чем мы восхищаемся.

Мы смотрим на раму и не видим её — разве что боковым зрением.

Может, поэтому мне так не нравились сюжеты про ограбления музеев — в книгах, фильмах, газетах, — когда “грабитель вырезал полотно из рамы”: разделяя картину и обрамление, он совершал ещё одно преступление против искусства.

Рама ведёт своё происхождение из архитектурного убранства церкви. Алтарь — её ближайший предок. В эпоху Ренессанса вошли в моду богатые позолоченные рамы, изукрашенные разнообразным декором. Отдельные умельцы выполняли специальные сцены на рамах, в технике барельефа. Родной брат нелюбимого мной Рубенса

специализировался на создании обрамлений для его картин.

Чем более изощрёнными путями следовали художники, тем чаще они использовали приём “рама в раме” — эту роль играли запретный сад, он же монастырский клуатр, окно или дверь. В модных когда-то тромплёях (обманках) рама играла роль самой себя, но ничего не обрамляла, а всего лишь служила частью картины. Северное Возрождение ввело в моду сдержанные чёрные или коричневые рамы, импрессионисты предпочитали белые, а в эпоху модерна вновь вернулись нарядные, сложные, оплетающие изображение ветвями деревьев и гирляндами листьев.

В наше “безыскусное” время художники всё реже пишут картины, а если и пишут, то обходятся без всяких рам — чтобы не размечать границ между холстом и реальностью.

Я не такой уж оригинал, я лишь в детстве чувствовал себя одиноким в своей симпатии к рамам. В одном из музеев Нью-Йорка не так давно провели выставку пустых рам эпохи Возрождения, и один из посетителей даже вызвал полицию, решив, что это ограбление. Но все остальные наслаждались выставкой; жаль, меня там не было.

Таких, как я, много. Какое событие привело

других людей к этому, я не знаю, но о себе могу сказать определённо: мой интерес к рамам родом из Музея, куда мы приходили каждый месяц смотреть на красавиц.

Главная красавица, встречи с которой я боялся сильнее всего, висела на стене в итальянском зале: с обеих сторон её “охраняли” мужчины. Великий герцог Тосканский Козимо Медичи, сжимавший платок, в скромной раме с веточками оливок и двойными раковинами (мастерская Бронзино). И кардинал Джованни Сальвиати (Якопо Фоски), застигнутый за письмом, — простая на вид, а на самом деле весьма изощрённая рама, демонстрирующая широкие возможности сделавшего её автора и его прекрасный вкус.

Обнажённая красавица в окружении полностью одетых, да к тому же важных мужчин передаёт привет через века Эдуарду Мане — в другой Музей другого века.

Раньше считалось, что это Рафаэль, но более поздние исследования доказали: холст принадлежит кисти Джулио Пиппи, прозванному Романо.

“Дама за туалетом”, начало 1520-х. Сначала даже не холст, а доска, расписанная художником и распиленная спустя безжалостные годы на несколько частей (в каталоге Музея сказано, что

фрагмент с изображением головы имел форму овала: значит ли это, что на протяжении некоего времени всякая дама могла подставить своё лицо к стройному, едва ступившему на путь увядания телу — как в курортных парках развлечений?). Портрет был загажен разными надписями, сделанными, как предполагают историки, после XVII века.

Красавица была собрана из распиленных частей заново, как ассистентка иллюзиониста. Обнажённая женщина сидит как будто перед зеркалом, подняв вверх правую руку (собирается что-то спросить, машет рукой в знак приветствия?). Тёмные волосы убраны шарфом, на шее и левом плече — украшения (браслет на плече маловат, видно, что давит). Маленькая, красивой формы грудь, левая рука прижата к животу, но не скрывает ничего из того, что я предпочёл бы не видеть.

Мне стыдно смотреть на красавицу. Стыдно сознавать, что я вижу её живот, бёдра, ямочки на локтях. Она пытается укрыться от моего взгляда, но неудачно использует для этого прозрачную ткань, похожую на тюль (про тюль я слышал от бабушки — она никак не могла его купить и возмущалась продавщицей из галантереи, что та

говорит про тюль в женском роде: она). Тюль это или не тюль, я не знаю, но он не скрывает тела красавицы, а скорее подчёркивает её наготу.

Рама здесь была довольно затейливой, с узким цветочным бордюром и широким, составленным из листьев и выпуклых крупных цветов в медальонах. В углах — стилизованные плоды гранатов, отполированные временем до невыносимого блеска. Но даже на такую раму нельзя было смотреть вечно, тем более что ноги красавицы (правая изображена до середины голени, левая — чуть ниже колена) находились так близко. Прищуриваясь, чтобы не видеть лишнего, я вёл взгляд в верхний правый угол картины, где скрытая полутьмой совершенно одетая служанка то ли застилала стол скатертью, то ли расправляла гобелен, а слева по перилам шагала обезьянка. Благодаря обезьянке я сколько-то времени держался, но ослепительная нагота красавицы была мучительной, она ударяла меня током — в конце концов я отворачивался, выкручивая руку из маминой ладони:

— Пойдём!

В Музей красавица прибыла в прошлом веке, до этого ей довелось немало попутешествовать (уж точно больше, чем маме или мне). В римской

коллекции Олимпии Альдобрандини картину атрибутировали как работу Рафаэля — в 1626 году она имела буквально следующее название: “Портрет обнажённой женщины на большой доске Рафаэля Урбинского”. Когда коллекцию Альдобрандини (упоминаемой чаще как княгиня Россано) разделили между наследниками, красавица перебралась во Флоренцию, в собрание Ламбрускини. Затем вернулась в Рим, где её видели многие путешественники — и называли тогда Форнариной, по имени возлюбленной Рафаэля, дочери пекаря. В коллекцию Эрмитажа красавица явилась в XIX веке под именем Беатрисы д’Эсте, герцогини Феррарской, исполненной Рафаэлем. Ей был присвоен номер 4752 (сейчас — 2687), 111 × 92 см. Атрибуцию вскоре оспорили — уже в 1891 году было заявлено: “Дама за туалетом” принадлежит кисти Джулио Романо, а Беатрису заменили Лукрецией Борджиа. В то же время стали всё чаще говорить о том, что на холсте поднимает руку не кто иной, как Форнарина, — модель “Сикстинской мадонны”, по которой урбинский художник сходил с ума многие годы.

И я, возможно, сказал бы вслед за искусствоведами, что не вижу сходства между Сикстинской мадонной и красавицей, но не могу вспомнить её

лица. Именно оно оказалось вырезанным из моей памяти овалом, а тело осталось: его я помнил даже после кратких взглядов-вспышек.

В 1840 году “Дама за туалетом” была переложена с дерева на холст в Петербурге А. Митрохиным. Переложение на холст — как перевод с иностранного языка, восхищаясь которым нужно помнить о роли толмача. Кем велела мне любоваться мама: Рафаэлем, Романо, Митрохиным?

Не думаю, что это было для неё важно. Мама всего лишь говорила:

— Смотри, какая красавица!

В Музей картину привезли в 1930 году. В 1989 году красавица выезжала на выставку в Мантуе, через год побывала в Вене. После маминой смерти я ни разу не был в Музее. Я и в Москву-то вернулся сравнительно недавно — десять лет назад. Приехал на каком-то подъёме, мечтал открыть багетную мастерскую, но это было наивное желание — в Москве и без меня всего хватает. Здесь можно найти абсолютно всё, вопрос лишь в деньгах и времени, которое уйдёт на эти поиски. Но, в общем, Москва приняла меня благодушно: как будто вспомнила, что мы когда-то были с ней знакомы и в целом ладили неплохо.

В детстве мы жили вдвоём с мамой в съёмной

квартире, в Последнем переулке. Неподалёку был дом с беременными кариатидами, мы часто ходили мимо, но мама не считала кариатид красавицами. Бабушка потом сказала, что та квартира обходилась дорого, можно было найти на окраине лучше и дешевле, но маме хотелось жить в красоте, даже если эта красота была обшарпанной, со следами неисцелимого ущерба.

Ванну, к примеру, отчищать было бесполезно — она оставалась жёлтой, как зубы курильщика. В этой ванне я нашёл свою маму 8 июня 1994 года: вода была красной. Я не мог смотреть на мамино лицо, поэтому глядел по сторонам — но рам здесь не было.

Мама никогда не ходила при мне голой. Если ей нужно было переодеться, она просила меня выйти. В своей болезненной стыдливости, детском страхе перед собственным и чужим телом я избегал встречи с человеческой наготой сколько это было возможно. Уже на Урале, куда увезла меня бабушка, пришлось как-то раз идти в баню с дядей и его друзьями: я был поражён тем, что увидел. Давид в Музее выглядел совсем иначе. Но после того похода в баню меня отпустил вязкий страх — он возвращался лишь время от времени, а потом растаял навсегда.

— Это сын той малахольной, Ритки, — услышал я как-то раз за спиной. — Бедный парень, такое пережить!

Из этих слов мне открылось не сочувствие, нечто другое: я пережил! Всё осталось в прошлом. Мама, конечно, снилась мне ночами — но не в красной воде, а живая, стремительная. Тащила меня за руку по залам Музея, отшучивалась, когда смотрительницы делали ей замечания.

После смерти бабушки я продал её квартиру и вернулся в Москву. Вложил деньги в дело, прогорел. Сейчас снимаю комнату в часе езды от Самокатной, иногда остаюсь ночевать прямо здесь, у прилавка.

Я одинок, но не потому, что с детства боялся голых женщин, а потому, что обладаю даром влюбляться только в умных и несвободных. Обжёгся несколько раз, пострадал, успокоился. Даже если ничего в моей жизни больше не случится, я это переживу. Не будет — и не будет.

Неделю назад мне назначил встречу один коллекционер — ему требовалась аутентичная рама “хотя бы девятнадцатого века”. Размеры были странные, взятые, по-моему, от фонаря, — и я сказал, что нужно посмотреть работу живьём.

Клиент обитал в доме на Волхонке. Одном из

тех домов, про которые туристы спрашивают: неужели там действительно кто-то живёт и сколько это может стоить? Хозяин квартиры был ещё не так стар, чтобы его одолевали наследники и антиквары, но и не молод. Да и кто теперь молод? В моём кругу таких нет, а те, что мелькают на Самокатной, похожи скорее на тени.

С размерами рамы клиент действительно ошибся — иногда миллиметры решают всё. Я сказал, что подберу ему что-то в ближайшее время, — что-то, подходящее для рисунка Коро (это был, кстати, никакой не Коро, но кто станет слушать специалиста по рамам? Грозу этот эпигон Коро изобразил вполне вдохновенно). Вот и в Москве сегодня тоже обещали грозу, а прогнозы в последнее время сбываются, особенно плохие.

Я вышел из дома коллекционера под громовые раскаты, как в старом фильме. Прошёл сто метров и увидел Музей.

Билеты, как сказали в кассе, нужно приобретать заранее, на сайте. Но мне милостиво позволили сделать это сейчас — я не справился бы с задачей без помощи симпатичной сотрудницы.

Посетителей в Музее было немного, а те, кто пришёл, сразу же поднимались по ступеням на выставку. Два туриста кружили вокруг кондо-

тьера, то и дело сливаясь в поцелуе, — смотрительница тяжко вздыхала, собираясь сделать им внушение.

Я шёл в залы живописи быстро как мог. Слышал, как скрипят рядом чьи-то ботинки, чувствовал в воздухе лёгкий аромат маминых духов. Смотрительницы клевали носами на стульях или вполголоса переговаривались о похоронах и внуках. Портреты смотрели на них с сочувствием.

“Даму за туалетом” мне удалось найти не сразу — она переехала в другой зал. Я подошёл к ней так решительно, как будто собирался сделать предложение. А она глянула на меня насмешливо, спрашивая: ну, теперь-то ты понял?

Французский богослов Пётр Коместор (XII век) писал, что Сатана вошёл в змея, похожего на Еву, потому что подобное всегда привлекает подобное. Нам кажутся красивыми только те, кто похож на нас. Как странно, что я забыл её лицо, — что помню только тело, укрытое не способной ничего спрятать прозрачной тканью, тело в красной воде … Сияющее тело, на которое я так боялся смотреть в детстве.

— Смотри, какая красавица, — услышал я голос за своей спиной и медленно повернулся, опасаясь спугнуть призрак — и глянуть ей наконец-то в

лицо.

Анна Чухлебова
Тесность



— А Лили Марлен твоя убежит в Армению, бу-

дет каяться, без соевого молока маяться, вступит в полиаморные отношения. Паспорт сожжёт, поменяет местоимение, станет написывать в запрещённых социальных сетях.

Да рэпер мой дружок, рэпер. Так он мне говорит, пока сматывает удочки, куда же без удочек, поездка на дачу. К двоюродной сестре, в глушь, в конце сентября, на необозримый срок. Мы с Колей снимали вместе квартиру после универа и, в общем, неплохо ладили, девчонок водили с соблюдением очерёдности, один привёл — второй потерялся, я б сказал — по-рыцарски, он бы сказал — по-пацански, и мы бы друг друга поняли. Мы всегда друг друга нормально понимали, да, я говорил, что наш, он говорил — ну хз, но мы об этом не спорили, да какая разница, всё равно как-то ездили в общей компании. И такое было ясное небо, и его отражало голубое Чёрное море, а горы на закате будто Господь нам Рериха по талончику небесному выдал, кого-кого? Да художника, Коль. А-а-а-а, художника. Знал он, балда, просто мы в отпуске много пили, и он сразу не сообразил.

Кто там разберёт, что на уме у моей Лили Марлен, но Коля сейчас бежит, на авиабилет у него денег нет, и вот, чужая дача.

— Коль, а с отоплением там как?

— Да печка есть, разберусь.

— А дрова?

— Ну спрошу, может, в лес схожу.

— Какой тут у нас лес, Коль, деревья как кусты, степь.

— Значит, в степь.

— А в степи?

— Вот повестка тебе придёт, посмотрю, как ты вопросы задавать будешь.

— Я и не буду.

— А Лили Марлен твоя …

Осознает свободу и сексуальность, ощутит гармонию со своим телом, перестанет подмышки брить моя Лили Марлен, что-то такое несёт Коля. Пусть бы Лили с её подмышками, пусть, хотя против небритого лобка я, например, ничего не имею.

— Как собаку тебя там пристрелят!

Вот, ближе к делу.

— То есть ты переживаешь о сохранности моего тела?

— У тебя ничего нет, кроме тела!

Ага, вот и приплыли, орёт уж. Беги, потерпевший, что с тобой спорить. И Коля носится по квартире, перерывает общий шкаф в прихожей, сеет хаос и разложение, вздрагивает от звонка,

бежит, бежит, бежит.

— Коль, да на съёмной тебя хрен найдёшь.

— То-то ты смелый такой! Захотят — по смартфону найдут.

— Так а на даче?

— Там не найдут, туда ехать лень.

Продумано в деталях, понятно. Хлопает дверь. Очень это всё интересно, конечно, но половину за съёмную хату теперь платить будет кто?

***

Лили Марлен моя — Лида Машкина, псевдоним в верхнем слое созвучий. Мы были с Лидой вчера, когда президент планировал зачитать обращение, долго ждали, нервно ходили из угла в угол, не включали сериалы. Спустя час задержки открыли пиво. Моя Лида в желтоватом свете торшера, остроносая блондинка с каре с чёлочкой. Лицо её непроницаемо, но, если уметь читать, можно заметить вечность. Вот тени под скулами, да что там спрятано, вековечная моя любовь поди. Лида закрывает глаза, и пусть слёз я ещё не вижу, точно знаю — они теплятся.

Обращение переносят на утро, и наш с Лидой вечер такой бестолковый, счастливый, наш. Мне показалось тогда, что мы могли бы быть счастли-

вы даже в последний день этого мира, позабыли бы факт сей прискорбный, отвлеклись, заболтались. А нет. Утром она рыдает в меня, прогуливая университеты, воет на шее, бессвязно лепечет сценарии.

— Миша, обратиться бы тебе в мышь, в подполье падают сладкие хлебные крошки.

— Но кошки!

Восклицаю я, презрев аргумент, что в мышином теле дух человека попросту задохнётся от клаустрофобии. Плечо рубашки мокнет от Лидиных слёз. В Ростове всё ещё лето, и когда я иду пешком на свою съёмную, ткань становится шершавой и лёгкой по мере высыхания. Я хватаю её губами и чувствую соль на языке.

***

А Коля в подполье неплохо устроился, заскучал через недельку правда, и мне пришлось его навестить.

— Стики для вейпа привези, тут нету в посёлке.

Какие беглые, такие и передачки. Я ему разных взял, ананас там, клубничка, все дела. Одичал он будто, начал закрутки из погреба подъедать, хруст огурца как спущенный курок. Я ему и пива

крафтового привёз, и крендельков, но одичалый Коля чем привык, тем и закусывает.

— Ночами поддувать стало, щели в окнах эти. Старый дачный дом, в нём и не зимовали почти. Вот затянется, и что?

— Зато живой, Коленька, зато живой. Ничего ведь важнее жизни нету.

— Это да.

— Ты ж у сестры двоюродной прячешься тут? У нас с моей как-то разговор был, я всё и понял сразу. Не помню уже, как мы так языками сцепились, вот только спросила у меня сестра: ты б человека убить смог?

— А ты?

— Я что, я тогда совсем добрый был и сказал: нет. Она: а если б сказали: убей его, или мы тебя убьём, и тогда бы нет? Я промолчал, она давай рассуждать, что надо убивать, конечно, в таком случае, вот что ей какой-то другой человек, она у себя одна вообще, и вот убьют её, и как она будет? Всё спросить хотелось: и меня б убила?

— Спросил бы.

— А ты б меня убил, Коль?

— Вот сейчас зачесались кулаки после таких вопросов.

— А говоришь, пацифист. Но я думаю: какое

дивное в этом стремление к жизни, животное, бесстыжее, это даже немного красиво. Ни семью, ни детей своих сестра не упомянула, жить хочу, да и всё тут, а там трава не расти.

— Ты намекаешь на что-то, да?

Дальновидный Коля, да недалёкий. Я ж то так рассказал, чтоб разговор с товарищем поддержать.

***

Да какое подполье, до электрички за двадцать минут дойдёшь. Вся зелень два месяца как на солнце сгорела, обесцвеченная трава, паучьи глаза пижмы чернеют; бревно без коры, будто полированное, и бороздки на нём мелкие — привязывали кого, что ли; коней, конечно, привязывали казаки, уже и красные были, а всё равно казаки. А кони копытом топтали, водили ли их поить на Азовское море? Процент соли минимальный, смешной, а конь, морской водой напоенный, это уже совсем другой конь, пренебрегать возможностью — преступление.

И чего я привязался к нему? Привязался, вот и привязался. Через неделю-другую ещё приеду, если Коля меня после таких разговоров вообще к себе пустит.

В электричке шуршат, а электричка воет, да и шуршат так, что вот-вот завоют. Тёткин сын получил повестку, чужая ведь женщина, пассажирка, а сейчас смотрю на неё — и, ну, тётка, родня кровная. Плачет тётка. Другая тётка глаза долу, ещё не получили, боится за дочку, за внучку, зять ей, может, никогда и не нравился, ну и что теперь, всё равно муж, отец. Я сижу напротив, косятся на меня. А я что. За тёток — грустно, девчонок — жалко, мужики разберутся. Сейчас бы, конечно, яблоки жевать под сенью деревьев на прохладной траве, на землю тёплую привалиться. Так нетушки, выбирай, бесчестие или свист смерти над ухом. Мы до этого только и выбирали, что между макаронами и пюрешкой на обед. Дела.

Хорошо, смерть — это смерть тела, но ведь возможна и смерть части тела. Волосы вот всегда выпадают, и ничего, и ладно, а что конечности? Оторванную, скажем, ногу — её похоронят? Умерла ведь нога, и человек не без ноги, а с мёртвой ногой остался, раньше раз-два — и в футбол, теперь — навечно с потерей. Может, в ноге часть души помещалась, при некотором допущении, что душа распределена в теле равномерно, как жидкость в сосуде. И что, при утрате конечности душа сжимается? С такими раскладами я бы на

её месте не убегал в пятки.

Так рассуждал, пока у самого нога не затекла. Тело бренное — бремя. Корми его и береги, будто всегда с младенцем возишься. А младенец-то что, только дряхлеет со временем, эх.

Дорогой стало темнеть. Было море за окном, теперь река, полосками ламп электрички зачёркнутая. Тётки уткнулись в кроссворды. Эй, да надёжно же Коля спрятался, от Мариуполя сто пятьдесят километров от силы. Где сейчас надёжно?

***

Завтра я к Лили. И к Лиде, как к её частности. Лида щебечет, птица райская, что горя в жизни не видывала, я засмотрелся, заслушался. Лида почти не ест, поэтому совсем не готовит, но сейчас меня встречают горячие бутерброды, вершина её мастерства. Лида заваривает чай, открывает джем, садится ко мне на колени. Я смотрю ей в висок: белая кожа, синяя жилка, внутри красная кровь. Лида моя — триколор.

Я говорю ей про Колю, Лида ломает руки, я ведь служил. Нет бы в универ сразу же, а тут влюбился в какую-то, ЕГЭ левой задней, на бюджет не взяли, на коммерцию — западло, и денег нет. Офицеры

быстро смекнули, распознали толковость, я бумажками для них всё больше занимался, отчёты всякие, какая там служба. По документам — сержант, военнообязанный.

Лида щиплет меня чуть выше локтя, больно! Лида вскакивает и несётся вглубь комнаты, открывает комод, ворошит. Лили Марлен моя наскребла по сусекам, чтоб хватило на авиаперелёт. Тянет пачку тысячных, знает, что сбережений у меня нет. И отказывается понять, что денег я не возьму и прятаться не собираюсь. Я не кидаю червонцы в печку, аккуратно кладу на стол. Лида молотит кулаками в мою грудь, не костяшками, ребром ладони, как в закрытую дверь стучат.

За окном обыденный гул военного самолёта. В эти месяцы я узнал, что поют они на разные голоса. Раз — небесный пылесос, другой — гром Господень, аж стены вибрируют, покрываются холодным потом. Небо после самолётов всегда расчерчено как ладонь. Читать я по нему не умею, каждый раз замираю, вглядываюсь в пути.

Лида прекращает, Лида говорит — уходи. Грудь от её ударов горит, да и мир горит. Мне всё кажется, что на пепелище страшней, чем в пожаре.

Земля — это тело страны. Чтобы защитить тело, нужно другое тело. “Нужно много тел” — так я

шепчу, пока небо над головой снова привычно дрожит.

***

Лида решила, что я совсем дурачок и её не люблю, Лида слаба в мировоззренческих уравнениях. Сама она мне не пишет уже неделю, я тоже молчу, потому что не знаю, что ей сказать. На галере моей аврал — сбежали тимлид, фронтэндер и аналитик, все остальные сидят стиснув зубы, дедлайны-то не сбежали! Голосит оунер. Вместо привычного часа я перерабатываю все три, пытаясь хоть как-то организовать процесс. Когда я выныриваю с работы молодой ночью, думаю, какие мы белочки в колесе, наше дело простое, бегаем. Будто не можем осмыслить беличьим мозгом, что мир за пределами колеса без пяти минут как прекратил быть.

Но выходные я выкраиваю и еду к Коле, мы стали даже чаще общаться. Не понимаю, чего тут больше — тщеславной надежды переубедить друг друга, смиренной надежды разубедиться самому.

Коля перестал бриться, не так, как в прошлом году, из щегольства, а просто. Он выглядит старше и суше, и я впервые чувствую, что когда-то нам исполнится тридцать, потом и сорок. Впрочем,

теперь загадывать стало странно.

Коля не верит в Бога и в третью неделю отшельничества. Когда я его спрашиваю, он так и говорит, без секундного промедления. И возвращает вопрос:

— А ты веришь?

— Верю.

Коля с иронией крестится. Я продолжаю:

— Быть человеком — как быть собакой, которая понимает, что однажды умрёт. Невыносимая мысль для животного.

— Так будь человеком!

— Я и есть.

— Что такое быть человеком?

— Болтать о банальностях и искать ответ.

Коля молчит. Ранние сумерки в октябре. Сама дача на окраине, центральное освещение кончилось несколько улиц назад. Наступает ночь настоящая, с ледяной космической тьмой, с душистыми крупными звёздами. Следующая моя реплика не Коле уже, а в небо.

— Тело — утилитарный предмет, необходимый человеку для достижения бессмертия. Культ смертного тела — это культ пустоты.

Коля со скрипом открывает калитку, и я, не оборачиваясь, ухожу. Затылок мой сверлит взгляд.

***

Маме сказал — принесут повестку, возьми. Мама мне пару ласковых, потом запричитала, потом ещё пару ласковых, потом “на кого ж ты меня оставляешь”, потом совсем матом. Пила бы поменьше, может быть, просто б заплакала. Но как тут поменьше, когда жизнь такая.

Принесли в конце октября. Мама у меня послушная. Позвонила сухо — “Бумажку свою забери”. Потоп приберегла на мой очный визит. В нашей семье потоп вместо вторников, вместо завтраков, не после нас, а во время. Голубь превращается в точку в небе, та чуть дрожит и сливается с пустотой. Кто знает, вернётся ли птица в этот раз.

Написал Коле, тот спросил, расписывался ли я. Я — нет, тут только мамина закоряка. “Это хорошо”, — написал Коля. “Это всё равно”, — ответил я. Коля набрал спустя час. Мялся, путал слова, в конце концов пожелал удачи. Я ему тоже пожелал.

К Лиде я пришёл без приглашения, она сразу ничего и не спросила, просто была рада видеть. Потом ругала за то, что пропал, но будто бы и не меня, а сам случай. Будто я — чемодан, который

она позабыла в автобусе, глупый такой предмет, а ситуация — того глупее. Я всё выслушал, поцеловал её в шею. И она меня поцеловала.

Когда мы кончили целоваться, я сказал про повестку. Лида начала было, потом осеклась. Молчали мы три тысячи лет. Лида поднесла мою руку к губам и чмокнула костяшки пальцев, словно маленький пажик. Смешное её кроткое благословение. Ещё пять тысяч лет помолчали. И только тогда, после, голос Лиды зазвучал как металлический, давно стоявший без дела механизм, умевший чеканить одно-единственное:

— Буду ждать.

Как мне уходить не хотелось. Любовь на шее повисла гирей, тащила на дно воспоминаний. Лида моя — как шило под сердцем. Да я ведь до военкомата ещё не дошёл, а уже раненый. Может, в Лили помещается большая часть моей души, чем в ноге, острым носом своим учуяла Лида и отхватила кусочек. И чего брешу, сам ведь всё отдал, сам.

Дорога казалась долгой. Автобус вёз меня на окраину, город вокруг медленно распадался в пыль, на лбы домов надвигались облака. В окошко стукнула первая капля, новые зачастили дробью. Начался дождь.

На остановке включил навигатор, дворы здесь одинаковые, на память надежды нет. Дождь разогнался, струями по спине побежал. Я продрог, но шёл медленно и торжественно, квартал кирпичных общажек стоял будто на вытяжку, приветствовал меня. У пристройки одного из домов темнела табличка. Сверился с навигатором — здесь. Смутно припомнил, что в соседнем дворе в точно такой же пристройке расположен кожвен. У жильцов общажек была любовь и была война, они были обычные русские люди. Пришлось очнуться, чтобы понять — мы точно такие же.

Двинул к табличке, и шаг нарастал, я чувствовал себя тяжёлым и сильным как таран. Дверная ручка была ледяная, костлявая, будто признала меня равным в рукопожатии. Я ощутил своё тело маленьким, тесным, временным, но способным к необозримому расширению. Я знал, что любой исход будет для меня благом, и потянул дверь на себя.

Дмитрий Данилов

Автомат Калашникова



Что-то в этом есть
Что-то определённо в этом есть
Что-то такое есть в том
Чтобы стрелять
Из автомата Калашникова

Служил в армии
По негероической специальности
Писаря-чертёжника
У нас был целый взвод
В штабе дивизии
Так и назывался
Взвод писарей
Такое было
Официальное название

Высокое начальство
Было совсем близко
Совсем рядом
И наши старослужащие
Иногда обращались
Товарищ подполковник
А как насчёт стрельб

Можно нам пострелять

Обычные солдаты
Нашей дивизии
Стреляли раза два за службу
И это в ГДР, в элитных войсках
А нам разрешали почаще
Писарям, крысам штабным
Подполковник Д-сюк
Мерзкая тварь
За мелкую провинность
Выгнавший меня
Из штаба дивизии
За мельчайшую провинность
Отправивший меня
В обычный полк
Как это у нас говорили
В войска
С пожеланием там повеситься
Так прямо и сказал
В лицо
Ты там, сука москальская
Повесишься

А там да
Трудно было служить
И часто опасно для жизни
(Я не повесился, наоборот
Хорошо там устроился
Отоспался, отъелся
Но это уже другая история)
Западный украинец
Он с садистическим наслаждением
Рассказывал, как в 1968-м
Давил чехов
Ему очень нравилось
Что он был там тогда
И в его рассказах
Была особенная, страшная
Радость человека
Которому дали
Которому разрешили
Давить, мучить
Беззащитных людей
Которые что-то там о себе
Возомнили

Но это я уже
Немного отвлёкся
Подполковник Д-сюк
Начальник оперативного отделения
Штаба нашей дивизии
В обычной жизни
Был довольно добродушным
Человеком
С туповатым
Фельдфебельским лицом
Вызывающим ассоциации
С персонажами Ярослава Гашека
И он разрешал нам
Пострелять

Когда не было особой работы
Мы с утра получали личное оружие
(Да, у каждого было личное оружие
Которым мы почти никогда не пользовались)
Ехали на стрельбище
И – стреляли

Я помню

Я на всю жизнь запомню
Это странное удовольствие
Это странное наслаждение
Стрелять
Стрелять из автомата Калашникова
Чувствовать отдачу
Удерживать эту машину
Эту страшную штуку в руках
Эту живую штуку
Это явно живое существо
В своих руках
И направлять его действие
Туда, куда тебе надо
Но это вторично
А самое главное
Это просто чувствовать
Вот это живое биение
Стальной плоти
Вот эту страшную вибрацию
Вот эту силу, выскакивающую из рук

И уж там не важно
Попал ты куда-нибудь

Или не попал
Я один раз получил пятёрку
На таких писарских стрельбах
Очень удачно
Поразил все мишени

Какая разница

Главное – вот эта
Трудно удерживаемая
Почти сладостная вибрация
И власть над ней
И власть над тем
Во что, в кого
Ты сейчас стреляешь
Даже если это просто
Мишень

Это как причащение злу
Если хоть раз вот так стрелял
Лёжа на земле
И целясь в мишень
И ощущая эту вибрацию
Дальше будешь

Любую военную новость
Пропускать через это ощущение
Через это ни с чем не сравнимое чувство
Когда у тебя в руках
Смертоносная штука
Живая, как смерть
И ты можешь её укротить
И стрелять куда тебе нужно
И убивать
Убивать убивать убивать
Вернее, уничтожать
Живую силу противника
Убивать убивать убивать
Убивать убивать убивать
Со сладостной стальной дрожью
С дикой этой вибрацией

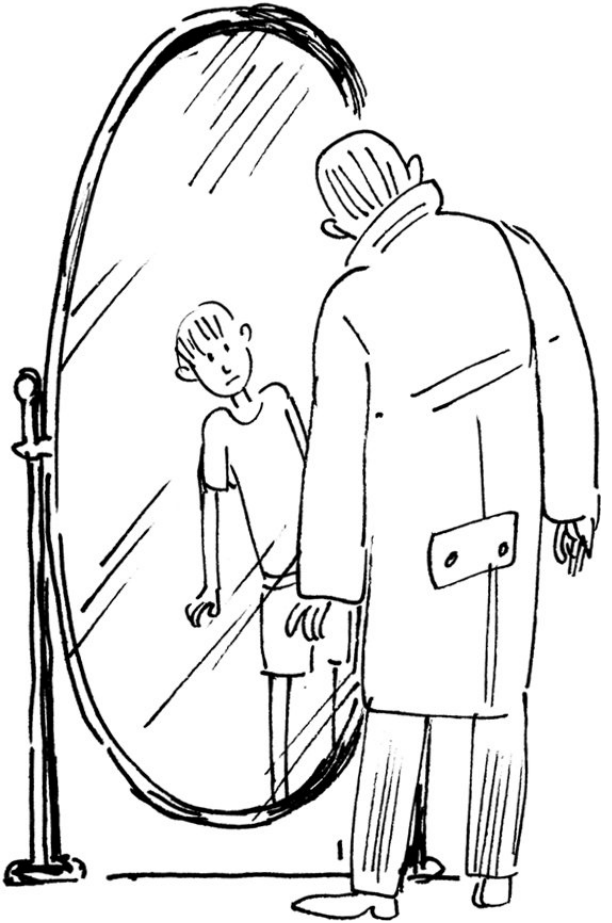
Если один раз это делал
Хочется это делать ещё и ещё
Только сдерживаешь себя
Только думаешь, что нельзя убивать
Что не хочешь убивать

Убивать – это грех
И всё равно, всё равно

Интересно спросить людей
Стрелявших
Из автоматической винтовки M16
Наверное, какие-то другие ощущения
Или такие же

Или такие же.

Арсений Гончуков
Его дневник



Смотреть на себя голого было неприятно и стыдно. Случалось это в гостиницах. Шёл в душ, затем обтирался, но не насухо, распахивал дверь прогретой ванной и выходил в номер — любил внезапное ощущение прохлады, охватывающее со всех сторон голое влажное тело, тёплый весенний ветерок с балкона и вот … зеркало. Останавливался, сначала смотрел в глаза, оценивал лицо, становился серьёзен, затем опускал взгляд ниже, поворачивался туда и сюда … Живот и ляжки. Чуть тёмные коленки. Смуглые руки. Плечи. И снова живот. Вспоминал своё тело в юности, тонкое, лёгкое, будто полое, хрупкое, как у кузнечика, но что делать — годы … Хотя какие ещё годы? Ему было сорок с небольшим. Ещё свеж, ещё *не всё потеряно*. Как говорили, как думал сам. Не уточняя, что именно *не всё* и что нужно делать, чтобы это *не всё* не было потеряно окончательно.

Был тяжёлый период в жизни, разожрался страшно. Целыми днями сидел и ел. Как ходил на работу. Вечером риса варёного накладывал в суповую тарелку, а на него сверху пару прожаренных в майонезе окорочков. Мог закусить бутербродом с колбасой. На десерт — пару пирожных либо полбанки сгущёнки. Сгущёнка

цементировала всё внутри, склеивала. После ужина его валило в тягучий сон; спал, а затем со звоном в башке вставал и полночи тёрся у холодильника.

Бывало, уставал жрать. Целыми днями думать об этом, решать, что готовить, идти в магазин, выбирать, покупать, жарить-парить, а затем мять, жевать, глотать, насыщаться, спать, чтобы через несколько часов — снова … Спрашивал себя, почти стонал: чем я занимаюсь целыми днями? Почему на ночь думаю об одних только сосисках и котлетах? Думаю, не выдерживаю, встаю и жру … Жарю колбасу. Варю ракушки. Откидываю. Вываливаю их в тающем жёлтом масле, пока не появляется пшенично-сливочный аромат, пока не врывается в него запах жареной говядины, густой, туповатый, жирный …

Наконец надоело. Увидел в зеркале лицо, не узнал, показалось — маска. Лицо ведь почти не полнеет, только по краям, с боков, и в первую очередь внизу, у шеи. Там как будто тесто всходит, прёт жир. Хочется ткнуть иглой — в лицо, в живот, в ляжки, — чтобы сдулись.

Не выдержал, решился: разделся догола, поставил камеру, приладил к столу, включил запись и стал ходить по комнате, туда, сюда, приближаясь,

отдаляясь, боком, делая вид, будто нет её, как будто он — кабанчик, мельтешит, бегает, подпрыгивает в естественных условиях джунглей! Снял. Заставил себя (лучше бы поджарки свиной настрогал), сел смотреть. Было больно и обидно. Словно его унижали, словно плевали на него. На видео бегал какой-то огромный белёсый мужик и носил перед собой, прижимая к животу, что-то ещё более бледное и круглое, пугающе большое, шарообразное — собственно сам живот. Задница была худая, плечи покатые, узкие, а живот существовал отдельно, глобусом, мячом, вещевым узелком, независимым членом тела (живущим скорее *у тела*). Чужеродная грыжа. Брюшко.

Он выключил видео. Сидел, дышал, горело лицо, сжимало в груди. Неужели *это* — я? Неужели *оно* — это я? Катастрофа. Он так себя запустил. Что делать. А как же котлеты. Рис. Ракушки. Сардельки. Поджарка с подушечками жирка. Толстое одеяльце шоколада на заварном кольце. Молочный коктейль после сочащегося соусом бургера. Как он без них? Как они без него?

Одно из самых манящих воспоминаний детства, очень личное, только его, ощущение, ныне не существующее, к повторению невозможное, но тем более ценное, уловившее однажды и с тех

пор навсегда сохранившее свет детства. Как он быстро бежал, когда его тело, тело семилетнего ребёнка, было совсем маленьким, лёгким, невесомым, стремительным, и как воздух свистел в ушах и полыхал в рубашке. Он был другим существом. Иным организмом. Другого размера и формы. Со своим ощущением слишком большого мира вокруг. Слон вспоминает, как он был мышонком. Непостижимо.

Он помнил: мчишься по душному лету, счастливый, юркий, быстрый как пуля, и можешь на любом камешке споткнуться и растянуться на асфальте, но бесстрашно несёшься по тугой поверхности сверкающей дороги и стремительно нагнетаешь ветер, льёшь его на себя, и чем быстрее, тем он плотнее, холоднее и жёстче …

Недавно вышел из дома набрать воды, а на углу у помойки трактор нагрёб целую гору снега, пирамиду в два человеческих роста. И школьник проходил мимо, бросил портфель — и давай на самую вершину. Остановился, наблюдая за пацаном. Как тот карабкается, спотыкаясь и начиная снова. Как, покорив Эверест, встаёт в позу и этаким наполеончиком осматривает окрестности … И никто, никто этого не видит, только он, мужчина за сорок с надутым животом, но и

его здесь нет.

Его целиком поглотило наблюдение, он живо представил мысли мальчика, витающего в ярких искрящихся пространствах, с невероятной графикой, пластикой, цветами и гравитацией, которые способно выстраивать только детское воображение! Он смотрел на мальчика и понимал, что в эту минуту идут войны, гремят вулканы, течёт лава, из океанов выпрыгивают киты, рассекают синие воды белоснежные лайнеры, в небе беззвучно грохочут северные сияния, гудят скоростные колоссы городов и цивилизаций, но целый мир, и даже больше, шире, свободнее, прямо сейчас творится, извергается и расширяется, как Вселенная после Большого взрыва, в голове мальчика на снежной горке у помойки в богом забытых Мытищах!.. И так захотелось ему попасть туда! Нырнуть с высоты своих лет, как с одиннадцатиметровой вышки, окунуться. Ощутить себя мальчиком на горке. Чтобы горка была главным развлечением жизни. Ярким, взрывным, азартным. Чтобы она была огромной, чистой, белоснежной вершиной, зовущей её покорить, а не кучкой грязного отжившего своё снега.

Странно, вроде бы простая вещь — забраться на горку, — а ведь никогда уже не повторится.

Потому что это тебе уже не нужно.

Вечером умывался, вгляделся в зеркало, приблизился к поверхности с парой капель брызг от зубной пасты и, расслабив нижнюю челюсть, чуть потряс ею. Ещё потряс. Под лицом болталась дрябловатая сумочка: губы, щёки, подбородок и чуть провисшая кожа под подбородком. Вся эта кожа да рожа … Так вот оно что! Так приходит возраст, старение. Стареешь не ты (потому это так незаметно!), а материя … изнашивается, ветшает. Как дом, который стоял тридцать лет статный и только срубленный, свежепахнущий маслянистой сосной, и вдруг раз — незаметно осунулся, просел на задний венец, и все вспомнили: да-а-а, а ведь тридцать лет уже прошло! не шутка!

Он где-то читал, что слабое место человеческого организма — соединительная ткань между клетками. Даже не сами клетки, а их “упаковка” ветшает, не обновляется. И появляются *брыли*. Брыли! Господи! Отвратительно. Унизительно. Но мы так сделаны.

Девушка ещё недавно была свежа, звонка как струна, кожа туго натянута на яблочные щёчки, плотные бёдра, лёгкие икры, крепко-женственные плечи, и вдруг раз — оплыла как свеча. Сначала еле заметно, затем сильнее. Складочка

живота. Сумочки сзади бёдер. Мешки под глазами. Попа пониже. Шейка пожиже. Низ голеней потолще. Самое начало долгого пути. Вот тебе и хрупкая изящная девочка. Ясная как утро. Уставшая как полдень. Как перестать обо всём этом думать?

Как перестать трясти подбородком у зеркала?

Ехал на днях в лифте. Вошла старуха, маленькая, тщедушная, вечно бормочет что-то, ругается. Глазастая. Таращит выцветшие голубые плошки, трясёт складками на шее, под восемьдесят точно, вся седая, полотняно-бледная. Вошла, и — ударил дух, не мочи и не грязного тела, а запах старости, изношенной кожи, тряпок и древесины, дома и сада, только что оттаявших после долгой зимы. Старуха стояла, и всё её тело было ненужным мешком, отжившей тарой с остатками минувших лет. Казалось, что вот скоро, через месяц, год, она наконец скинет изношенный, истлевший на ней костюм и вспорхнёт птицей, блеснёт в воздухе солнечным бликом, такая маленькая и быстрая, что едва заметишь.

Вышел из лифта, придержал ей дверь, а сам остался, смотрел вслед. И вдруг мысль пронзила: да как же так? Как же ты к пожилым относишься?! Неужели все так относятся?! И так на людей

смотрят!

Вот ты стоишь, ещё не старый, молодишься, чувствуешь своё превосходство. Даже в том, что тяжёлую дверь открыл. Запах старухи ему не понравился, ишь … Откуда это? Таким же будешь, дай бог, однажды, и что — о тебе так же будут думать? И задерживать дыхание в лифте? И желать сбросить с тебя изношенный мешок твоей жизни?

Нет. Нужно противостоять такому мысленному хамству молодых. Свинству.

Но ты ведь ещё не старый!

Тебе до этих мухоморов ещё далеко. Дожить надо. Не свалиться от инфаркта, как твой отец в пятьдесят три, а это, между прочим, через десять лет. Не грохнуться от инсульта, не поймать рак.

Ну хватит. Дались тебе эти старики! Но как не замечать мелкие подлянки тела?

Почерневшая икра — от курения (уже бросил!) вена перестала работать, и “её не восстановишь”, как сказал флеболог. Не такой уж чистый хрусталик, да и сетчатка потрёпана. Побаливает сустав. Одышка. Первый сбой эрекции, когда рыжеволосая красавица, с которой вы флиртовали месяц, легко и неожиданно раскинула белые полные ноги в полумраке автомобиля … Нет, не надо это

вспоминать.

Это не он, не он. Он по-прежнему юн и любит лежать летом в поле, смотреть на звёзды. С ощущением тела Земли, её бесконечно огромной спины. С ощущением, что летишь, прижавшись к ней, как на космической карусели, куда-то в бездну. С ощущением, что вот сейчас нависшие гроздьями звёзды начнут что-то нашёптывать и наконец расскажут, кто он, зачем и что нужно сделать, чтобы вернуться обратно.

А первый седой волос? Утром сидел в кресле с пологой спинкой. Что-то писал, положив подбородок на грудь (уже похудел). Щёлкал клавишами. И вдруг посмотрел на грудь — и увидел. В пяти сантиметрах от носа. Чуть не подпрыгнул, едва ли не заорал! Разглядывал слишком долго, а потом выдрал, и больше такого не было …

Подлое тело.

Он помнил, как всё начиналось. Проснулся утром, встал с кровати, сделал шаг, но вдруг сел обратно … Новое ощущение. Заметил, что встал без лёгкости, тяжело, грузно. Поднял себя как сумку, которая весит больше, чем кажется. Смешно: залез под одеяло и ещё раз вскочил на ноги … Нет, что-то новое. Словно мелодию играет не вдохновенный виртуоз, а старательный ученик.

Музыка не изменилась, изменилось её звучание. Его — звучание.

Иногда он получал тайное удовольствие — guilty pleasure — от нового состояния тела. Боли делали его ближе. Будто он наконец обжился в родном и тёплом, чувствующем, живущем рядом параллельной жизнью … Сейчас оно понесёт его в магазин, затем на встречу, оно преодолеет для него лестницу, а потом ему нужно поесть, поспать, не забудь его напоить. Как интересно. Наверное, нужно его беречь. Другого нет и не будет.

Наверное, нужно его любить. Он вдруг понял. Перестать дёргать, тыкать, ругать, испытывать отвращение и — примириться. Оценить, пожалеть, поддержать. Не раздражаться, не подгонять, мол, что это опять тут у тебя вылезло/покраснело/заскрипело/заныло?! Не терзать этого молчаливого выносливого ослика. Который несёт и тянет каждое утро. Позаботиться, погладить. Не набивать жиром, консервами до отказа, а пощадить. Кашкой угостить. В конце концов, смирение — не поражение. Неизбежное и есть благо.

Он помнил из курса старославянского языка, что чело — голова, век — время. Отсюда и *человек*. Тело плюс Путь.

Однажды сидел смотрел на руки, ещё гладкие, по-прежнему сильные, грубые, с коротко стриженными ногтями, и думал: вот ведь — создание.

Вы когда-нибудь думали *отдельно* про свои руки? Как они удивительно сделаны! В сильный холод, в огненную жару — не капризничают, работают, в воде водостойкие, пыли и сухости не боятся, от грязи, от краски — помыл, почистил, и как новые. Кожа всё стерпит, а поранишься — так затянется, заживёт. А сколько пальцев! Все для разного предназначены. А кисть — двигается и туда, и сюда, и вокруг, на шарнире … Может быть груба и сильна — ворочай брёвна, ломай деревья, бей как кувалдой, — а может быть утончённой и взять со стола соринку, ухватить волос, разлепить реснички … Что бы ты знал о мире, если бы не твои руки? Вот эти, самые простые. Могут говорить, ласкать, чувствовать, брать, принимать, отдавать. Хочешь — зло, хочешь — любовь. Или что-то посередине. Совершеннейшее чудо во Вселенной.

Шёл как-то мимо детского сада и вдруг понял, что за оградой шумно, весело и самозабвенно играют люди, которые будут жить в мире *без него.* Вглядывался в неуклюжие синие, розовые,

жёлтые комбинезончики, кричащие и размахивающие лопатками, и пытался нащупать, ухватить, а точнее — провидеть то самое время, мир, ему чуждый и страшный. А если вдруг он поймёт — как так, мир без него, как он сможет существовать? А если вдруг он поймёт — может быть, ему станет легче … Смотрел долго, пытливо, вгрызаясь взглядом в мельтешащие картинки, будто там показывали будущее.

А однажды в гостях у друзей наблюдал за их дочкой. Резкой прыгучей девочкой десяти лет, в которой бешено разгоралась природа подростка. Всё это — скорость, радость, красота, зарождающееся изящество, смех, крик, ежесекундное кручение, почти ведьминское, всё это угловатое, острое, взрывное — фейерверк, вихрь-коктейль раскрывающейся жизни!

И сначала он любовался и грелся искрами, что летели от неё. Затем невольно завидовал — её смуглым и свежим ручкам, стремительным спицам-ножкам, блестящим юрким плечикам, всему юному пробуждённому телу, которому ещё только предстоит дооформиться, вырасти, вжиться в тесное и грубо-шершавое пальто повседневности, осваиваться, смиряться и привыкать, ощущать ветер, жар, дрожь и трепет, прикасаться к другим

телам, дружить, обниматься, толкаться, любить, принимать зародившегося в нём ребёнка … Чуть позже она будет переживать за своё тело, может быть, жалеть его, а придёт время — и помогать ему справляться с недугами … Зависть быстро прошла, осталась полуулыбка, с которой человек выходит из комнаты и кивает на дверь, как бы говоря: ну, кто следующий?

А потом он захотел ребёнка.

В сорок с лишним лет он захотел ребёнка. Встретить женщину, полюбить её, жениться. И завести ребёнка. Зарабатывать на него, на неё. Быть рядом, кормить, воспитывать каждый день. Видеть, как он растёт, слышать, как гукает и лопочет, как пробуждаются в нём взгляд, ум, первые неуверенные движения и слова. Видеть, как он осваивается и занимает пространство, как насыщается соками, становится сильнее и наконец — берёт разбег … Выстреливает в жизнь, в путь. Обрывая ниточки и пуповины. Ничего, что, когда ребёнку исполнится восемнадцать, ему будет за шестьдесят … Ничего, даже если помрёт. Квартиру оставит, деньжат.

Его ребёнок. Его часть. Часть его жизни продолжится. Чтобы не закончиться никогда. Часть его кода. Буквально — тела. Он думал: это желание

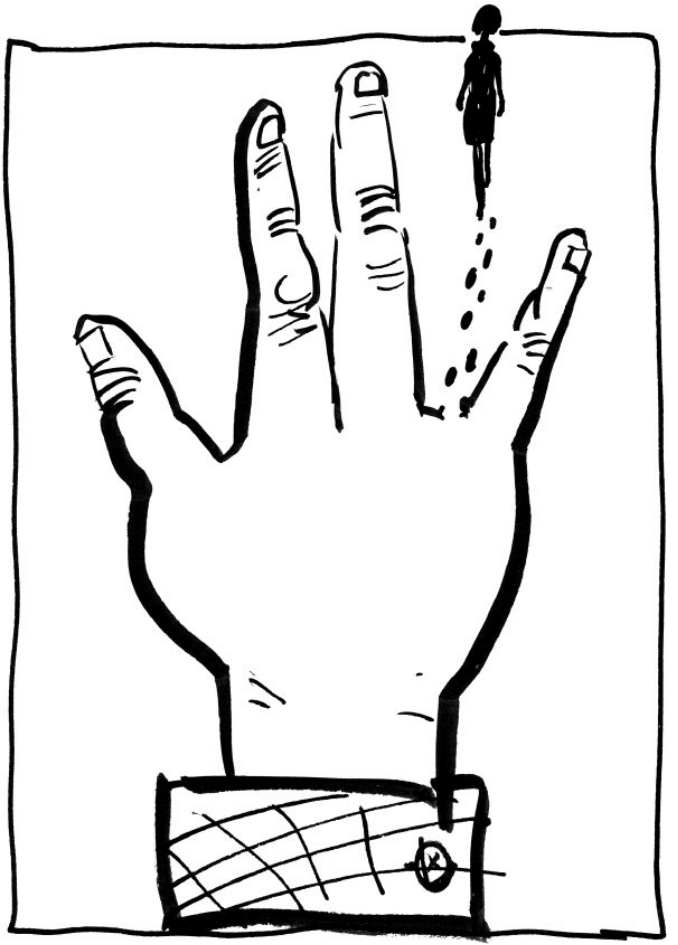
заложено в нём? или к этому он пришёл сам? а не слишком ли поздно?

Ему так хотелось ребёнка! Он бредил им! Ребёночком, жеребёночком, плотским узелком, маленьким молочно-розовым существом с блуждающими глазками и ручками-ножками, которыми младенец как краб пытается ухватить воздух. Ему это снилось. Когда просыпался — смеялся и умилялся своим снам, будто сам стал ребёнком, впал в детство … “Я старею? или схожу с ума?” — спрашивал сам себя. Желание заполняло его, как яркий весенний свет заливает комнату после отделки.

Здесь я его оставлю, наше *чело*, человека, моего командира. Я, его сосуд, мешок, механизм, дом, жизнь, тело. Замолкаю, заканчиваю свой небольшой дневник. Что было дальше — личное, интимное, разглашать не имею права! Пусть думает, разбирается, и, надеюсь, ему повезёт. А я — помогу. Мы ещё походим, посмотрим, поживём, порадуемся белому свету.

Ася Володина
Безымянный

Сорока-ворона кашку варила,
Деток кормила.
Этому дала.
Этому дала.
Этому дала.
– А ты где был?
Дров не рубил,
Печку не топил,
Кашу не варил,
Позже всех приходил.



Ночью у меня забрали палец.

Даже не сразу это понял. Знаете это чувство, когда просыпаешься, но не целиком — как постепенно включается компьютер: сначала шумит системный блок, потом загорается монитор, крутится колёсико, и только после этого появляется заставка.

Но в это утро моя заставка оказалась совсем другой.

Будильник трезвонил, я хлопал по одеялу рядом с собой, Таня ругалась из-за стены “да выключишь ты его или нет?”, так что я открыл глаза, нашёл телефон, провёл по экрану и замер.

— Проснулся наконец?

Дверь чуть приоткрылась, но Таня не вошла, так и говорила в просвет.

— Как спала?

— Завтрак готов, — она уже исчезла.

Я отложил телефон, присел на диване и взглянул на ладони. Линия сердца дошла до линии ума и сорвалась в пропасть.

Закрыл глаза. Открыл. Снова закрыл.

Сколько пальцев на левой руке?

Раз, два, три, четыре, пять.

Сколько пальцев на правой руке?

Раз, два, три, четыре.

На месте безымянного было пусто. Ни раны, ни дыры, ни пробела, ни услужливой таблички “вернусь через 15 минут”. Пальцы раздвинулись, переукомплектовались — словно так всегда и было.

Раз, два, три, четыре.

Пять. Я иду искать.

Если его нет на руке, где-то же он должен быть? Я ощупал постель, встряхнул одеяло — и услышал, как что-то тихо звякнуло.

На полу у дивана лежало обручальное кольцо.

— Идёшь, нет? Стынет. Ждать не буду.

Я покрутил кольцо и надел на левую руку. Пару лет назад я его уже терял, так Таня сразу за новым отправила. Она как раз в командировку собиралась, а я, видите ли, не проштампован. Кольцо, кстати, за плинтусом нашёл в итоге. Таня тогда пошутила, что теперь могу за второй женой отправиться.

Кольца два. Палец один. Жена …

— Тань.

Так и застрял на пороге, не решаясь зайти на кухню. Держит дистанцию — от полутора метров и дальше.

Она допивала кофе, стоя у окна и уткнувшись в телефон: казалось, стоит мне сделать шаг чуть

ближе, и в это же окно она и ускользнёт. Пробормотала, не поднимая головы:

— Хлеб в тостере.

— Завтракать не будешь?

— Собрание.

— У меня тут новости. — Сел за стол и выложил правую руку.

Даже посмотрела. И, будто испугавшись, вернулась в телефон.

— Значит, и у тебя тоже.

— Тоже?

— В телеграме писали. У Ленкиного мужа такое. Это оптимизацию запустили.

— Какую ещё оптимизацию?

— Такую. Тестовую. Говорила на прошлой неделе. Ты не слушал.

Тостер выплюнул хлеб.

Тарелка приземлилась — без стука, но решительно. Желток перекатился на бок, скользнул по ободку и капнул на стол.

— Дай салфетку.

— Я сама.

Приподнял тарелку, пока она водила губкой туда-сюда. Снёс локтем нож со стола. Полез вниз, поднял нож, положил его в мойку, открыл верхний ящик и вздохнул, наткнувшись на салфетки.

Дёрнул второй ящик, третий, а в спину летели тысячи молчаливых ножей и ножичков. Наконец она пожалела — себя или меня? — открыла верхний шкафчик и протянула нож остриём вперёд.

— Чистые здесь. Всегда были.

Тронул за локоть.

— Зачем они это делают, не знаешь?

— Передо мной не отчитываются.

Наша Таня не заплачет. Хотелось спросить у неё что-то жалкое, глупое: Таня, а как считать по пальцам до десяти, если десятого нет и не будет?

“Дай пять” — “На четыре”.

— Мне как-то непривычно.

Усмехнулась.

— Ты — привыкнешь.

Я поставил тарелку в мойку, покосился на Таню и включил воду. Зашёл в спальню переодеться. Лежавшая по центру кровати подушка осталась без пары. Как и мой палец на левой руке.

Безымянный палец какая планета

Безымянный палец это какой

Безымянный палец почему так называется

Безымянный палец длиннее указательного у мужчин что значит

Безымянный палец кольцо

Безымянный палец зачем нужен

Не нужен. Брать кровь и носить кольцо. Из безымянного ведёт прямая вена в сердце, считали римляне. Digitus anularis, вот как оно было. Анулярис — как будто всё и вело к тому, что его не станет. Ведь если нет имени, значит тебя тоже нет.

В салон зашёл парень и приложил карту к терминалу. Палец в перчатке болтался обмякшим гондоном. Пусто. Пусто. Пусто.

Он поймал мой взгляд — и спрятал руку в карман.

В офисе меня встретила заплаканная Маша. Я бы тоже каждый день плакал, если б во мне ещё один я сидел. Она посмотрела на палец, будто знала, куда смотреть, всхлипнула и выбежала в коридор.

— Чего она? — спросил я у Антона.

Он откатился от стола и сказал тихо:

— У её мужа … — и тут он увидел. — Ох.

— Ага.

— И как оно?

— Да как обычно. Ничего страшного-то не произошло. Просто непривычно.

— Слушай, это точно не заразно?

— Да вроде бы нет. Я так понял, сейчас забирают только вторую группу с положительным резусом.

У тебя какая, кстати?

— У меня четвёртая отрицательная, я в самом конце.

— Не знаешь, что там для вас придумали?

— Не-а. Никто не знает. Вам ещё повезло. Палец-то не самый нужный. Вот указательный там или большой — это да. Ладно, ты иди. Денис, кстати, днём всех собирает.

Я сел за стол и открыл ноут. На заставке фото из отпуска в прошлую жизнь: мы на катере, Таня улыбается, моя рука у неё на плече, на руке — пять пальцев.

Пора менять.

Перед столом вырос живот Маши. Пришлось отодвинуться, чтобы Машу тоже стало видно.

— Ну и что ты будешь с этим делать?

— С чем?

— Ты понял. Жаловаться будешь? Мы готовим коллективное обращение.

Я пожал плечами, но она не отставала.

— Тебя же покалечили. За твои же налоги, между прочим!

— Не то чтобы с меня много налогов слупить можно … Да и вообще, этот палец не очень-то нужный. Только кольцо носить. Я читал.

— А знаешь, что я читала? Историю про аппен-

дикс. Про него тоже думали, что атавизм. Вот и стали младенцам удалять. А в итоге что?

— Что?

— А без него молоко материнское не усваивается! Понимаешь, к чему я?

— Допустим. Ну а что делать-то?

Маша фыркнула и ушла. Я снова положил ладонь на стол: ни шрама, ни отметины, ни следа. Как будто всё в порядке. Как будто так и должно быть.

Денис явился только после обеда.

— Команда, прошу вашего внимания.

Мы уже привыкли, что хорошее дело с “команды” не начинается. Я посмотрел почему-то на Машу, она нахмурилась.

— Команда, как вы, вероятно, уже знаете, с сегодняшнего дня запущена программа по оптимизации деятельности человеческого организма. В рамках этой программы разным группам населения в тестовом режиме отключают отдельные части тела. Сегодня запущено плановое отключение безымянного пальца у мужчин 20–40 лет со второй группой крови, резус положительный. На неделе уже анонсировано отключение других элементов у разных групп населения. Проверить график отключения можно в личном кабинете

на портале “Невредим. ру”. Вам должны прийти оповещения на почту. В рамках программы предусмотрена единоразовая выплата за утрату доступа к временно отключённому элементу. Повторяю: временно, система только тестируется! Команда, очень прошу не наводить панику и не тормозить рабочие процессы. Мы продолжаем функционировать в штатном режиме — как единый дружный организм.

Телефон зажужжал. Высветилось оповещение из банка:

“ВАМ ЗАЧИСЛЕНО 50 000 *рублей. НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА — компенсация оптимизированному”.*

Оптимизированный — вот, значит, как я теперь называюсь.

Когда я вернулся, Таня была уже дома: из гостиной раздавалось бурчание ноутбука. Я зашёл в гостиную, она не повернулась.

— Привет.

Не ответила. Снял часы и бросил пиджак на кресло — специально, чтоб смялся. Она покосилась, но всё равно ничего не сказала.

— Как на работе?

Она пожала плечами:

— Как в сказке про козлёнка, который посчитал всех. Вот и они: нас посчитали, нас оптимизи-

ровали …

— А тебе уже пришло оповещение?

— Мне — нет. У меня отвод.

— Почему?

— Потому что щитовидка ни к чёрту. Я говорила вообще-то.

— Не помню.

Закатила глаза.

Я сел рядом и положил руку ей на колено.

— Не надо.

— Может, в отпуск съездим?

— Чтобы палец отрос?

— При чём здесь палец?

— А при чём здесь отпуск?

Таня встала, я взял её за руку. Она бросила взгляд на кольцо.

— На левой носят разведённые.

Вышла из комнаты. Дверь в спальню закрылась.

Ещё вдовцы, хотел я напомнить.

Проснулся оттого, что Таня трясла меня за плечи.

— Ты чего орёшь?

Правая рука! Может быть, он …

Нет. Пальца так и не было.

Вот, значит, как это работает. Пальца нет, а

боль есть.

Таня присела на угол дивана и вздохнула.

— Ладно. Давай честно. Как ты вообще?

— Не знаю. Не знаю, правда. Как будто бы … никак.

— Понятно. — Она встала и направилась к двери.

— Тань, погоди. Можно к тебе?

Она замерла на пороге.

— Нет.

— Значит, теперь так всегда будет?

— Всегда — не будет.

Можно было спросить сейчас. Нужно было спросить. Но я промолчал.

Она исчезла за дверью.

За неделю после начала оптимизации офис опустел. Первым исчез Денис, сказавшись больным. Говорили, болеет он где-то на берегу одного из не наших морей. Впрочем, удивляться было нечему: у него третья положительная, так что по графику он попадал уже в следующую тестовую группу.

Маша отнесла заявление в отдел кадров и зашла попрощаться перед отъездом.

— Зачем? У тебя же бронь стопроцентная, а твой уже без пальца.

— Есть ещё кое-кто.

— Детей не трогают, сказали.

— Сказали, да. Это сейчас. А если потом? — Она положила руку на живот. — Мы же не знаем, как это всё повлияет. Ладно палец. А если они … если оптимизируют какой-то участок мозга, который отвечает за эмоции? Он будет кошкам глаза выкалывать, а я даже не пойму, что случилось! Я спать не могу. Я есть не могу. Я так больше не могу, не могу, не могу!

— Я понял.

Я положил свою руку на её, но тут же убрал, увидев, *как* она смотрит. Она говорила, не отрывая глаз от пальца, — вернее, от места, где он когда-то был.

— Слушай, хотела тебя попросить … Так неудобно, но правда некого, у нас все разъехались. Можешь Конни у себя подержать? Пока мы не разберёмся на месте.

— У Тани аллергия на шерсть, прости.

Я врал, и она это знала.

Вечером я сказал Тане, что Маша уезжает. Она пожала плечами.

— Я бы тоже уехала, будь я на её месте.

— Так давай …

Я собрался с духом и сказал:

— Давай попробуем.

Она сжала стакан и медленно проговорила:

— Уехать — или?..

— Уехать, конечно, а ты о чём?

— Конечно. О чём же ещё, — она усмехнулась и встала.

— Таня, ну сама подумай, какой сейчас смысл ...

— Жить? Скажи прямо — жить. Какой смысл жить. Что-то делать. Что-то пытаться. Да? Мы ведь так и живём. Будто нас уже нет. Если бы наши родители думали так же, то нас бы и не было.

— Это другое.

— Это *всегда* другое.

Она ушла.

Утро началось с сообщения:

“ОТМЕНА ОПТИМИЗАЦИИ.

В результате ошибочных действий системы было оптимизировано свыше 2000 *рабочих органов, что привело к приостановке жизнедеятельности более* 100 *человек. Оптимизация признана неэффективной мерой. В ближайшие месяцы все органы возобновят своё функционирование в прежнем режиме”.*

Это значит, что палец вернётся. Это значит, что всё вернётся.

— Тань, — я вскочил и бросился в спальню.

Кровать была не просто пустой — нетронутой.

— Тань?

Её не было.

А что, если Тани больше *не было*? А что, если Таню — с её щитовидкой — оптимизировали? По ошибке. Навсегда.

Гудок, один, другой, третий …

— Мне сейчас неудобно.

Я выдохнул и едва смог проговорить:

— Таня, всё хорошо? С тобой всё хорошо?

— Ты чего?

— Я понял. Давай попробуем. Я готов. Правда.

Она молчала.

— Таня?

— Я ухожу. Подала заявление утром. Поняла, что смогу. Смогу без тебя. Прости.

Записал голосовое:

— Маша, если надо ещё, привози Конни. Присмотрю.

Стянул кольцо с левой руки. Положил обе руки рядом.

Нехорошо. Неровно.

Открыл один ящик, другой.

Где там они лежат?

Даша Благова
Родинка



Если встанешь лицом к нашему общежитию, ты увидишь в его окнах много всякого. Головы, кальяны, коробки, иногда книги. Однажды я заметила в окне кота и вычислила комнату, откуда он. Даже не знаю зачем.

Зимним вечером общежитие кажется уютным. Как длинная свеча в тёмной бутылке, варёная картошка со сливочным маслом, дремота у бабушки в гостях. Скорее всего, ты идёшь к общежитию от метро и твои губы уже колючие с кровью. Ты хочешь войти внутрь, но в самом конце пути московский ветер пытается тебя убить. Он всегда живёт возле больших зданий вроде нашего и не помнит соседей, так что набрасывается на всех подряд. Не стой там долго.

Хотя задержись, тут может быть интересно. Рано или поздно из дверей выскочит пара, целуясь на ходу. Первокурсник потащит клетчатую сумку, которую передали с поездом из дома. У поста охранников притормозит толпа москвичей с временными пропусками: они будут пить с общежитскими дешёвое вино и попытаются нелегально остаться на ночь. Когда-нибудь к твоим ногам упадёт зачётка, перемазав грязью страницы, потому что кто-то неосторожно ловил в окне халяву. Я не знала никаких студенческих

примет, когда приехала сюда. Теперь знаю много, но они мне не нужны.

Потому что однажды я шла по общежитскому коридору тысячу лет, состарилась и умерла.

Не дай себя обмануть. Изнутри общежитие склеено сосущими пустотами. Когда искрятся окна всех шестнадцати этажей обоих корпусов, знай, что общежитие на тебя охотится. Никогда не попадайся на приманку.

Я здесь одна — неделю. В основном сижу в комнате, иногда выхожу бродить по коридорам. Бывает, беру с собой плед, чтобы лежать. Несколько раз я засыпала прямо на плиточном полу. Меня некому разбудить, а в коридорах нет отопления, так что я всё время больна.

Однажды одногруппница спросила, что бы я завещала сделать с собой после смерти. Я сказала, что мне всё равно: если ты больше не владеешь телом, то как ты почувствуешь, правильно ли с ним поступили? На самом деле я думала так: только не гроб. Потому что каждый общежитский коридор — это бесконечный тесный гроб, шестнадцать слева и шестнадцать справа, друг на друге, пыльные и жадные, всегда голодные. Я уже в одном из них, мои кости и моё мясо.

За всю неделю я ни разу не почувствовала родинку над губой. Когда я одна, родинка засыпает и сидит на коже спокойно. Наверное, я никогда не была одна больше пяти или шести часов подряд. А тут вспомнила о родинке только на седьмой день, потому что вспомнила о Вере.

Хотя о Вере я думала миллион раз в сутки.

Просто однажды Вера сказала мне, что хотела бы такую же родинку, она красивая и немного пошлая. Ну, в хорошем смысле, так сказала Вера. В моём углу было зеркало, и я подошла к нему, чтобы посмотреться.

Я говорю “мой угол”, потому что в комнате нас живёт пятеро, а мне повезло занять кровать за шкафом. Когда я смотрюсь в зеркало, шкаф закрашивает собой две трети фона, а в оставшемся кусочке я вижу пространство, которое принадлежит соседкам. Их быт яркий, мусорный, молодой, он сложен из куч одежды, грязных тарелок, бутылок, пакетов, плакатов и фотографий. Чужой быт побеждает мой, он выгоняет меня за дверь даже сейчас, когда я одна в целой комнате. Я не люблю бардак, у меня всё по ящичкам. Ещё я не люблю украшать стены, мне нравится, когда пусто.

Но не так пусто, как в коридорах, там пустота гуляющая и жрущая. Первые пару недель в об-

щежитии тебе весело и пьяно, но потом жизнь начинает сереть и истончаться. Из неё подсасывает пустота, она всегда голодная. Но не думай, что пустота высосет тебя сразу. Пустота экономна и расчётлива, ты ей будешь нужна все пять лет.

На людях моя родинка над губой выпирает, из всех частей тела я чувствую её лучше всего. Не круглосуточно, но один или два раза в день точно. Иногда пять или шесть. Она ощущается как спичечная головка, которой чиркнули о коробок. Или как иголка с шариком — такой ещё закалывают хиджабы, только мне она дырявит губу. Ещё — как жирный степной клещ. А бывает, просто чешется.

В шесть лет я прыгала под виноградом, пытаясь схватить его за усы. На крыльцо вышла бабушка и крикнула, чтобы я подошла к ней. Бабушка была в хорошем настроении и вдруг, погладив по голове, назвала меня Монро. Я не знала, кто такая Монро, и попросила показать её мне. Бабушке не хотелось, но я так расканючилась, что она согласилась поискать.

Мы сели в самой прохладной комнате с книжным шкафом, в котором я обожала копаться: там были фотоальбомы, старые открытки, календари. Придерживая одной ладонью бумажную стопку,

бабушка вытащила коробку из-под конфет — её я и раньше видела, там лежали портреты знаменитостей. Тётка твоя баловалась раньше, сказала бабушка, все журналы мне искромсала. Где-то внутри была Монро, и в конце концов бабушка выложила её мне на колени.

Я тогда была черноволосой девочкой, а Монро — тётей с белой причёской. И ещё мне не понравилось, как она скалилась. Я сказала бабушке, что ничего не поняла. Да вот же, ответила бабушка и нажала на монровскую родинку. Я возразила, что у неё родинка на щеке, а у меня над губой. Дурочка ты, сказала бабушка. В комнату зашёл дедушка, посмотрел мельком на Монро и произнёс: проститутка.

В ту ночь родинка впервые запульсировала и потянула в себя кровь. Потом начала жечься. Жжение расползлось по подбородку и щекам, а к середине ночи покрыло и глаза. Мне удалось поспать совсем чуть-чуть и уже при солнечном свете. Утром я намылила губы, взяла дедушкину бритву и стала водить ей по лицу. В начале я сказала, что родинка выпирает, но это не совсем так: я чувствую её выпирающей, а на самом деле она плоская. Так что я исцарапала себе щёки, верхнюю губу и подбородок, а родинка осталась

на месте.

Позднее моя попытка отщепиться от родинки стала семейной байкой. Представляете, Настя однажды побрилась. Ей было шесть лет, а она взяла бритву — и чирк-чирк! Потом всю неделю ходила с зелёной бородой. Наверное, подсмотрела за своим любимым дедушкой. Она всё делала как дедушка. А уж как, бывало, ругнётся!

Больше, чем меня, эта история раздражала только Бэллу. Она была любимицей всех, первым ребёнком, номер один в списке из одной себя, её всюду брали с собой, показывали там и тут, знакомым и малознакомым, ставили на стул и постоянно фотографировали на плёнку. И только дедушка не поддавался, он любил меня. Но Бэлле был необходим полный набор, ей надо было приклеить к себе каждого.

Никто не видит, что мои глаза карие. И что ключицы образуют кожаные ванночки. И мою кудряшку, которая всегда торчит из пробора у самого лба. Все смотрят в родинку над губой.

Папа однажды сказал, что с ней я как леди. Девочка из параллели обвиняла, что я рисую её себе глазной подводкой. Бабушка по-прежнему называет меня Монро, когда я делаю что-нибудь

весёлое или смешное. Только мама ничего не придумывает, она понимает.

Я ненавижу свою родинку. В ней слишком много всего такого, что со мной не сочетается. Мне намекают, что я должна быть кокетливой. Игривой. Что я обязана стать ещё большей женщиной, чем другие женщины. Но смотри, Настя, не будь развратной. У тебя и так вид такой … ну, ты знаешь, Настя. А я всё сделала наоборот.

Сильнее всего родинка прожгла кожу в день, когда у меня случились первые месячные. Пока я смотрела на ткань с коричневыми мазками, родинка задёргала так сильно, что я сунула между ног туалетную бумагу и пошла к холодильнику. Подержала на губах замороженное что-то — и вроде прошло. Любая боль в родинке — жгущая, колющая, ноющая — рассасывается быстро. Просто она как будильник.

Иногда, чтобы стало полегче, я всасываю родинку вместе с губой. Но губы мои большие и спелые, они похожи на помидор “бычье сердце”. И если затолкать их в рот, лицо теряет много мяса, становится голым. Это выглядит нелепо, так что на людях я стараюсь так не делать.

На вкус моя родинка солёная или никакая.

Родинка напоминает мне и о хорошем. О ту-

товнике, ежевике, сливе и тёрне. О том, как на нашем юге можно объесться, просто гуляя по улицам. Моя родина жаркая, влажная, съедобная. Её сок течёт по подбородку и склеивает пальцы, её травы хлещут лодыжки и колют пятки, проникают в кожу, уши, под ногти. Кусты переплетаются и дёргают друг друга за ветки девять месяцев в году. Моя родина не замерзает и редко покрывается снегом, он задерживается только на горных макушках зимой. Их видно с любой улицы нашего посёлка.

Я бы хотела, чтобы и родинка была съедобной. Чтобы она не только колола меня, но и питала. Чтобы я заталкивала в рот губы — и вдруг становилась сытой. Тогда мне не пришлось бы всё время экономить и худеть.

Иногда я мечтаю, чтобы всё на свете было полезным, каждый предмет.

В общежитии мне или совсем не хочется есть, или хочется съесть сразу всё, что найдётся. Я ем без удовольствия, через силу или, наоборот, чтобы забросать чем-нибудь внутреннюю воронку. Когда моя маленькая пустотка оказалась здесь, она быстро спелась с огромной общежитской пустотой. Они всё время переговариваются. И когда моя пустотка набирается сил, я запихиваю

в себя что угодно, только чтобы она замолчала.

Если я закрою глаза и представлю еду, то мои любимые печёная картошка, свиной шашлык, балкарские хычины, аджапсандали и разнообразные овощи будут стоять где угодно: дома на столе, в холодильнике или на ресторанной клеёнке, — но только не в общежитии. Еда здесь не еда.

Есть ситуации, в которых родинка точно не почувствуется. Например, в стоматологическом кресле, когда врач с ассистентом видят из всей меня только зуб и вертят моей же головой как хотят. Ещё, конечно, в гинекологическом кабинете, особенно если внутри меня находится что-то, во что доктору надо всмотреться. И в любой другой ситуации, когда моему телу оставляют какую-то одну функцию.

И поэтому, когда я занимаюсь сексом, моя родинка тоже исчезает. Я делаю это часто и с разными партнёрами. Но совсем не из-за родинки. И не из-за неё имена парней в моей голове никак не прилепляются к их же лицам и всё время перетасовываются. Не поэтому мне плевать на то, чем эти парни интересуются, где работают и на кого учатся. Парни-инструменты, плиточки и кирпичики, которых я укладываю слоями, чтобы вскарабкаться и встать сверху.

Вообще-то во всём виновата Вера.

Я никогда не стараюсь во время секса. Быть красивой или страстной, запомниться. Я не хочу специально радовать кого-то сексом, я и сама не рада, просто секс и секс, то, что я делаю, потому что делаю.

Моя сестра Бэлла давно сказала мне, ещё тринадцатилетней, что секс — это как летние каникулы: ты ждёшь от них приключений, любви и радости, а потом на всё лето застреваешь у бабушки и топчешься в курином говне. Наверное, это была единственная умная мысль, которую высказала Бэлла за всю нашу сестринскую жизнь, мы тогда даже не поругались.

И всё равно, забираясь в кровать к парню, я переживаю из-за своих складок, вылезающих во время секса. Телесных, тугих, наживотных и внутрибедренных. Перед тем как предложить секс, я сильно втягиваю пузо.

Ночи в Москве никогда не бывают чёрными. Первый месяц я думала, что наблюдаю прожжавение неба: это такое астрономическое явление вроде северного сияния, только безрадостное. Оказалось, небо здесь всегда такое.

В октябре мы с Верой сидели на подоконнике и

смотрели в коррозийную тьму, она предложила сделать парные татуировки. Маленькие, чтобы не спалиться перед родителями, но красивые и напоминающие нам друг о друге. Наши инициалы или ту завитушку с факультетской колонны, сказала Вера, а я промолчала, потому что это была одна из тех идей, про которую Вера тут же забудет, если ей не напоминать.

Но в конце засыпанного реагентами декабря, когда ледяной ветер расшатывал оконные рамы и загонял вглубь общежития подмерзающих тараканов, я жалела, что не пустила под кожу чернила. Потому что, когда в меня вдавилось новое тело — костлявое, чужое и холодное, — я думала, как бы отвлечься, как бы не думать о сексе, который со мной происходит.

Может быть, если бы на мне отпечатался маленький рисунок, я могла бы смотреть в него и оживлять его в голове, размышлять о Вере и нашей дружбе, о том, что будет, когда мы станем старше, обо всех наших планах.

Я здесь одна уже неделю. Иногда вижу охранников, но не заговариваю с ними. Это охранники сосущей пустоты, моей печали, моей тоски. Я смотрю на себя в зеркало.

Вижу кудряшку, ключицу, коричневую радужку. Обхожу взглядом родинку. Втягиваю в рот губы и распускаю их. Получается звук. Мне невыносимо смотреть на себя больше. Внутренняя пустотка снова тянется к огромной общежитской пустоте. Кажется, я одна здесь навсегда.

Елена Колина
Член шайки, или История одной любви

Уже происходило не со мной, память отдана Ляле



Ляля родилась в книжном шкафу ... А вот как

она попала в книжный шкаф, было неизвестно. Эта умеренно остроумная домашняя шутка была просто констатацией факта: Ляля как начала читать в три года, так и мела все, что попадётся под руку, хоть журнал “Мурзилка”, хоть собрание сочинений Гюго.

К десяти годам Ляля знала о человеческой натуре и об отношениях полов немало: она поглощала сведения о жизни целыми собраниями сочинений. Всё, на что толкает человека томление души и тела, было описано в прочитанных ею книгах — у Стендаля более поэтично и волнующе, чем у Бальзака, у Бальзака более увлекательно, чем у Мопассана, у Мопассана совсем не целомудренно … А ведь был ещё и Золя. Но откуда берутся дети, Ляля не знала. В самом общем смысле ей это было известно, как известно каждому ребёнку, хоть раз вышедшему во двор: дети берутся “от этого” … Но речь шла о детях вообще, *других* детях, не о Ляле, её родители “этим” заниматься не могли. Душа ведь отвергает всё, что ей не нравится.

Но всё это не помешало Ляле стать знатоком человеческой натуры. “Маркиза пожертвовала честью ради виконта” означало, что ради любви маркиза стала нечестным человеком, Жюльен Сорель ночью проник к Матильде де Ла-Моль —

да разве важно зачем? Потому что у него страсть! Ляле было понятно главное: Жюльен Сорель испытывает к Матильде де Ла-Моль страсть, а к госпоже де Реналь любовь: страсть — это когда очень сильно хочешь быть с этим человеком, а любовь — это когда хочешь, чтобы этому человеку было хорошо. А разве имеет значение, что конкретно произошло между Верой и Марком в беседке на обрыве? Важно, что для Веры это перевернуло всю жизнь, а для Марка нет. Ирэн не любила Сомса, Анна Каренина не любила уши Каренина … Разве, читая обо всём этом, необходимо знать, что такое половой акт, сексуальная несовместимость, откуда берутся дети? Между Лялей и мной полвека, и всё это уже не я и не обо мне, а скорее о ней, но я помню: Ляля легко обходилась без этого знания, довольствуясь сюжетом и собственными переживаниями. Мир её состоял из букв и не пересекался с реальным миром.

Лялино детство было битвой за бестелесность, яростной борьбой с физиологией: как, как могло случиться, что люди ходят в туалет? Почему у человека уши? Почему уши так глупо прилеплены к голове? Почему человек сморкается, ведь это так некрасиво? А почему икает?.. Жизнь выглядела таким бесконечным круговоротом

противнейшей физиологии, что — как жить?.. Вот бы вообще не было тела, были бы одни глаза, чтобы ими читать!

Повзрослев, Ляля привыкла, что всё так устроено, но по-прежнему презрительно кривилась на жизнь тела, считала всё физиологическое и физическое отчасти стыдным, и уж точно второстепенным. Взять, к примеру, обед. Еда не существовала сама по себе, без книги. Удовольствие, конечно, доставляла, но только вместе с чтением. Ляля читала за кашей, за сырниками, за пюре и компотом, завтрак-обед-ужин были лишь поводом приникнуть к книге.

У еды и книг были тонкие взаимоотношения: “Три мушкетёра” примиряли с манной кашей, котлеты с пюре сочетались с Гончаровым лучше, чем с Гоголем, Тургенев вообще не читался за обедом, Бальзак подходил к любому обеду, в отличие от Гюго, а за компотом можно было и Незнайку почитать. Жареная картошка улучшала вкус любой книги. Почему Лялю не ругали, не бросались на неё с криком “за едой не читают”? Ну, очевидно, потому, что считали: за едой читают. Всё материальное не отвергалось, но признавалось второстепенным — без слов, без деклараций: просто так было.

И вот ещё что, Ляля никогда не видела чужого голого тела, никто из взрослых при ней не переодевался, не мылся, не спал. Это не было претензией на “аристократическое воспитание”, это вообще не было воспитанием. Лялина просторная квартира способствовала полному сокрытию жизни тел, читающих в этом пространстве. В однокомнатной, к примеру, квартире люди поневоле живут более откровенной телесной жизнью: невозможно удержать втайне, что человек моется, похрапывает во сне, а вот проснулся, зевнул, пошёл в туалет.

В однокомнатной квартире Ляля бывала у Ирки.

Ирка называлась “Лялина новая подруга”. Никто не знал, что Ирка была не подруга, а самое ценное в Лялиной жизни. Идеал. Загадка. Отгадка. Предмет зависти. Источник радости и восхищения. Центр эмоциональной жизни.

Почему идеал?

Начнём с того, что у Ирки была кофточка. Колючая нейлоновая кофточка с блёстками. Зелёная!.. Ляля, безусловно, жила в мире букв. Но не только, не только! Из мира букв она прекрасно замечала настоящую красоту! Колючую капроновую кофточку, которую Ирка один раз надела в школу,

прямо на школьную форму, сзади прозрачную, спереди всю в блёстках. Вся! В блёстках! Если захватить ткань двумя пальцами и потереть, она заскрипит. Ляле бы такую ни за что не купили — в блёстках! Блёстки — это пошлость, взрослая вещь на девочке — пошлость, нейлон-капрон — пошлость.

…Откуда же взяться такому чуду? Очень просто: Ирка с гордостью сказала Ляле “мой папа ходит в загранку. Он плавает, понимаешь?” Ляля поняла, она же не дура: “плавает” означало не то, что её папа хороший пловец, а что он поплыл в чужие края и оттуда привёз Ирке чужеземное чудо, кофточку.

И лакированные туфли!

Туфли Ляле тоже хотелось потрогать, ощутить скользкий блеск. Всё Иркино вообще было такое откровенно телесное, что только держись! Скользкие туфли. Колючая кофточка. Колготки будто резиновые, они не собирались гармошкой на щиколотках. Серёжки, золотые шарики, как солнышки. Девочки в те времена не носили серёжки, это была редкость и даже некоторый вызов. Всё чуждое, таящее непривычные ощущения, — скользит, блестит, колется. А у Ляли всё — кофточка, рейтузы — было мягкое, скучное,

тёплое, “чтоб не продуло”.

Ирка, когда в первый раз пришла к Ляле в гости, сказала: “Вы богатые, профессора, а тебя так плохо одевают. Почему у вас в серванте книги? Профессора, а хрусталя нет!” Ляле стало неловко, стыдно, что у них в буфете вместо хрусталя книги. Десять лет — такой возраст, когда чужое кажется лучше, чем своё, и от чужого захватывает дух.

Почему Ляля была очарована Иркой, понятно, но почему Ирка выбрала Лялю?

У Ирки был острый взгляд, а у Ляли острый язык. Ирка не стеснялась замечать физиологическое, неприличное: от соседки по парте пахнет потом, у англичанки волосатые ноги, у математички усы, которые она обесцвечивает перекисью … Ляля про себя ужасалась, а вслух немедленно давала волосатой англичанке или усатой математичке смешное прозвище. Ирка смеялась, Ляля чувствовала себе счастливой, плохой и счастливой.

Дружба эта не слишком нравилась Лялиной маме. Ляля была счастлива познакомить родителей с Иркой, как бывает счастлив человек, представивший родителям свою истинную любовь. Она называла Ирку “старый нос”. Смешное выражение, которое означало преждевременную

взрослость. Ирка действительно держалась с Лялиной мамой как равная, веско говорила о жизненно важных вещах (как тратить деньги, как вести себя в семейной жизни). Но мама сказала: “Ты при этой девочке становишься какой-то чужой … мне кажется, вы не станете подругами на всю жизнь”. Ляля обиделась и отдалилась: неприятно, когда родные заметили твою счастливую подобострастность в отношениях с любимым человеком, обидно, когда так уверенно сообщают, что “это не навсегда”. Однако запретить Ирку не было повода, да и манеры запрещать в семье не было. Человек познаёт мир в одиночестве, и Ляля начала познавать мир одна, без мамы.

Ляля стала бывать у Ирки. Там всё было — другое. Лялю дома никогда не обнимали, и целовали раз в год, на день рождения, а Иркина мама Ирку обнимала, гладила по голове, щипала, тискала, она даже Лялю обнимала и однажды в шутку шлёпнула. В этом мире любовь была любовью, шлепок шлепком, борщ был борщом, а у Ляли дома даже борщ был книгами. У Ляли дома никто не имел тела, а здесь все, не стесняясь, имели тела. Иркина мама при первом же знакомстве посреди разговора задрала юбку и подтянула чулки. У неё были красивые ноги, очень красивые и очень

ноги. Ляля вида не подала, но внутренне ахнула, она была потрясена. Это было более сильное впечатление, чем Золя.

Иркина мама была яркая блондинка, вернее, Ляля думала, что она блондинка, но я-то помню чёрные корни её волос. Прозрачные глаза. Я бы сказала, очень откровенные глаза. Сейчас я вижу молодую женщину с большим физическим обаянием, безудержно испускающую сексуальные флюиды. А Ляля хотела увидеть “маму”, но как-то не получалось. Я думаю, что Иркиной маме было тогда года тридцать два, даже по тем временам юная женщина. И Ирка со своей мамой были уже в одной команде. Отец подолгу отсутствовал, и мать и дочь жили как две подружки, в доме непрерывно шла женская жизнь, с женскими разговорами, сплетнями о соседях, учительницах, одноклассниках, мужчинах, болтовнёй о тряпках, кто во что одет, кто как живёт. Ляля страстно хотела к ним присоединиться, стать в этом женском мире третьей, своей — и ура! — её приняли! С ней разговаривали не как с ребёнком, прочитавшим тонны книг, а как с настоящей взрослой: Иркина мама щедро включила её в этот бесконечный трёп о мужчинах, ценах, тряпках.

Ну и Ляля, в свою очередь, знала кое-что, чего

не знали Ирка и её мама: когда надоедало обсуждать знакомых, Ляля пересказывала им романы, например “Сагу о Форсайтах”. Забавно, что Иркина мама из пересказов понимала куда больше, чем сама рассказчица, к примеру, могла сказать: “Вот сучка эта Ирэн, она, видите ли, не хотела с ним спать. Женщина всегда может себя заставить переспать с кем надо”. Ляля испуганно и восторженно задохнулась от этой откровенности. И ещё Иркина мама делала девочкам причёски, разрешала примерять свои платья и туфли на шпильках, красила им губы помадой и обсуждала всё, что обсуждать “нельзя”.

За несколько дней до приезда Иркиного отца началась нервная суета: в женскую жизнь вот-вот должно было ворваться чуждое, волнующее и отчасти враждебное, что нужно с честью пережить. Иркина мама закрашивала чёрные корни, решала, что готовить, что надеть, и говорила непонятное: “Из-за того, что мы редко видимся, я ему не надоела, он набрасывается на меня как бешеный …” Втроём они вытащили из-под кровати тяжёлую ширму, она ставилась только на время приезда Иркиного отца и закрывала от взглядов двуспальную кровать. У Ляли это вызывало какое-то беспокойное смущение. И сама

ширма, и весёлое подмигивание Иркиной мамы будили мысли о “запретной стороне жизни” куда сильней, чем Мопассан и Золя вместе взятые.

И всё-таки, хоть Ляля очень ярко переживала дружбу с Иркой и её мамой, но её личная жизнь никуда не делась. А Лялина личная жизнь, как мы уже поняли, была чтением, и пока Ирка готовилась к приезду отца, Ляля прочитала “Лолиту”. Да-да, именно.

Откуда же в Ленинграде в 1970 году, в те, как говорил Набоков, “тяжкие неандертальские времена”, в Лялиных жадных до книг десятилетних лапках оказался этот серо-зелёный том? На обложке “Лолита”, “перевёл с английского автор”, внизу строчка: “Phaedra Publishers, New York. N.Y.”. Не из районной же библиотеки?

“Лолиту” Ляля нашла в наволочке. Дома книги везде — в книжных шкафах, в платяном шкафу, буфете, даже в кладовке. Вот в кладовку Ляля и забрела и, встав на табуретку, потащила что-то с верхней полки — и оттуда на неё свалилась наволочка. А в наволочке “Лолита” и “Доктор Живаго”. Она, конечно, не знала, что “Лолита” и “Доктор Живаго” в один год боролись за Нобелевскую премию и победил “Доктор Живаго”, а для Ляли победила “Лолита”. Ей вообще больше

нравились книги с женскими названиями (“Госпожа Бовари” поначалу привлекала её больше, чем “Красное и чёрное”, хотя при чтении вышло наоборот). Ляля не знала, что книги могут быть “запрещённые”, но интуиция подсказала ей — лучше прочитать эту книгу прямо здесь, стоя на табуретке в полутьме кладовки.

Набоков, безусловно, не одобрил бы. Выхватил бы серо-зелёный том из Лялиных рук, спихнул с табуретки — ведь его собственному сыну не позволялось в двенадцать лет читать даже “Приключения Тома Сойера” — эта книга, по мнению Набокова, вызывает интерес к девочкам. …И он был прав: интерес Тома Сойера к Бекки взволновал Лялю значительно больше, чем интерес Гумберта к Лолите. “Том Сойер” был про неё, про то, как одноклассник, желая проявить свою симпатию, обстрелял её жеваной промокашкой. А вот “Лолита” — нет, не про неё, Ляле “это было рано”.

Что-то хранит человека от горького ненужного знания: стоя на табуретке в кладовке, помахивая поочерёдно то одной, то другой затёкшей ногой, быстро бегая глазами по строчкам, Ляля восприняла “Лолиту” исключительно как сюжет: для неё это было — про девочку, которую почему-то полюбил взрослый мужчина, они путешествова-

ли, девочка сбежала и затем умерла … Смерть в финале, по Лялиному мнению, была сутью и моралью истории, а всё остальное непостижимым образом прошло мимо её сознания.

Родители всё же догадались, что Ляля прочитала Лолиту, должно быть, она забыла засунуть книгу обратно в наволочку. Мама сказала смущённо: “тебе не стоило читать, но ты же поняла, о чём книга? О том, что порок приводит к трагедии”. Ляля кивнула. В этот момент она легально читала “Граф Монте-Кристо”, вот это была всем книгам книга, а “Лолита” уже почти стёрлась из памяти.

…Акции Ляли как дочки “профессоров” в Иркином доме были вполне высоки, Иркина мама ею даже в какой-то степени гордилась, и Ляля во время приезда Иркиного отца однажды была допущена в дом.

И там!.. Иркин папа.

Ляля никогда не видела таких отцов. Отец — это же, ну … папа! Он должен быть умней всех на свете, уметь решить любую задачу, ответить на любой вопрос. Но Иркин был вовсе не “папа”, он был мужчина, опасный человек мужского рода. Тело было в нём главное, тело, а не ум. Всё время он то выпивал, то ел, то курил. Ляле показалось,

что он постоянно смотрит по сторонам, ищет, что ещё можно употребить, как будто ему принадлежит весь мир. Наверное, из-за таких его мужских-плотских интересов Ляля решила, что он и на неё смотрит, словно прикидывает, можно ли её съесть, выпить, выкурить.

Вот тут-то ей и вспомнилась “Лолита” — а вдруг, вдруг, вдруг он, как Гумберт, хочет её украсть, увезти, и потом она умрёт?.. Она вспомнила, что бывают девочки особенные, привлекательные, они называются нимфетки. Наверное, они с Иркой нимфетки! Дома Ляля придирчиво разглядела себя в зеркало — да, точно, она нимфетка! В зеркале отражался сутуловатый очкарик в спущенных колготках характерного ленинградского бледно-голубого цвета.

Иркин отец был, скорее всего, добрый простодушный парень, Лялю если и заметил, то смотрел на неё без всякого подтекста. Он же не виноват, что Ляля прочитала “Лолиту”, что они с Иркиной мамой стали в её книжной жизни первыми мужчиной и женщиной, Адамом и Евой …

После короткого визита Иркин отец снова ушёл в плавание. Взбаламученный мужским набегом дом облегчённо вздохнул, в нём завелась уютная женская жизнь в тот же момент, как за мужчиной

хлопнула дверь. Ширма была убрана под кровать, Иркина мама провела несколько дней нечёсаной в халате и ночной рубашке, ничего не готовила, отдыхала от обслуживания мужа, а “Лолита” для Ляли опять превратилась в буквы.

Лялино счастье длилось недолго. Следующие полгода стали самым страшным её мучением: Ирка приблизила к себе другую девочку, и они стали дружить втроём. Но на самом деле это только так называлось “дружить втроём”.

На переменах ходили вместе, но стоило Ляле расслабиться и решить — всё хорошо, пусть они будут втроём, как Ирка начинала разговаривать только с той, Другой, а Ляля была как будто ненужная. Они шептались! Ляля изображала равнодушие, но попробуй выглядеть равнодушной, когда тебя колют прямо в сердце. Ирка демонстративно уходила с Другой посреди общего разговора … Говорила “после уроков все пойдём ко мне”, и Ляля ждала-ждала их у выхода, а они, оказывается, уже ушли — без неё! На следующий день Ирка сказала, что Другая — дура, Ляля прямо в небо унеслась от счастья.

Каждый день был полон волнений и страстей. Ляля никогда не знала, дружат с ней сегодня или нет. На первой перемене они с Иркой, как пра-

вило, были вместе, а на второй перемене — Ирка проходила мимо, Ляля оставалась одна, и Бальзак, Мопассан, Золя, Дюма и Тургенев не могли помочь ей, научить, что делать.

Если бы Ирка просто перестала дружить, выбрала Другую, рассталась с Лялей навсегда, можно было бы погоревать и смириться. Выход был понятен — отсечь, покончить с Иркой в душе, как Атос в душе покончил с миледи, как брошенный любовник у Бальзака покидал Париж, чтобы окончить свои дни в провинции … Но Ирка, не прочитавшая в своей жизни ничего сложней учебника для начальной школы, от природы была мастером интриги, вела себя как искусный соблазнитель — то приближала, то удаляла, никогда не отпуская совсем. Не разговаривала с Лялей по несколько часов или дней, но не давала уйти. Как только Ляля в отчаянии решала — всё кончено, она теперь одна в этом мире, Ирка натягивала поводок: бросалась к ней в раздевалке и как ни в чём не бывало начинала смеяться, сплетничать, тащила в гости.

Сейчас сказали бы, что у Ирки с Лялей были токсичные отношения, а тогда это называлось просто: Лялина любовь и Лялина ревность. Это были настоящие взрослые мучения любви —

восхищение, сомнения, предательство, измена, отчаяние, принятие.

И была главная причина терпеть унижения: Иркина мама. Перестать дружить с Иркой означало расстаться с Иркиной мамой. Расстаться с уютным женским миром, принявшим её в свои ряды, а это было выше Лялиных сил.

…Но однажды мучения закончились. Другая перешла в другую школу, испарилась, улетучилась, в общем, её не стало совсем. Ирка призвала Лялю к себе, и они были счастливы, то есть Ляля была очень счастлива.

Однажды Иркина мама предложила Ляле пойти с ними в баню. “У профессоров, небось, горячую воду не отключают?” — пошутила Иркина мама, и Ляля понимающе улыбнулась. Дома горячую воду не отключали, потому что у них был водогрей, нужно было чиркать спичкой, включать газ, чтобы пошла горячая вода. Ляле хотелось быть с ними повсюду, в бане тоже, и она кивнула — конечно, да! …Баня, ох, баня! Это был первый Лялин поход в баню.

Ляле и Ирке выдали большие тазы, они назывались шайки. Они гуськом продвигались по отделению, вокруг жаркий пар, уводящий сознание в сторону, воздух густой и нереальный. Ляля

несла свою шайку, прикрывая себя, чтобы никто её не увидел, старалась не смотреть вокруг, и всё равно глаза сами смотрели — на скамейках стоят шайки, у каждой шайки женщина, женщины голые, женщины, женщины … Ляля, никогда не видевшая голых тел, убедилась в своей неприязни: тело неприемлемо. Если бы Ляля была богом, она ни за что не поместила бы души в такие некрасивые тела. И вдруг!.. Ляля замерла.

На скамейке стояло большое корыто овальной формы, в корыте на коленях фигура, вся в облаке мыльной пены. Из мыльной пены торчало что-то голое, длинное, розовое, что-то непонятное, неуместное, какая-то палка! Как палка прикреплена к телу под пеной? Ляля никогда этого не видела, но поняла: то, что жизнерадостно и победительно торчит из облака мыльной пены, не должно быть здесь, в женской бане, это здесь совершенно не органично, противоречит самому месту и идее.

— Ух ты, как у взрослого, — заметила Иркина мама. Она имела в виду, что в женское отделение разрешалось брать с собой детей, в том числе мальчиков.

Мама Ляли, оказавшись на её месте, прошла бы как мимо неживой природы, но не такова была

Иркина мама — она посмеялась над Лялиным ошеломлением.

— Обычный член, что такого …

Это слово было уродливо, и Лялю стошнило прямо в шайку.

На обратном пути шли и смеялись.

— Нужно было дёрнуть за этот член в шайке, — произнесла Ирка.

— Член в шайке, член шайки, — сказала Ляля, и все трое стали весело повторять “член шайки, каждый мужчина — член шайки”.

— Ляля лучше, чем была эта твоя, — Иркина мама назвала имя Другой.

Ирка согласно кивнула: да, Ляля лучше.

Это был чудесный день. Ляля была счастлива, как бывает счастлив человек, переживший потрясение (она была в бане), избежавший опасности (она больше не в бане), она лучше Другой.

На следующий день счастливая Ляля шла в школу, это было два счастья разом: ощущение счастья — Ирка вчера была с ней и предвкушение счастья — Ирка сегодня будет с ней. На перемене Ирка к ней подошла, стала шептать, посмеиваясь: мол, то, что торчало из мыльной пены, играет главную роль в любви; получалось, что Жюльен

Сорель, госпожа Бовари, маркиза с виконтом, граф Монте-Кристо, всё это было для того, чтобы засунуть кусочек одного человека в другого человека … и даже Незнайка, не будь он коротышкой, стремился бы к тому же … это уж слишком!

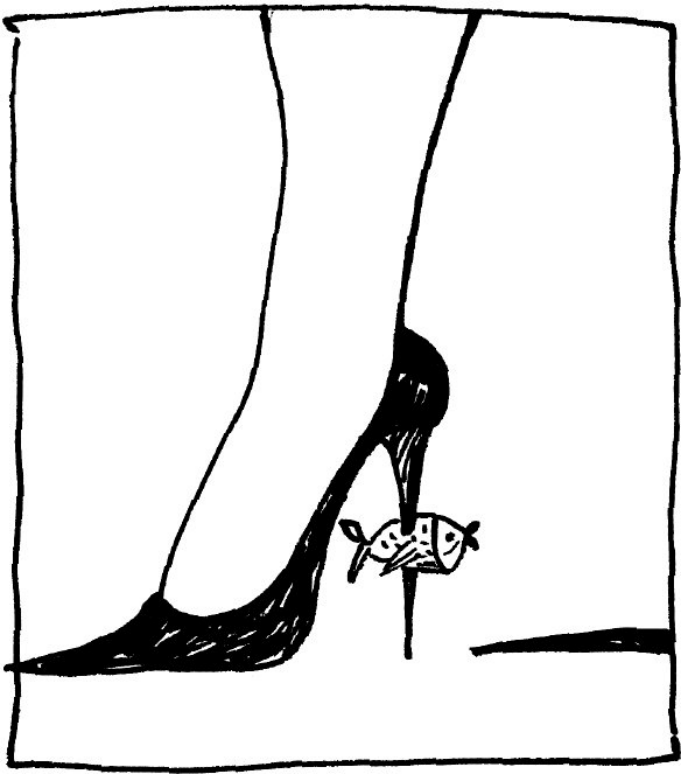
Ляля так и сказала: “Это уж слишком! У меня с тобой всё!” Так и сказала, как будто это была любовь, а не дружба. Дружбу нельзя прекратить, а любовь можно, от дружбы нельзя освободиться, а от любви — пожалуйста.

Ух, какую Ляля почувствовала летящую свободу!

Только что казалось, что мир такой маленький, в одном человеке, — а мир большой. Это было Ляле хорошо известно из книг: так всегда бывает, когда излечиваешься от любви.

Алексей Федорченко

Населённые пункты



Чебоксары. Конкурс

Комар сел на твой сосок. Вонзил глубоко хоботок, стал рубиновым. Я не фотограф, но за этот снимок получил диплом лауреата республиканского конкурса “Мира не узнаешь, не зная края своего!”.

Туапсе. Планы

В “Нефтяник Сибири” не удалось достать путёвки, мы поехали в санаторий имени 1 Мая.

Ты сказала:

— Я запланировала: здесь будет зачат наш ребёнок.

Красноярск. География

Я сказал:

— Голубая жилка под кожей твоей груди точно карта Енисея. Появляется из ямки под правой ключицей, вбирает сосудики Тунгусок — Нижней и Подкаменной, а твоя Ангара заканчивается соском Байкала. Родинки — Красноярск, Игарка, Абакан. Белый шрамик — Саяногорск.

Ты сказала:

— Я знаю, мне уже говорили.

Асуан. На верхней палубе

Тыльной стороной ладони потрогал твоё лицо (ветер со стороны пустыни) — холодное. Ночь,

февраль, качели скрипят очень.

Сказал:

— Тебя зовут Патрисия, значит, будем пить кальвадос.

Ты сказала:

— У реки русское имя — Нил, значит, будем пить водку.

Котбус. Царапины

Ты сказала:

— Раньше в Германии жили славяне — полабские сербы. Бранденбург — это Бранибор, Лейпциг — Липск, Дрезден — Дрежджаны, Берлин — Медвежий город. Отсюда в древности славяне расселились и на Балканы, и на Русь. Лужица на берегах Шпрее — последний осколок древней Полабской Сербии. В Верхней Лужице живут мильчане, гломачи и нишане, а в Нижней Лужице — лужичане и нижичане.

Вот наш гимн на верхнелужицком языке:

Rjana Łužica,
sprawna, přećelna,
mojich serbskich wótcow kraj,
mojich zbóžnych sonow raj,
swjate su mi twoje hona!

Časo přichodny,
zakćěj radostny!
Ow, zo bychu z twojeho
klina wušli mužojo,
hódni wěčnoh wopomnjeća!

А вот так поётся на нижнелужицком:

Rědna Łužyca,
spšawna, pśijazna,
mojich serbskich woścow kraj,
mojich glucnych myslow raj,
swěte su mě twoje strony.

Cas ty pśichodny,
zakwiś radostny!
Och, gab muže stanuli,
za swoj narod źěłali,
godne nimjer wobspomnjeśa!

А по-русски будет примерно так:

Родная Лужица
чиста и красива,
моих сербских предков край,
моих снов волшебных рай,

святы твои просторы!

Время придёт —
возликует народ!
О! Из лона твоего
выйдет настоящий герой,
достойный вечной славы!

Я сказал:

— Потихоньку! Ты царапаешь сильно мне спину.

Сингапур. Мертвецы

Ты сказала:

— Брось ножницы! Никогда не стриги ногти после полуночи, а то придут мертвецы, которых ты не любил при их жизни!

Франкфурт-на-Майне. Кровосмешение

Иглой циркуля мы выцарапали на запястьях, ты — “А”, я — “Н”. Соединили-прижали кровоточащие буквы, испачкали кровью твой белый фартук. Не пошли на химию и целовались в школьной раздевалке …

Через двадцать лет в торговом центре “Peek & Cloppenburg” я увидел тебя на встречном эскалаторе. Ты узнала, крикнула:

— Я стала маркизой! Мои дети — потомки Каролингов!

Хайфа. Большая медицинская энциклопедия

Целый шкаф моей библиотеки занимает “Большая медицинская энциклопедия”. Пятьдесят четыре тома. Пятьдесят две книги серо-зелёного цвета — издания 1976 года. И только два первых тома “старого” издания — 1956 года. Том первый: “А — Ангеофиброма”, том второй: “Ангеохолит — Аюрведа”.

А раньше все тома были как эти два — коричневые с золотым парадным тиснением. Твои родители тоже были врачами, в начале восьмидесятых им запретили вывозить в эмиграцию “новую” медицинскую энциклопедию. А издание 1956 года вывозить разрешалось. Ты часто бывала у меня в гостях, мы вместе изучали по богатым цветным иллюстрациям энциклопедии тайное строение мужчин и женщин. Ты предложила поменяться книгами. Но в вашем издании почему-то не оказалось первых двух томов …

Через четыре года твой арабский друг приревновал тебя к своему старшему брату и зарезал. И всю твою семью: родителей-врачей, брата, дедушку. Только бабушка осталась жива: она в тот день лежала в больнице.

Градижск. Стрела

Вложил тяжёлую стрелу в тетиву лука. Наконечник — залитый свинцом острый конус из жести консервной банки из-под болгарского зелёного горошка. Мне девять лет, и я хочу убить Кременчугское море.

Когда здесь родился мой папа, не было ещё ГЭС, не было моря, а под самой горой текла река Гырман, берущая начало в приднепровских болотах. Навстречу ей бежала небольшая речка Мыкилка. Около Градижска они сливались в спокойное русло Ковтёбы, забирали в себя воды Быстрика, Кагамлычка и Вырвихвиста и вливались в Днепр. Между Гырманом и Днепром — знаменитые градижские плавни с сенокосными лугами. А ещё — богатые рыбой и дичью озёра: Ропа, Сулинка, Сметанное, Солёное, Дубовое, Плоское. Плавни перерезала речка Солоница, а чуть дальше с Днепром сливалось его старое русло Старик. И над этой красотой — самая высокая гора днепровского Левобережья, Пывыха, покрытая дубравами и церквями.

Искусственное море затопило долину, сточило белую песчаную гору. Несколько раз в год от Пывыхи, как от айсберга, откалываются пласты размером с десятиэтажный дом. Они падают-рас-

сыпаются в пыль и растворяются в густо-зелёной от цветущих водорослей воде.

Стою на краешке стометрового обрыва — на камнях последнего фундамента Пивогорского Пустынно-Николаевского монастыря. Всё остальное уже далеко внизу, под водой и на границе белого песка и зелёной воды, там, где мой старший брат ищет старинные монеты среди осколков черепов, кирпичей и каменных крестов исчезнувшего монастырского кладбища.

Поднял лук сильно выше горизонта, почти вверх. Море съело реки и кости моих предков — я натянул и отпустил тетиву.

Тяжёлая стрела вонзилась глубоко в песок берега, сильно оцарапав ногу брата. Тридцать сантиметров левее — стрела попала бы ему в голову.

Бангкок. Видеокамера

Всё твоё тело и лицо покрыто гроздьями огромных голубоватых бородавок на высоких ножках, не человек — ягода ежевики. На большом оптовом рынке ты просишь милостыню. Не просишь — рядом с тобой дощечка, на которой ты выкладываешь узор из мелких монеток.

Я навёл на тебя видеокамеру-мыльницу. Ты посмотрела в объектив красивыми большими

глазами, улыбнулась страшным ртом — камера отключилась. Я отвёл камеру в сторону — она заработала. Подождал, когда ты отвернёшься, незаметно опять навёл камеру на тебя. Ты пристально посмотрела мне в глаза — камера отключилась. Уже не улыбаясь, ты покачала головой: “не надо!”. Я извинился, положил на дощечку купюру, поскорее ушёл. А камера больше никогда не включилась. Может, и совпадение, но я так не думаю.

Бордо. Рыбка

Ты проходишь мимо в парадной форме Аквитанской мореходной школы имени святого Эльма. На тонкой шпильке твоей туфельки, как на дротике водяного ружья, нанизана маленькая мёртвая рыбка. Не заметила, пронзила и унесла на каблучке моё сердце.

Ужгород. Мёртвая голова

Узкая полоска тела между трусиками и кружевной резинкой чулка. Бархатный бражник с черепом на спинке трогает лапками золотые волоски на коже твоего бедра — картинка из чешского модного журнала, приклеенная чёрной изолентой к стояку в ванной комнате моей тёти. Мой первый неловкий опыт вожделения.

Лейпциг. Шрам

На стенах — старинные портреты твоих предков. Один холст распорот: на лице грустного бюргера разрез от правого глаза до подбородка.

Я сказал:

— Можно ведь отреставрировать, не видно даже будет.

Ты сказала:

— Наша семья жила в Кёнигсберге. Пришли советские войска, и пожилой солдат штыком проткнул меня, а потом этот портрет. Конечно, мы никогда уже не вернёмся в родной город, но и реставрировать картину я не буду. Мои правнуки увидят шрам, спросят, я тогда расскажу им, кто был их прадедом, а починю портрет — никто и не спросит, не узнает …

Кременчуг. Проклятие

Осенью 1916 года ты увела из-под венца юного инженер-кондуктора. Тётка невесты прокляла вас. Твоё прекрасное лицо распухло, стало похоже на кусок перезревшего теста. На четвёртое утро опухоль исчезла, твои глаза снова открылись, и ты увидела в зеркале женщину, совсем непохожую на тебя. Прежнее лицо не вернулось никогда. Инженер-кондуктор заболел и сгорел в скоротечной чахотке. Через три года ты вышла

замуж за героя-унтера, вернувшегося с войны. Вы родили пятерых детей, пятым был мой отец.

Асуан. Коран в молоке

Ты сказала:

— Убирайся, утка! Грязная птица! Глупая тварь! Вот петух тебя заклюет! Вот верблюд тебя затопчет! Нет, утка, радуйся, не затопчет: потерялся верблюд! Ой, опять в Судан уйдёт — для верблюда нет границ! Ой, искать надо дурака, а когда мне искать? Рожает Фотьма! Позовите, люди, кузнеца, пусть назовёт имя ребёнка! Пусть напишет сладкой краской на узкой дощечке нежную суру Корана, пусть смоет молоком буквы, даст Фотьме священное снадобье! И-и! Играйте на имзаде! Игра на имзаде укрепляет асшак! И-и! Пойте все, играйте на имзаде, бейте в бендир! Всё, что хорошо для людей, и есть асшак! Имя ребёнка будет Бахт — счастье! И-и! Пошла, дура, прочь!

Тбилиси. Святой Давид

Ты забеременела. Поклоняющиеся огню дали денег, чтобы своим соблазнителем ты назвала отшельника Давида Иверийского. Давид коснулся тебя посохом и сказал, что твои слова — ложь и все это увидят, когда ты разродишься. Ты родила не младенца, а камень. Камень этот положили

в фундамент новой церкви. Сейчас её называют Кашуэти — “родить камень”. Адрес церкви — проспект Руставели, дом 6, напротив Дома Правительства. Преподобный Давид почитается женщинами как главный помощник в чадородии. А тебя толпа побила камнями.

Милан. Курица

Ты сказала:

— Я — змея, каучук, но в тот раз работала “воздух”. Проспала — в такси уже переоделась-накрасилась. Таксист на дорогу и не смотрел, в зеркало только. В ДК вбежала — уже моя музыка! Милый Клоун-Илюша меня, как всегда, спасает — шутит, паузу заполняет. Сразу на трапецию, раскрутилась, трапеция оборвалась — я в яму упала. В яме — итальянские музыканты. Мне-то ничего, я как кошка, только пяточную кость сломала, через два дня уже гипс срезала в ванной, а тромбонисту мундштуком все передние зубы выбило и щёку до левого уха разорвало …

Он, Джемельяно, музыку оставил, в политику пошёл, теперь зампредседателя регионального отделения “Лиги Севера”. Я ему помогаю и дома, и по партии: вместе боремся за отделение северных провинций и образование независимой Падании со столицей в Милане. Муж и все здесь называют

меня Габриэлла, потому что “Галина” по-итальянски — “курица”. А Илюша стал администратором в иркутском цирке, больше не шутит: любил меня очень.

Мюнхен. Ой

Ты сказала:

— Майн Гот, их пляце!

Я сказал:

— Что значит “Майн Гот, их пляце”?

Ты сказала:

— Это значит, что я лопаюсь.

Потом ты сказала:

— Ой.

Я сказал:

— Что значит “Ой”?

Ты сказала:

— “Ой” — это значит — щетиной по клитору.

Рим. Пальцы

Ты сказала:

— Обидно. Почему у пальцев на руках есть имена, а на ногах — нет. Давай дадим им имена.

Я сказал:

— Мизинец похож на дольку чеснока. Будет — долька.

Ты сказала:

— Второй назовём безразличный: он никогда

ни на что не указывает.

Я сказал:

— Большой — как истукан с острова Пасхи. Пусть будет моаи.

Ты сказала:

— Четвёртый — безымянный, но мы назовём его твоим именем. Или лучше Цезарем Августом. А средний?

Я сказал:

— Средний — сладкий!

Ты сказала:

— Перестань, щекотно же!

Хургада. Тайна

Ты сказала:

— Плохо. В твоих глазах обида, ненависть, отчаяние, вожделение. Плохо, очень плохо, что ты узнал про нас с Джавадом, теперь ты всегда будешь ожидать от меня новой боли. Но ведь у каждой женщины должна быть своя арабская тайна.

Екатеринбург. Операция

Лежал голым на столе. Ты выбривала на моём животе грустную кривую трапецию.

Я сказал:

— Некрасиво.

Дали наркоз.

Очнулся на своей койке. Вокруг маленького шрама на животе выбрито большое сердце.

Григорий Служитель
“Реплика”



Если бы Кирилл мог посмотреть на Россию из стратосферы и отметить светящимися точками могилы всех своих предков, то получилось бы величественное и сложное созвездие. От Якутии до Смоленска, от Петрозаводска до Тамани рассеяны кости Лузиных, Судаковых, Брудеров, Кравчуков и Пронькиных. И сегодня одним огоньком в этом созвездии стало больше.

О том, что мама больна, до последней поры не догадывался ни он, ни брат, ни она сама. С того дня, как был объявлен диагноз, и до ночного сообщения от брата прошло всего три недели.

Несколько лет назад Кирилл с женой и малолетним сыном Петей переехал жить из Москвы в Берлин. За это время с матерью он виделся всего четыре раза (собственно, каждый август он возвращался с ребёнком в Москву. Лена не поладила со свекровью с самого начала и либо оставалась в Берлине, либо отправлялась к родным в Питер. Его брат Лёша был холост и жил с мамой). В доме всё было по-прежнему. Кирилла умиротворял сложившийся за долгие годы вещественный порядок. Алгоритм постукиваний и ударов лифта по пути на седьмой этаж, скрип дверной решётки, ведущей к квартире. Запах нафталина в коридоре. Обгоняющие друг друга отметки роста на

стене шкафа. Его и брата. Сигаретница в виде терема на книжной полке и неизменный отрывной календарь справа от двери в кухню. Этот мир был устойчив и неподвижен. Казалось, тяжестью всех своих предметов он как бы придерживает ход времени и отдаляет неизбежный финал. Может быть, так оно и было.

— А вам там не врут по телеку? — кричала мама из кухни, превозмогая кашель. Кирилл, прижав линейку к голове сына, делал маркером пометку на шкафу.

— Сто семь с половиной. Вымахал, — сказал Кирилл сыну и ответил громко матери: — Мам, я вообще не смотрю телевизор.

— Тогда тем более откуда ты знаешь, кто врёт, а кто нет?

— Мам, я тебя прошу, давай не будем продолжать.

— Тогда не надо наших голословно обвинять.

Петя вернулся с сыном на кухню.

— Ты с внуком раз в год видишься. У нас что, нет более интересных тем для разговора?

— Есть. Я с Петечкой и так два часа мультики смотрела. Правда, Петечка?

— Плавда, ба, — флегматично ответил Петя, катая любимого динозавра верхом на пластмас-

совой карете скорой помощи.

— Просто это мода у вас такая родную страну с грязью мешать. Ты-то ладно ещё …

— Ма-а-а-а-ам. Лену не надо только приплетать.

— Это её влияние. Она та ещё русофобка.

— Ну какая она русофобка. Ну что ты ерунду говоришь?

— Ты только поскандалить ко мне приезжаешь, да?

— Ты же сама меня провоцируешь. В Германии вообще до вас всех никому дела нет. У них своих проблем по горло. Почему у вас тут такое чувство, что на вас весь свет клином сошёлся?

— О, вот это *вас*. Ещё скажи *эта* страна, ну скажи!

— Да блин. Зачем ты это делаешь?

— А Петюню вы тоже всему этому учите?

— Да чему *этому*?

— Ему хоть девочки нравятся?

— Ма-а-а-ам, ему четыре года! Ты в своём уме?!

— Я просто хочу, чтобы у меня внук вырос нормальным.

— Да вам тут мозги поласкают по ящику 24 часа в сутки. Мам, у тебя высшее образование, почему ты себя так не уважаешь, а? У вас полстраны по

помойкам побирается. Вы живёте в нищете, вас дурят …

— У *нас*! Уже у *нас*! Да? А вас там не дурят? Впустили пять миллионов мигрантов. Они перережут вас всех.

— Я, если уж на то пошло, тоже мигрант.

— И, — тихо сказал Лёша.

— Что “и”? — спросил Кирилл.

— Ты иммигрант, — закуривая сигарету, ответил Лёша. — Мигрант — это общее определение. Эмигрант — выезжающий из страны. Иммигрант — въезжающий в страну, — заключил он, помахивая затухающей спичкой.

— Мы Европе ничего не должны. Мы веками оберегали их от варваров. Мы ни пяди чужой земли себе не забирали …

— Ага. Полякам и прибалтам это расскажи.

— Вот не надо тут.

— Ладно, хватит вам, правда, — сказал Лёша.

Лёша был старше Кирилла на два года, и внешне они были очень похожи. Когда Кирилл рассматривал редкие фотографии брата в соцсетях или виделся с ним вживую, то чувствовал и жалость, и брезгливость. Он как бы узнавал в брате себя, каким бы мог стать, сложись его характер и обстоятельства жизни иначе. Но Лёша

преждевременно поседел, зачем-то отпустил бороду. Глаза Лёши смотрели на мир бесстрастно, равнодушно, ничего не ожидая и ничего не требуя. Лёша нигде не работал, тянул через годы необязательные отношения с какой-то подругой школьных времён и был заядлым геймером. И так немногословный, с годами он становился всё тише. Иногда собирал модели кораблей и уже не мог представить свою жизнь без матери. Кирилл смотрел на брата и думал о том, что такое старение, и о том, какая же всё-таки это несправедливость — треть жизни бояться неминуемой старости и две трети жизни мучиться от старости. Когда-то давно на уроке биологии он услышал фразу учительницы и запомнил её на долгие годы: старение, — растущая гипертрофия клеточной протоплазмы. Компактное и бессмысленное определение, за которым кроется столько безнадёжного ужаса. Он смотрел в зеркало и мысленно снимал с себя кожу, оставался с обнажёнными жилами, венами и артериями, словно экорше в художественном классе. Всё эта масса аминокислот, углеводов, белка, костей. Калейдоскоп веществ и химических элементов: кремний, магний, золото, рубидий. Если природа так умна, то как за все эти миллиарды лет она не смогла

решить самую важную задачу — хотя бы из жалости к себе самой, к собственному труду задержать время? Почему из удобной лёгкой одежды тело превращается в тюремную клетку и больше не приносит ни радости, ни пользы, а только стонет и ноет, всё больше разрушаясь год от года?

— Это не я начал.

— Какая разница кто. Просто не ведись на это.

Мама закашляла.

— И вообще, мам, бросай курить уже. Кашляешь весь день. Или на электронные переходи.

Петя сделал динозавром вираж и аккуратно приземлил его прямо в Лёшину кружку с чаем.

— Прости, Лёш, — извинился за сына Кирилл.

— Да ничего. Пусть погреется в чайке.

Кирилл смотрел на маму. На то, как она держит сигарету, подперев локоть другой рукой. На то, как вытяжка всасывает в себя дым. На то, как солнце опускается за окном прямо на Останкинскую башню. И он всё ждал, когда солнце наконец напорется на острый пик и лопнет навсегда. В тот вечер они ещё несколько раз были на грани ссоры. Но Кирилл вовремя себя останавливал и против воли соглашался с матерью. Лёша был всё так же молчалив. Уложив ногу на ногу и скрестив руки на груди, он смотрел то на Кирилла, то на

маму, думал о чём-то своём и заваривал одну кружку чая за другой. Кирилла это раздражало. Лёша напоминал ему какого-нибудь студента-радикала из романов Достоевского, чьи безумные идеи настояны на крепком чае. Ему надоело говорить с матерью о политике, но он догадывался, что эти споры скрывают гораздо более глубокий разлом. Их семьи больше нет, и теперь её тень хранится только в фотоальбомах, в их неверной памяти и между стеблями фантастических цветков на обоях в маминой комнате.

В этот вечер он в последний раз виделся с матерью. Ещё раз на повышенных тонах обсудив Евросоюз и Америку, они обнялись и мама завернула ему с собой кусок яблочного пирога. Потом Кирилл с сыном уехали в Питер к Лене, а оттуда они вернулись в Берлин.

Кирилл работал в рекламном агентстве дизайнером. Недавно его повысили, и теперь он уже руководил целым отделом. Он хорошо зарабатывал, а по ночам тайно ото всех рисовал собственный мультфильм. С Леной он жил тринадцать лет. За этот срок они успели как бы много раз заново переродиться, внимательно изучить друг друга *новых*, привыкнуть к самим себе, игнорируя или, наоборот, приспосабливаясь

к миру вокруг. И как только начинало казаться, что их интерес друг к другу угасает, они как раз подходили к новой черте. И так их отношения обновлялись.

Прошло несколько недель. Было три часа ночи, Кирилл дорисовывал очередной кадр. Ему всё никак не давалась заячья лапка. Телефон прожужжал сообщением, писал брат: “Мама тяжело больна. Врачи говорят о неделях”. Он доработал кадр, сохранил проект, заглянул в фейсбук, потом в инстаграм, просмотрел новости, потом выключил компьютер и прочитал сообщение ещё раз. Зашёл в детскую и постоял над спящим сыном. Потом принял душ, разбудил жену и занялся с ней любовью. Утром он проснулся, физически ощущая груз ночной новости, которая за время сна прибавила тысячу тонн. Он набрал брату, но тот был сильно пьян, хотя обычно почти не притрагивался к алкоголю. Единственное, что он успел понять, так это то, что дела совсем плохи. Шансы ничтожны. Врачи не советуют что-либо делать. Слишком поздно. Толку не будет, только деньги зря потратите. Лена в ванной плакала. Маме он решил пока не звонить.

Он стал проговаривать про себя самые страшные сообщения. Он стал представлять, где, за

каким занятием и в какое время суток он услышит худшее. Он программировал свою реакцию и выбирал бар, в который решит отправиться. Он старался оглядеть ситуацию отрешённо, он вспоминал знаменитостей, или героев войны, или литературных персонажей, знакомых, ушедших из жизни совсем рано. Он пытался себя утешить тем, что шестьдесят три — это всё-таки солидный возраст. Он снова перечислял в голове всех Лузиных, Судаковых, Брудеров и Пронькиных, размётанных от Тихого океана до Смоленска. Алтайские немцы, ростовские купцы, брянские крестьяне, архангельские староверы, украинцы, переселившиеся на Дальний Восток. Все эти бесчисленные, накрепко с ним связанные, но в то же время совершенно чужие и неизвестные ему звенья цепи. Если это неизбежно, то не надо об этом думать. Но сознание неизбежности не вселяло в него уверенность, а, наоборот, забирало последние силы. Он думал, что длительная разлука должна была бы приучить его к расставанию навсегда: за последние годы они так редко виделись. Ведь свыкся же он с уходом отца. Отец был музыкантом, он играл на контрабасе. Перебивался случайными заработками, то уходил, то возвращался в какие-то оркестры. Он носил

очки на массивных цепочках, шейный платок с узором “битые огурцы”. По бокам рта глубокие морщины, как будто заключавшие лицо в скобки, отчего всё его выражение отдавало какой-то, что ли, условностью. Отец вообще казался каким-то выдуманным, ненастоящим. Он даже не мог вспомнить его голоса. В 2002-м он был среди заложников “Норд-Оста”. В ходе штурма, когда спецслужбы распылили в зрительном зале ядовитый газ, он едва не погиб. Но его успели спасти, воткнув в горло кислородную трубку. След от интубации он прикрывал платком всю оставшуюся жизнь. И вот уже десять лет, как он исчез, просто бесследно испарился. Кирилл и правда представлял, что отец просто расплёл своё тело на составные нити и разлетелся вместе с пылью и тополиным пухом по земле. Что с ним случилось, никто так и не узнал.

Разлука с матерью ни к чему его не приучила. Прошло несколько дней. По ночам ему снилось, что он бежит по падающим в бездну плитам. Он выпивал какое-нибудь сильное седативное средство и звонил маме. Он знал, что она долгие годы страдала бессонницей и его поздний звонок не мог её потревожить. Но каждый раз он всё равно извинялся. Они подолгу говорили, и странно, что

даже в эту пору они успевали поругаться, сводя разговор на тему Украины.

Он вспомнил, как в далёком детстве они ездили в Карелию. Жили в какой-то полуизбушке. Из окна было видно большое озеро, которое заключало в себе все оттенки синего — от фиолетового до светло-бирюзового. Она — на краешке кровати читала им Толкиена, Лёша с Кириллом — рядом на полу её слушали. Был жив отец, который так и остался в памяти молчаливой тенью, размешивающей в чайной чашке сахар. Они никогда не сидели так в Москве. Но в этой мизансцене было что-то такое чуждое им, неестественное, как будто подсмотренное в старых северных фильмах о человеке на пороге конца света. Люди ведут себя иначе в новых домах, у них меняются привычки, походка, жесты. Можно как будто заново друг с другом познакомиться, задать старые вопросы и получить на них другие ответы. Они с Лёшей были слишком малы, чтобы задавать вопросы: мир тогда был понятным.

И вот сейчас они созваниваются и говорят до утра.

Они проговаривали заново то, что они и так давно знали: где она познакомилась с отцом, как бабушка Нина получила ложную похоронку (дед

Боря оказался всего лишь ранен), как она выиграла в лотерею два миллиона рублей и потеряла билет. Они как будто спешно собирали в мешок рубины и изумруды в пещере сокровищ, дверь в которую вот-вот должна закрыться. Так оно и было. Кирилл сейчас часто вспоминал ту поездку в Карелию. Однажды они гуляли по кромке обрыва. Внизу лежало озеро. Они увидели маленький рыбацкий катер, а прямо под ним плыл настоящий кит. Кирилл подумал, что он похож на болезнь мамы. Она точно так же шла вровень её дням: громадный кит на глубине невидимо сопровождал маленькую лодку. Она ни о чём не догадывалась.

Кирилл услышал как-то по радио о новых разработках немецкого института генетики и биофизики. Их проект назывался “Реплика”. Суть его заключалась в том, что программа считывает биологический и поведенческий синопсис объекта. Она собирает и оцифровывает составляющие характера, жестов, привычек, приблизительный словарный запас и даже может предположить, как человек в определённой ситуации пошутит. В программе содержится, в зависимости, конечно, от встроенной памяти, до пятидесяти миллионов потенциальных алгоритмов твоего поведения.

Задаётся режим, и программа конструирует голографическую модель в предлагаемых условиях. И самое главное, стенки наших глазных хрусталиков могут запомнить до двухсот петабайтов памяти: картинки, голоса, сны и эмоции. “Реплика” всё это способна будет воспроизвести. Эти разработки стали вестись только недавно. В случае успеха, мир ждёт настоящая антропологическая революция. Для многих это будет означать победу над смертью. Следующим шагом, судя по прогнозам, станет технология так называемого угнетения клеточного паттерна. То есть, теоретически, в будущем станет возможно воссоздать клеточную модель человека (как на 3D-принтере). Кирилл не воспринял эту новость всерьёз и, конечно же, не собирался сообщать об этом матери. Но как-то так вышло, что, проговорив по телефону с ней несколько часов, он, к своему удивлению, рассказал. И сразу же устыдился собственных слов, так как, получалось, он уже принял смерть матери как неизбежное.

— Я ничего не поняла, — сказала мама. — Я тут Чехова перечитываю. У него где-то есть фраза, наизусть её выучила: “Смерть страшна, но ещё страшнее мысль, что никогда не умрёшь и будешь жить вечно”.

— Ты это к чему?

— Зачем себя надо повторять?

— Почему повторять?

— Ну а как? Я в ваших технологиях ничего не понимаю, но я знаю одно: скоро они научатся оживлять тебя после смерти. Чтобы не было горя, чтобы была одна радость для всех. Но так не бывает. И так не должно быть.

— Да? Ну вот фотографии же ты всё время рассматриваешь? Значит, тебе всё-таки хочется, чтобы кто-то продолжал в тебе свою жизнь.

— Это совсем, совсем другое.

— А в чём разница?

— Я вспоминаю, и больше ничего. Я не собираюсь занимать чужое место.

— Это твоё собственное место. О чём ты? Почему чужое?

— Ты ошибаешься. Но я тоже раньше так думала. В моём детстве была такая игра: ставили стулья, а вокруг них под музыку бегали дети. Потом музыка обрывалась, и дети должны были успеть сесть на свободный стул. Только штука была в том, что стульев было на один меньше, чем участников. И так каждый раз — не успевший сесть убывал. А вы хотите сделать так, чтобы стульев было поровну с играющими. Но так ни-

когда не будет.

— Ладно. Это всё как-то сложно.

— Я прожила счастливую жизнь. Хотя всего было достаточно. Вы же даже не догадываетесь, как мне тяжело было одной, без Толи, вас кормить и одевать в девяностые. Ну, ты, допустим, сам уже всё знаешь. Да, Лёшу береги. Ему худо придётся.

Последующие недели Кирилл помнил очень плохо. С каждым днём здоровье мамы ухудшалось. Она принимала происходящее мужественно. Не сказала об этом ни одной подруге и их попросила не распространяться среди знакомых. Он купил билет до Москвы, чтобы успеть повидаться в последний раз, но не успел.

Прошло несколько лет. Лёша женился-таки на своей однокласснице и стал работать на почте. Петя пошёл в школу и серьёзно увлёкся футболом. Лена уговаривала Кирилла завести второго ребенка. Кирилл открыл собственную студию дизайна и рисовал уже третий мультфильм. Он стал внимательно следить за разработками “Реплики”. Даже съездил в Штутгарт и посетил институт, где велись исследования. Были проведены первые испытания по регенерации отживших клеток. Удалось восстановить из огрызка целое яблоко,

потом на основе “Реплики”, из ДНК волоса и многочисленных видеодокументов воссоздали голографический фантом Элвиса Пресли.

В своей берлинской квартире Кирилл подолгу сидел за столом, подперев подбородок кулаками, и разглядывал старую металлическую сигаретницу в виде теремка. Если потянуть за кольцо дверки, то валдайские колокольчики, подвешенные под самой крышей, начинали играть мелодию “Вечерний звон”. Так он мог сидеть часами. Кириллу стала сниться мама. Они ничего не говорила, а только смотрела на него. И смотрела с той исключительной и таинственной благосклонностью, с какой герои снов разглядывают попавшего в их владения сновидица.

Ольга Брейнингер
Поллок и Брейгель



Впервые за три месяца нам удаётся, наконец, пересечься в Будапеште. Как всегда: долгие подстраивания под график и расписание друг друга, попытки передвинуть каникулы на день вперёд, отпуск на два дня назад, дедлайны — далеко за пределы памяти; всё остальное — будто не существует. И вот, когда всё со всем совпало, — молниеносный звонок по скайпу, быстрый поиск направлений, куда дешевле всего добираться из Германии и из Швеции, сканирование подходящих предложений на airbnb, три футболки и свитер в ручную кладь, рюкзак, дорога — и ожидание ослепительного счастья, когда вы — в аэропорту или на вокзале, на автовокзале, на улице, где угодно — снова увидите друг друга.

Я прилетала в Будапешт на два дня раньше Матиаса, в среду. Ещё в самолёте я начала мысленно репетировать вечер пятницы, набрасывая в блокноте фразы и заштриховывая пустоту вокруг. Может быть, думала я, спустя шесть лет таких отношений все эти “давай попробуем увидеться через месяц”, “я не смогу прилететь в октябре” и “я буду всё время о тебе думать” вдруг перестали дотягивать до того ощущения ослепительного счастья, ради которого когда-то стоило разрешать себе продолжать. Может быть, у каждого “я хочу

быть с тобой” на изнанке проставлена дата, до которой в эти слова веришь — и когда сам говоришь, и когда говорят тебе, а потом — перестаёшь.

Может быть … Но во всём этом не было никакого смысла. Такие истории связывают людей слишком прочно, и я хорошо это знаю. И тем не менее я вновь и вновь возвращалась к тому, что — будь, наконец, честна сама с собой — следовало сделать много лет назад: расстаться с Матиасом. И поэтому, когда я очутилась в квартире 13c на улице Салаи 62, около площади Лайоша Кошута на правом берегу Дуная, и, раздевшись, вымыв руки и налив себе апельсинового сока, отправила сообщения всем, кому хотела, что я в Будапеште, — я поняла, что приезжать заранее было ошибкой. Отсюда, из среды, оставшееся до пятницы время казалось крепостной стеной, которую мне никогда не одолеть без потерь.

“Я сдамся, — подумала я. — Всё, это ясно. Опять сдамся”.

На второй, мансардный этаж вела грубая деревянная лестница. Стены были обшиты досками, потолок опрокидывался прямо на кровать с тусклым цветочным покрывалом; деревянные балки, много маленьких подушек, пыльный гобелен на стене и вид на Дунай и парламент. Я упала

на кровать и зарылась в пыльные цветочные подушки. В моей привычной жизни, проходившей по большей части в общежитиях, съёмных квартирах и на вписках, было очень немного моментов настоящего одиночества. Не такого, на час-два перед сном; не когда родители уедут на дачу или соседка останется ночевать у бойфренда — а настоящего, когда точно знаешь, что в ближайшее время по эту сторону айфона с тобой нет и не будет ни одного человека. И это тоже не помогало собраться с силами.

У каждой жизни и у каждых отношений есть обложка, которую видят все, и есть то, что происходит на самом деле, — невидимая сторона, которая может быть втайне от всех как безмятежным счастьем, так и чьим-то тихим адом. Мне нравилась обложка моей жизни и нашей с Матти, мне нравилась наша история. Нравилась работа в стокгольмском нон-профите, к которой я пришла долгим путём волонтёрства, активистских групп и ночных дежурств на “линии доверия”. Нравилось, что четыре года назад я приняла и осуществила самое безрассудное и глупое из всех возможных юношеских решений: потратив многолетние сбережения из копилки, оформила в подозрительном чахлом агентстве

в Чертаново студенческую визу, купила билет и переехала в Прагу. Из всех вариантов Прага была ближе всего к двадцатичетырёхлетнему нюрнбергскому журналисту Матиасу Шварцу, с которым я познакомилась на фестивале Сигет в 2008 году, — но при этом достаточно далека для того, чтобы оставаться самостоятельной молодой женщиной, а не ждущей чего-то подругой, свалившейся как снег на голову.

Наконец, мне нравилось, что хоть я и жаловалась иногда на то, что в этих отношениях на расстоянии всё приходится делать самой, — я панически избегала любой мысли о том, что всё могло бы сложиться иначе. Палатки, в которых мы жили на Сигете шесть лет назад, поставили бы на разных краях острова, и мы ни за что бы не встретились; или Матиас решил бы не приезжать в Россию; или я сама сдалась и согласилась бы с законом о невозможности отношений на расстоянии.

И по сравнению со всем этим странная изнанка наших с Матиасом отношений — которая моментально стала бы красным флагом в устах любой женщины, обратившейся в фонд, где я работала, — казалась мне раздражающей, но незначительной деталью этой жизненной траек-

тории. Мне действительно было почти всё равно. Нет, иногда это больно, но чаще всего — не слишком; и если это важно для Матиаса, то у меня набиралось не так много аргументов против — и огромное количество тех, что предъявлять стоило в первую очередь себе. И что в этом такого, в конце концов, если твой любимый человек стремится время от времени наносить по всей длине твоего тела маленькие симметричные порезы, чтобы потом пересчитывать их пальцами один за другим и помечать: “Вот так тебя люблю, вот так, вот так, вот так”. И чтобы потом, когда вы в очередной раз разъедетесь — он в Германию, ты туда, где ты сейчас, — ты могла смотреть на эти отметки на своём теле и помнить, что он для тебя значит.

В моменты ссор я иногда кричала ему — лучше бы вместо того, чтобы считать, — вот так, вот так, вот так — что-нибудь бы делал! Настоящее, понимаешь? Нормальное! Чтобы нам не надо было видеться от случая к случаю, чтобы всё это не зависело от меня, потому что я чертовски устала от всего, от этих отношений на расстоянии, оттого, что ты думаешь, что у нас всё хорошо, а я нет, оттого что ты в этих отношениях — сильный, а я нет. Но я быстро остывала — потому

что и сама прекрасно знала: мы могли давно бы жить вместе, дело не в этом. И мы мирились и планировали следующую встречу — а если она наступала достаточно быстро, то мои шрамы, не успев зажить, начинали кровоточить снова, напоминая, что любовь, боль и все эти вещи связаны друг с другом.

***

Пять с половиной лет назад: Матти впервые приезжает в Москву. На улице минус двадцать, но мы продолжаем каждый день упорно ходить по туристическим маршрутам столицы. Мы греемся егермейстером вместе с моими подружками по соцфаку на лекциях, разливая его под партой в последнем ряду. Все родственники в восторге от Матиаса и приглашают его переехать в Россию. В последний день мы идём делать парные татуировки, но на полпути я передумываю, и Матти улетает расстроенным.

Пять лет назад: Матти снова в Москве. Мои родственники по-прежнему зазывают его в Россию, но теперь он отвечает, что лучше бы я переехала в Германию. Я не в восторге от этой идеи: во-первых, я ещё не окончила институт, а во-вторых, не хочу быть русской-женщиной-замужем-загра-

ницей. Вдобавок я так и не решаюсь на парную татуировку, что становится для Матти последним ударом. Перед отъездом он объявляет, что приезжать в третий раз не собирается: это слишком близко к предложению, которого он не может сделать девушке, так и не определившейся, быть с ним или нет.

Четыре года назад: последнее, в чём я хотела бы самой себе признаться, — это что я знаю всё — но продолжаю скучать по Матти. И когда впервые за год он звонит мне, чтобы поздравить с днём рождения, всё начинается заново. Я объявляю родителям, что собираюсь учиться в Чехии, — "потому что там красиво, качественное бесплатное образование и больше перспектив". Под шум семейного скандала, закрывшись в комнате, забиваю в гугл "где в Праге учить социологию на английском языке".

***

Два дня ожидания в Будапеште прошли именно так, как я представляла. Поздние подъёмы в надежде максимально сократить день; вечер за просмотром сериалов как патентованный способ отвлечься; а в перерывах — лихорадочное блуждание по прекрасному городу, где траектория

моей жизни однажды зашла в неожиданный поворот. В моём заполнении города шагами и взглядами были и энтузиазм двухдневного туриста, и отголоски отчаяния, с которым я всюду в городе отмечала наши места и маршруты. Куда бы я ни шла, что бы ни делала — я беспрестанно прокручивала в голове кадры, с которых всё началось, пытаясь решить, кто и за что в ответе. К вечеру пятницы я извелась окончательно — и была благодарна Матиасу только за то, что его приезд положил конец этим бесконечным репетициям “большого серьёзного разговора”.

Как это всегда бывает после расставаний, поначалу мы чувствуем себя немного чужими друг другу, — но по глубоко исхоженной колее очередное наше знакомство быстро набирает обороты. И я обнаруживаю, что для того, кто каждую минуту проводит, навязчиво восстанавливая в памяти прошлое, я помню очень мало. Я ошибалась на добрую четверть тона, когда спорила — за Матти и голосом Матти — сама с собой у себя в голове. Забыла о торжествующем, почти самовлюблённом выражении лица, с которым он отключает телефон, показывая, что он полностью со мной, и никакой работы. И совершенно точно не помнила, как он мгновенно “настраивается”

на меня, предупреждая мысли и желания, — как может только тот, кто очень тебе близок, — настолько близок, что вместе вы представляете гораздо больше смысла, чем по отдельности. И что стоит мне, не знаю, устало поднять руку, чтобы снять серёжки (потому что это был очень долгий день, долгая дорога домой из аэропорта и долгая вечерняя прогулка за разговорами сразу обо всём), — как он уже подносит ладонь, чтобы убрать их, как будто заранее знает, что́ я собиралась сделать.

— Всё, теперь можно, спасибо, — киваю я, хотя он не видит меня в темноте, и возвращаюсь к прерванному разговору, — а знаешь, что меня больше всего раздражает?

Я говорю с Матиасом, но смотрю прямо перед собой, в потолок, и стараюсь полностью сосредоточиться на своём голосе, чтобы не допустить, забывшись, ни малейшего движения. Не перебирать пальцами. Дышать очень спокойно, медленно, с ровными промежутками на вдох и выдох, чтобы не так остро чувствовать — не дать телу задрожать и не дёрнуться ни на миллиметр — пока в кожу погружается лезвие. Говорить монотонно. Не вдумываться в слова. И даже, если удастся, не моргать.

— …когда люди вместо “немецкий” говорят “германский”, — продолжаю я, отвлекая себя и Матиаса, пока лезвие аккуратно вгрызается в мою кожу. И хотя это повторялось между нами уже столько лет и столько раз — всё равно каждый из них остаётся неловким, превращая нас на секунды и минуты почти в чужих друг другу людей. Это немного больно, только немного, — но мы оба знаем и стараемся не подавать виду.

— …нет, не то чтобы мне вообще не нравилось это слово, “германский”, — размеренно продолжаю я, — просто оно, знаешь, мне страшно напоминает моё детство, тогда многие люди почему-то всё немецкое называли германским. Но, с другой стороны … теперь с этим скорее даже ностальгические ассоциации. Что-то домашнее, уютное, напоминает Новый год. Шоколадки “Риттер спорт” и подарки.

— Извини, Лена, я задумался, — пытается подключиться Матиас, из вежливости слушавший вполуха, — что за слова?

В других обстоятельствах это мог бы быть вполне интересный, живой разговор. Матиас любит истории про Россию, особенно если они (как ему кажется) — про тяжёлое прошлое и героическое детство. В “Nürnberger Zeitung” Матиас часто

пишет материалы про Россию, и в своё время мне нравилась идея учить немецкий по статьям любимого. Правда, не сложилось, и большую часть времени мы говорили по-английски. Матиас, впрочем, не пытался учить мой язык, так что и я не чувствовала себя обязанной.

— Просто … в русском языке есть два слова, — медленно начала я, — два прилагательных, которые обозначают что-то, связанное с Германией. Одно — с русским корнем. А другое — как английское german.

Матиас продолжает, не глядя на меня.

— И какая между ними разница?

— Разница … Разница такая. Первое, nemetskii, — это вроде как прямой перевод Deutsch. Оно нейтральное по значению и употреблению. А то, которое german, — оно означает … что-то вроде “принадлежащий стране под названием Германия” — ну, не знаю, германский флаг или германский гимн. Но при этом — мой немецкий друг, его немецкий нож, его немецкий характер. Немецкий дом. Немецкая семья. Немецкий …

Я выговаривала слова, разбивая их на наборы слогов, произносимых друг за другом с равномерными перерывами ровного голоса, какой бывает у зубного за секунды до того, как он дёрнет щип-

цы, или у доброй медсестры, если дети боятся уколов, и нужно заманить их на голос и отвлечь. Матиас не особенно прислушивался к тому, что я говорила, — а когда в таких ситуациях говорил он, едва ли слушала я. Вся суть разговоров была в том, чтобы заполнить тишину — и, наверное, сделать эти странные моменты более обыденными.

***

Четыре года назад: я живу в забытом богом студенческом общежитии в девятом районе Праги, работаю на почте и готовлюсь к поступлению в Карлов университет. Последнее — идея Матиаса: он отговорил меня от частного колледжа с обучением на английском языке и силком запихнул на курсы чешского. Реальность не слишком походит на то, что я себе представляла: мне тяжелее, скучнее, и я то и дело порываюсь улететь назад, в Россию. Но Матти приезжает в Прагу каждые выходные, и от одного его приезда к другому я уговариваю себя потерпеть ещё немного.

Три года назад: я поступаю в Карлов и через Матти устраиваюсь на свою первую стажировку на “линии доверия” для иностранных туристов в Праге. Днём я учусь, работаю в вечернюю смену, с восьми до полуночи. Между звонками часто

бывают большие перерывы, и я использую их, чтобы читать литературу о природе и видах насилия и жестокости по курсу психологии, или для того, чтобы писать Матти письма. В этом году он много ездит в командировки, и мы уже не видимся каждые выходные. Но это не так плохо, как звучит, потому что взамен мы стали переписываться и на бумаге говорим и спрашиваем многое, чего не стали бы вслух. Я знакомлюсь с группой городских активистов “Помощь для Праги” и впервые делаю что-то на чешском языке.

***

Всё дело в том, что физическая боль быстро стирается из памяти, а привязанность и благодарность — нет. И в моих воспоминаниях, если мы подолгу не виделись, мне начинало казаться порой, что расчертить по всему телу линеечку — это как нечего делать. То ли из-за этой забывчивости, то ли просто потому, что мы не виделись так давно и я так сильно скучала, — или, какая разница, по любой другой причине — сегодня мне вдруг было очень больно. Так, как никогда. Потекли слёзы, я перестала смотреть в потолок, закрыла глаза и думала о своём ровном дыхании. О немецком платье. О немецком доме. О

немецкой книге. О немецком танце — потому что знала, что стоит мне сбиться и хоть на долю секунды разрешить себе панику, переживание боли — и вместо ровных отметок лезвие Матиаса может нечаянно расчеркнуть на моём бедре красные зигзаги. Такое уже бывало, в диапазоне от Филонова до Поллока, и эти картины потом по неделям давали о себе знать под плотной тканью джинсов, напоминая при ходьбе, что вся эта свободная жизнь зашла очень далеко.

— Немецкий … город. Немецкая столица. Немецкий … чёрт, больно! — не выдержала я, потому что последняя чёрточка, которую Матиас оставил где-то совсем низко, может быть, у основания икры или совсем на лодыжке — вдруг моментально схватилась и загорелась огнём, и я не выдержала; вместе со слезами меня захлестнула волна раздражения и возмущения — на себя и на него оттого, что … — Хватит, отстань от меня!

Матиас вздрогнул и моментально убрал руку.

— Ты в порядке? Что случилось, малыш? — спросил он, осторожно погладив меня по коленке. Я резко отдёрнула ногу.

— Мне всё это не нравится.

Матти молчал, и я знала, что он думает: что я говорю неправду.

— Шесть лет?.. — наконец начинает он и не задаёт вопрос.

— Шесть лет, — отвечаю я очень твёрдо. Я пожала плечами, и мы замолчали. Я вижу, что он хочет сказать ещё что-то или спросить — может, почему я вдруг — сегодня, хотя никогда раньше не … Но он долго молчит, а потом говорит — коротко и осторожно:

— Мы можем больше никогда этого не делать, малыш. Это совершенно не обязательно … не обязательно для меня, — запинается он на последней фразе, и я наклоняюсь к нему, словно пытаясь за него договорить. Потому что я точно знаю, что́ мы оба чувствуем сейчас: нестерпимую фальшь момента.

Я ничего не ответила. Матиас, убирая одной рукой лезвие на прикроватную тумбочку, другой притянул меня к себе. Я остановила его ладонью, чтобы стянуть и отпихнуть подальше одеяло, и какое-то время мы не говорили.

Потом Матиас обнял меня; я положила голову ему на грудь и закинула на него ногу. В такие моменты нам было спокойнее и лучше всего: среди недосказанностей, полуправды и лавирования между тем, что правильно, и тем, что хочется сделать.

— И всё же, что там за история с подарками? — задумчиво переспросил Матиас, целуя меня в плечо.

— С подарками?

— Да. Ты рассказывала про Новый год, “Риттер спорт” и про подарки.

Я хрипло рассмеялась и поцеловала его в нос.

— Ах да! Германские подарки. “Риттер спорт” с марципаном в красной обёртке. И много маленьких дедов морозов, — я улыбнулась, потому что понимала, что сейчас опять начинается героическая история про Россию в девяностые. — Просто в моём детстве … ну, ты наверняка знаешь много историй про “тяжёлое постсоветское время”, что у нас тогда ничего не было … всё вот это. И, в общем, у нас тогда часть родственников уже переехала в Германию. И иногда — может, раз в год, может, реже — бывало, что кто-то один оттуда приезжал в гости. Или наоборот, кто-то из России уезжал в гости на неделю или две. Ну а для нас, для детей, — это в любом случае означало …

— Подарки.

— Точно, германские подарки. Чаще всего это была “существенная часть” и разные сласти — шоколад там, пряники лебкухен … ну, я уже не очень помню. Помню, что мы сразу получали

по “риттеру”, а потом бóльшую часть родители с бабушкой убирали в буфет до какого-нибудь большого праздника, вроде дня рождения или Нового года.

— Бедный ребёнок, — потрепал меня по голове Матиас, — маленькая Лена с “риттером” и шоколад, запертый в буфете.

— Да ладно тебе. Самое главное — это же существенная часть, основной подарок!

— А что было в существенной части?

— Ну … Это могла быть игрушка. Или одежда. Взрослые женщины могли что-нибудь по дому попросить. Но — самый шик — это было что-то для школы.

— Для школы? Серьёзно? — переспрашивает Матиас, и я почти вижу, как в нём в очередной раз поднимаются всеобъемлющая жалость и сочувствие к прошлому “подружки”.

— Дурак, ты ничего не понимаешь, — я села в кровати. — Это чувство — когда ты приходишь в школу с огромным новеньким квадратным рюкзаком — таким, знаешь, с жёстким каркасом, как черепашка-ниндзя в стиле Малевича, только цветная, — непередаваемое ощущение.

Матиас театрально обхватывает голову руками.

— И, — я развожу его руки в сторону, уже еле удерживаясь от смеха, — и это ещё не всё. Потенциально, если тебе очень повезло, ты мог ещё получить пенал. А если тебе прямо уж совсем-совсем-совсем везло, то это был четырёхэтажный пенал!

На этом месте мы оба окончательно не выдерживаем и с хохотом падаем назад на кровать, забыв о красных чёрточках и кляксах, что я оставляю на нежно-зелёных простынях. Мы ещё немного валяемся в обнимку и обсуждаем Матиасовы плачевные представления о том, как могло выглядеть моё детство. Но стоит Матти выйти на кухню, чтобы сварить мне какао, как весёлое настроение испаряется.

“Ты снова сдаёшься”, — написано невидимым размашистым почерком на стенах. “Снова сдаёшься”, — висит в воздухе. “Снова сдаёшься”, вспыхивает над изголовьем кровати. И меня злит, что это правда и что Матиас напевает на кухне. Когда он возвращается, я притворяюсь, что уже почти заснула. Смотрю на него сонными глазами и прижимаюсь лбом к его плечу, допивая какао. Постепенно я и вправду начинаю проваливаться в сон, и последние слова Матти долетают до меня уже откуда-то издалека:

— Если честно, я во всё это верю с трудом. Как будто это такой старый фильм про тебя. Где ты такая смешная, очень маленькая, ждёшь подарков из Германии. А потом гордо идёшь в школу с огромным рюкзаком за спиной … — И я хочу ему ответить, но уже совсем нет сил. Но его слова чем-то запоминаются мне, что-то смутно тревожат — и, расщепляясь на звуки и перерастая в мерный, ровный шум, они уходят в сонную тьму вместе со мной.

***

Два года назад: после университета мне поступает предложение от комитета по защите прав женщин Польши, и я переезжаю в Варшаву. Несколькими месяцами позже Матиас получает огнестрельное ранение при работе над репортажем о криминальных бандформированиях в пригородах Парижа. Я вылетаю к нему ближайшим рейсом, взяв отпуск за свой счёт. Оказывается, что он совершенно не умеет переносить боль, и я круглосуточно дежурю у больничной койки, держа Матти за руку. Однажды он упоминает, что ожидал увидеть меня в Германии после окончания Карлова, но я меняю тему.

Год назад: в один из приездов Матти в Варшаву

он приглашает меня оставить работу здесь и переехать к нему. Я переезжаю работать в Швецию и обещаю подумать — но зато провожу почти весь летний отпуск в Нюрнберге. И снова возвращаюсь на рождество, которое мы встречаем с семьёй и друзьями Матти. Они — самые обычные люди, и от этого мне легче.

***

Просыпаться от боли — совсем не то же самое, что проснуться от кошмарного сна или внезапной вспышки света. Боль — хитрее и мягче: вначале она потихоньку выманивает спящего из темноты и медленно, шаг за шагом, подталкивает к свету. Но стоит только открыть глаза — и она обрушится со всей безжалостностью.

Сон, из которого боль уводила меня, был странным и тревожным. Мне снились чёрный, белый и серый — три цвета, замешанные и застывшие с острыми краями, как щедрые мазки масляной краски. Изображение зернистое, шумное и живое — оно пульсировало и разрасталось вокруг меня, вдавливая в странный мир, в котором половина была от Поллока, а половина — от Брейгеля.

Мне снились дети — очень простые, угловато очерченные фигуры, почти абстракции, но каж-

дая — как живая. Некоторые дети просто шли, другие бежали — движение передавалось через штрих, через отточенные, острые росчерки чернильного пера; и всё — скобки, полоски, точки, галочки — уверенной, твёрдой рукой — мир, пойманный в стремительном движении, в полуразрезе, в лихорадочности и смуте. И словно для того, чтобы хоть как-то смягчить это гнетущее впечатление, весь сон затянули тонкой глянцевой плёнкой — наверное, когда-то прозрачной, но порядком пожелтевшей к моменту появления в моём сне. Тут и там на ней пробегали белые трещины, мутные пятна и венозные заломы, какие бывают на старых фотографиях, сваленных без разбора в коробку.

Стоило мне открыть глаза, как тело вспыхнуло. Вокруг каждого пореза и царапины расходились по коже горячие круги, и я разом вспомнила каждую ночь, которая начиналась как эта и длилась бесконечно долго. Всё тело будто горит — и даже соприкосновение с одеялом, с простынёй, самое простое и будничное касание, которого никогда не замечаешь, жжёт как песок, растёртый прямо под кожей. По сравнению с этим прохладный воздух, когда я осторожно, чтобы не разбудить Матти или не сделать самой себе ещё больнее,

выбираюсь из постели, оказывается неожиданно приятным на ощупь.

Часы показывают четыре двадцать шесть. Матиас спит, обняв подушку обеими руками, и я неровным, нервным движением поправляю одеяло, которое он всё равно сбросит на пол к утру. И вспоминаю, что он тоже присутствовал во сне, — точнее, не он сам, а его голос, то, что он говорил мне перед сном: мои детские рассказы для него — не жизнь, которую он может представить, а кадр из старого фильма, где я иду в школу с огромным рюкзаком за спиной. Мой сон был чем-то вроде ответа для него, мрачной пародией, где картинку из детства пропустили через призму наших отношений. И вроде бы один и тот же сюжет; но вот смешная маленькая девочка с подарком из Германии, а вот — как будто то же самое, но нарисовано всё в чёрточках, перьях, штрих за штрихом, — изрезывает в клочья всё живое и болит.

За окном занимается серое утро, и я задёргиваю шторы, чтобы как можно дольше не видеть себя в темноте. Сколько раз это повторялось за последние шесть лет — что я вот так дежурю ночью у окна, что потом проснётся Матти и начнётся переполох, что он будет пытаться мне помочь, а

я, доведённая болью до истерики, буду кричать, что ненавижу его, себя и всю эту жизнь, которую мы построили? На моём теле много таких ночей — и ещё больше тех, где я, обещая себе больше никогда и срываясь, сама делаю это с собой, полосуя тело, чтобы забыть другое через его боль. Потому что всё это — постоянное одиночество, разбавляемое эйфорией редких встреч и долгих недель апатии после них; жестокость ко мне, которая тает рядом с моей собственной, и уже не знаешь, где выход; и больше всего — попытки Матти создать из этого жизнь, похожую на нормальную, где семья и дом в Германии, где всё хорошо. А я не могу с этим согласиться и делать вид, что так, как у нас, — нормально; всё это — слишком далёкая дорога для школьницы с рюкзаком со старого чёрно-белого фото.

***

Шесть лет назад: поверить не могу, что они правда меня бросили. Тоже мне, лучшие подруги. А ведь всего неделю назад мы были вместе навсегда: три девчонки в чёрном с ног до головы, отправившиеся на Сигет; впервые в Европе без родителей, нашего английского хватает на то, чтобы чувствовать, что мы тут свои, — и мы

собираемся пробовать всё, что только могли представить в этой жизни и чего нет. В кармане куртки у меня с самого первого дня фестиваля лежит картонная пластинка с бритвенными лезвиями. Их мне даёт Аня, когда мы устраиваемся на первую ночёвку в палаточном городке, и я хмурю брови.

— Тут же будет куча панковских тусовок и всякое такое, — многозначительно говорит мне Аня.

— Ну я как-то не по этой части. Что мне с ними делать? — кручу я в руках пластинку. Она закатывает глаза.

— Господи, ну шнурок привяжи и на шею повесь, что делать.

Но я убираю подарок в карман — мне нравится время от времени проверять через грубую ткань, на месте ли коробочка, и находить её там.

Конечно, я понимаю, что если бы я не уехала в день отлёта смотреть на это дурацкое шоу скейтеров на Площади Героев, то я не потерялась бы в метро. Если я не потерялась бы в метро, то я не опоздала бы в лагерь. Если я не опоздала бы в лагерь, моим подругам бы не пришлось решать: оставить меня здесь одну, без денег и документов, или успеть попасть на самолёт. Обратно в

лагерь меня уже никто не впускает, и я возвращаюсь на метро на Площадь Героев, потому что это единственное место в Будапеште, которое я теперь знаю кроме Сигета. И все шесть часов, что я сижу у подножья колонны на Площади Героев, размазывая по щекам и шее слёзы вперемешку с тушью, я представляю, как они летят в самолёте по маршруту Будапешт — Москва. Аня наверняка сидит у окна, Света около прохода, а между ними пустое кресло — без меня, но с моей сумкой, паспортом и кошельком.

Единственное, что у меня оставалось, — две купюры по тысяче форинтов в кармане джинсов (одну из которых я уже разменяла в “Макдоналдсе”) и простенький местный телефон, с которого я даже не могла позвонить в Россию и вместо этого набирала всем, о ком могла подумать: двум новым друзьям из Испании, девушке из Рейкьявика с зелёными волосами, ещё каким-то людям, чьи имена я не записала, и Матиасу, который жил на фестивале в соседней с нами палатке. Но никто не поднимал трубку; похоже, дружба на Сигете остаётся дружбой только на Сигете.

Прохожие, которые то и дело подходят спросить, почему я плачу, пытаются помочь, и вокруг меня то возникает, то рассасывается толпа зри-

телей. Кто-то даёт мне пятьсот форинтов, кто-то предлагает остаться на ночь, кто-то успокаивает и говорит, что когда истечёт срок моей визы, меня в любом случае бесплатно депортируют. Кто-то даёт хороший совет — российское посольство, оно ведь тут не очень далеко, на улице Андраши!.. Но потом все вспоминают, что сегодня суббота, и до понедельника даже российское посольство не может мне помочь.

***

Конечно, даже не приди Матиас тогда, вся эта история как-то разрешилась бы. В конце концов, сотни людей сотни раз в мире теряли документы, опаздывали на самолёты, оставались без друзей — и как-то справлялись. Но я помню страшное чувство облегчения, когда на десятый или сотый раз на звонок вдруг кто-то ответил. К тому моменту я настолько отчаялась, что просто по кругу щёлкала по номерам, даже не смотря, кого я набираю, — и не сразу поняла, чей голос говорит мне сидеть там, где сижу, и ждать. Потом я боялась, что вдруг он передумает, или что мы не узна́ем или не найдём друг друга. Прошёл час, и за это время стемнело, но народу на площади только прибавилось, поэтому я поднялась на ступеньку

повыше и встала с самого краю. Всем вокруг было весело, кроме меня, — по площади разъезжала куча парней и девчонок на скейтах и роликах, компания справа играла прямо на улице в какую-то настольную игру; все приходили, уходили, кричали, целовались, и у всех всё было хорошо.

…Но Матиас всё-таки приезжает за мной, и я бросаюсь к нему на шею, позабыв про то, что я даже не знаю толком, кто он такой, этот случайный парень с Сигета, который пожалел случайную знакомую. Впрочем, в таких условиях дружба растёт быстро; и после того, как он проходит со мной через все ступеньки спасения, после того, как сделано всё, что нужно, — звонок родителям, устроиться в хостел, решить, что делать с деньгами, решить, что дальше, — когда я снова обнимаю его, мне кажется, что я обнимаю очень близкого друга. Меня охватывает состояние благодарности, эйфории и ощущения, что всё хорошо. И хотя уже очень поздно, мы ещё долго сидим на улице, прямо на ступеньках хостела, пьём пиво в честь моего спасения и смотрим на загулявшихся туристов и на странноватую ночную публику в районе Западного вокзала.

И только в самом конце этого бесконечного дня, перед сном, когда я устраиваюсь спать в фут-

болке, которую мне выдают в хостеле из ящика забытых вещей, — все события и переживания накатывают снова, и я начинаю судорожно дышать и хлюпать носом. “Что, если”, — думаю я. Если бы я не дозвонилась до Матиаса, если бы этот допотопный телефон разрядился, если бы родители не могли перевести Матиасу деньги на новый билет для меня, если бы … Я стараюсь перестать об этом всём думать и не злиться на подруг за — как мне кажется — предательство, но меня трясёт от страха, и я подбираю под себя коленки и пытаюсь делать глубокие вдохи и выдохи, чтобы перебить слёзы. А потом в голову приходит эта мысль, и я, сама не понимая, что делаю, открываю карман куртки.

***

Мне странно, что я не помню точно, когда и где это произошло в то воскресенье. Может, где-то в парке Маргит, уже ближе к вечеру, когда мы без сил повалились на траву, кляня себя за то, что решили пройти весь остров пешком. Хотя, скорее, это было что-то совсем будничное — вроде покупки хот-догов на улице или билетов в метро — так, что совершенно невозможно оказалось угадать, что именно с этой секунды начнётся вся наша

история. Поэтому мне врезался в память, слово в слово, весь тот короткий разговор — и совершенно ничего о том, где и когда он мог случиться.

Вот мы о чём-то говорим, смеёмся, бурно жестикулируя, — и вдруг Матиас, схватив меня, разворачивает мою руку ладонью вверх.

— Что это? — спрашивает он.

И я сначала не понимаю, о чём он, — а когда понимаю, выдёргиваю руки и прячу за спину.

— Не твоё дело, — грубо отвечаю я. Секунду мы молчим — и я не знаю, чего ждать в ответ; чего угодно.

— Дура, — зло и хлёстко говорит мне Матиас. — Если не знаешь, как это делается, — не берись.

Чего угодно, но не этого.

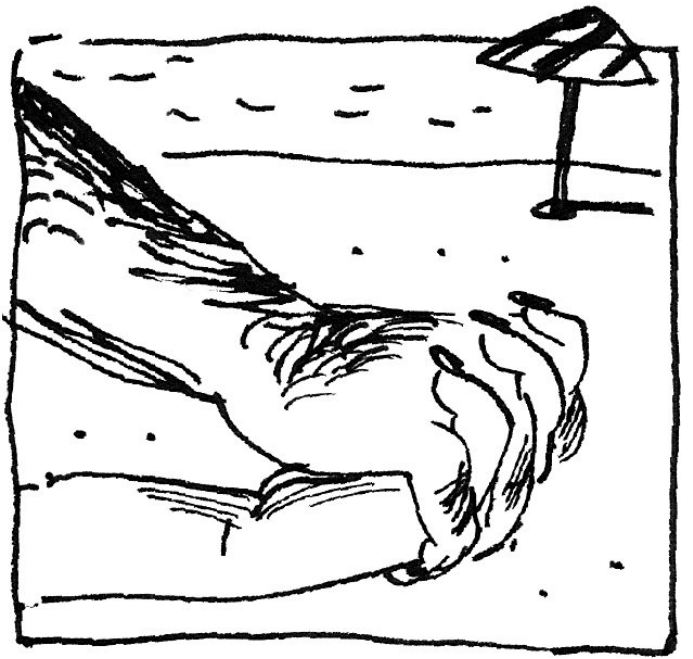
***

Я знаю, что Матти меня не подведёт. Что когда он проснётся, он начнёт одновременно ругать меня за то, что я не разбудила его, и заниматься правильными и нужными вещами — найти обезболивающее, найти антисептик, найти силы заставить меня лечь назад в кровать и проспать ещё два часа.

Потом мне станет лучше, и вместе мы обязательно найдём, что мне надеть, чтобы не было

больно, и пойдём пешком от дома прямо до Площади Героев, держась за руки и вспоминая себя в этом городе шесть лет назад. Мы будем улыбаться и смотреть друг на друга влюблёнными глазами — два человека из двух разных стран, которым повезло не только встретиться случайно, но и найти возможность строить общую жизнь, со всеми её сложностями — от расстояния до ревности к родине друг друга. Впереди у нас будет ещё целых шесть дней вместе в этом городе, шесть дней, разбитых на часы, минуты и секунды, из которых некуда бежать.

Татьяна Толстая
Про испанцев, еду и любовь



Испанский пляж, суббота, отлив, густая толпа.

На песке, тонком, как соль нулевого помола, вплотную друг к другу разостланы полотенца, покрывала, подстилки; по углам они прижаты сандалиями и сумками. Сотни лежат впритирку, сотни ходят по краю воды взад-вперёд, загорелые и белые, всех возрастов; вон и инвалида вывезли на кресле с большими колёсами — подышать океаном, посмотреть, как серебрится и слепит волна, как идут облака.

В лужах, оставленных отливом, маленькие дети немедленно строят пристани, башни, дороги, города.

Рядом со мной — супружеская пара, обоим хорошо за пятьдесят, за фигурами не следят, нет таких претензий. Он лысоватый и волосатый, лицо у него неприветливое, но не потому, наверно, что злой, а просто жизнь как-то так сложилась — всё заботы да кредиты. Она тоже — обычная бесформенная тётка, спина круглым горбиком, всё, что с возрастом обвисает, — обвисло, не подвело. Но крепенькая и крутится деловито и энергично.

Из большой пляжной сумки она достаёт и расстилает салфетки, на салфетки ставит пластиковые коробки с колбасками, хлебом — всё уже нарезано и подготовлено, — разливает питьё по пластиковым стаканам, раздаёт вилки, потом

снова роется: вот паэлья, желтоватая, с хвостиками креветок, жирная, остывшая, наверно. Вот ещё какой-то вариант тяжёлой еды с рисом — горошек, мясо. Она придвигает ему коробки, подсовывает то одно, то другое, и он всё это ест, много, как голодный, и она тоже наваливается, ест, насыщается посреди толпы, на пляже, сосредоточенно; со спины видно, как у неё шевелятся уши; пальцы у обоих в жиру, и они обтирают их припасёнными ею салфетками. Не улыбаются, не шутят.

А потом она собирает весь мусор назад в сумку, заворачивает и прячет пластик и шелуху, и они ложатся навзничь, на подстилку, рядом, наевшиеся, удовлетворённые, чужие мне люди, и лежат с закрытыми ртами, с закрытыми глазами, и в их закрытых, нелюдимых лицах ничего не прочесть.

И вдруг я вижу, что они сплели руки — пальцы в пальцы, в глухой любовный замок, в “твоя навеки”, в это небывалое “умерли в один день”, тесно, теснее всяких там Тристанов и Изольд, — те были стройные и златокудрые, и белая грудь холмом, и чудесные юношеские плечи, а тут что ж, тут только лысина, чёрная шерсть и комок немолодой плоти без каких-либо очертаний.

Они лежат, и океан шумит, и облака идут, и он крепко держит её обычные пальцы своей обычной пятернёй, красной, по-испански волосатой. Просто крепко держит, просто не отпускает, просто любит, просто всю, всегда, навсегда, навсегда, навсегда.

Тимур Валитов
Последний раунд



Ты кладёшь на стол письмо — на секунду не умею дышать, лезу в карман пиджака, чувствую пальцами конверт. Два письма в один день — почти не бывает: зная, какую новость принёс с собой, решаю молчать, слушаю тебя.

Ты говоришь, то и дело касаясь пальцами листа: отцу хуже; чувствуя близкий конец, он решил приехать. Давно куплен билет, и теплоход уже идёт через море: видимо, письмо задержалось, шло больше месяца; ты отправила ответ сегодня утром — ответ, конечно, ничего не изменит, но ты отчего-то уверена, что отец поднялся на борт, пусть и не дождавшись письма, и будет здесь в четверг.

Я не отвечаю — просто не знаю, как сказать. Не сразу замечаю, что в руке вилка, что на столе жаркое и лепёшка, что жаркое обжигает рот. Ты смотришь в окно, будто сквозь кирпич и бетон видишь море, видишь причал и, может, теплоход в двух днях отсюда: я понимаю, что молчать невозможно, и всё же молчу; ненавидя себя, набираю в рот мяса и радуюсь оттого, как горячо и больно щекам и языку.

Ты убираешь посуду — быстро, будто торопясь; всё время смотришь на меня — и иногда на дверцу буфета, за которой настойка и остатки вина.

Ты ждёшь, пока я поставлю бокалы, кивну тебе на буфет, но я отворачиваюсь, гляжу, как по кастрюлям в раковине разбегается вода. Ты неуверенно встаёшь, тянешься к полке с бокалами, берёшься за ножки — и вдруг, испугавшись самой себя, достаёшь только один, ставишь передо мной и тихо спрашиваешь: настойка или вино. Я достаю вино, наливаю до половины, потом пододвигаю тебе: я не буду. Ухожу, чтобы умыться; слышу, как вино течёт в раковину; проходя мимо, вижу в кастрюлях бледно-розовое.

Тебе жарко, ты вся выходишь из-под одеяла, просишь открыть окно. Я как будто не слышу: ты отрываешься от кровати и, отворив окно воздуху, остаёшься у подоконника; ты уже не смотришь сквозь кварталы, словно давно разглядела теплоход и силуэт отца на палубе, — ты расправляешь на себе сорочку, и пальцы вдавливают, вдавливают шёлк в кожу и, кажется, вот-вот порвут его. Я удивляюсь тебе, я говорю тебе лечь, но ты уходишь от окна к столу и включаешь настольную лампу; ты садишься перечитывать письмо — и вдруг пиджак, наброшенный на стул, упирается тебе в плечо чем-то твёрдым. Ты опускаешь руку в карман — я успеваю в два шага и несильно бью тебя по запястью. Я переношу пиджак на кресло

в кухне; ты следишь за тем, как я иду через комнату, — ты без слов говоришь: ты знаешь, что там, в кармане.

Ты не знаешь ничего. Ты ничего не знаешь.

Ты думаешь о других женщинах — о женщинах, кроме тебя. Ты видишь их ночь за ночью: всё в нас с тобою перепуталось, и сны, бывает, сходят не к тому или не к той. Когда мне снятся белые клумбы или пыльные улицы, которых назавтра не вспомню, когда снится мама, о которой наутро запрещу себе думать, — тогда ты смотришься в чужие спальни и сорочки, ты видишь губы, сложенные в поцелуе, и резкие движения, от которых сон становится тесным и душным. Пробудившись, ты не можешь заснуть — и смотришь остаток ночи в потолок: тогда до самого утра мне снится чернота — безо всякого значения и содержания. И наконец утро, всякий раз — одно и то же: порой не знаю, зачем просыпаться, если каждому дню начинаться с твоих бледных губ, с твоих выцветших глаз.

На рассвете ты уходишь в кухню, берёшься за кастрюли; я исчезаю из дома, ничего не съев и не сказав ни слова в оправдание. Да и какое оправдание? Вся моя жизнь — это ты и бесконечный бой: раунд за раундом. Удар за ударом — перед

чемпионатом трижды в день, потом бег и брусья, а после — не единой мысли: тогда между мною и городом, от которого стараюсь бежать, пролегает не одно лишь море, но и глухая, непропускающая ни звука усталость. Иногда в каком-нибудь переулке, когда возвращаюсь домой, покажется знакомым крыльцо или трещины в оконной раме: следом промелькнут в памяти чётки из янтаря или край расшитого золотом покрывала — и, бывает, проступит сквозь сумерек родное лицо, такое печальное; тогда с особенной болью понимаю, как не хватает мамы. Бывает, привидится и отец: часто, когда ты злишься, черты лица складываются знакомым рисунком. (Стоило вспомнить отца — и словно сделался тяжелее конверт в кармане пиджака.)

Квартал до арены иду, неспособный остановить воспоминания. Шесть лет здесь, вдалеке от дома, — пускай теплоход пересекает это “вдалеке” за четыре дня, однако море становится бесконечным, раз невозможно вернуться. И до этого — три года там, с семьёй: оттого, что приходилось скрываться и прятаться, дом казался далёким уже тогда. И теперь отовсюду чудится шёпот: что же, будет мне судья на небе, а кроме него — пускай себе шепчут, не стану их слушать. Ты мне грех

— ты же и кара моя: я тебя не люблю. Любил — это да: готов был платить за любовь жизнью — и ведь заплатил. Моя жизнь осталась там, а мы — здесь, смотримся друг в друга — и никак не сказать, что нет любви, что пропали, что ждём чего-то, будто не знаем чего, а знаем мы точно.

В раздевалке пусто; одежду и сумку — в шкаф с полустёртой цифрой: шесть или восемь. Проходя мимо зала, заглядываю: единственный луч, плотно-жёлтый, пересекая темноту, упирается в центр ринга. Следующий час — в гимнастическом зале, ещё полтора — у груши: удар за ударом, пока не случится обед. Только когда ложка уходит в суп, вспоминаю, что не ел со вчера; в голове обрывками строчки, мысли, нескладные одна к другой, — и почему-то шум: от усталости — или же теплоход бьёт белой грудью о волны. В мутной поверхности супа отражается тренер: кто-то заболел, завтра в полвосьмого бой, разминка — в полпятого. Сегодня можно домой; спасибо, тренер; выспись как следует; хорошо, тренер; ну, береги себя.

Шесть или восемь; убирая перчатки в сумку, замечаю трещину на синей коже: ничего страшного, эти — тренировочные. Для боя — другие, на них не сосчитаешь трещин и швов: они от

отца — подарил после первой победы. Какая-то тревожная мысль — и тотчас вспоминаю, гляжу на пиджак, одиноко повисший в пустом шкафу, опускаю пальцы в карман. Конверт гладкий и холодный: перед глазами твои пальцы — бегут, бегут с бумаги на шёлк. Достаю сложенный втрое лист — и снова: Аллах забрал отца в пятницу утром, похоронили вчера, береги вас Господь. О прощении — ни слова: ни мать тогда, ни отец теперь не сумели простить — что же, будет мне судья на небе.

Возвращаться домой через город, полный солнечным светом, непривычно — и словно неправильно. Горит ярче утреннего; закроешь глаза — и бегут под веками слова белёсыми бликами. Пятница, Аллах, вчера. Наконец дома, бегом через три этажа, открываю дверь — тебя нет ни в спальне, ни в кухне, ни в углу у умывальника. На секунду странное облегчение: всё кончено — и вот уже гадаю, что заставило тебя выйти из дома, не оставив записки и не предупредив.

Ты появляешься через полчаса — с букетом белых ирисов: для отца. Теплоход будет в восемь, третий причал — ты справлялась в кассе. Нужно сказать сейчас — рука почти тянется к карману, но замирает на полпути. Конверта больше нет,

письмо осталось бледными клочками в уличной пепельнице за ареной; я один против тебя; я молчу.

Мясо, лепёшка, одинокий бокал: настойка или вино. Бокал остаётся пустым; проходит сколько-то времени — и ты возвращаешь его на полку. Потом опять: в восемь, третий причал. Я отрываюсь от скатерти — и вот твоё лицо: в нём не стало ни красоты, ни живости. Мама говорила: мы с тобой похожи, словно Господь отразил нас друг в друге, — неужели и моё лицо потеряло теперь всякую жизнь, словно раньше срока умерло? И всё же какая-то мысль, простая, но спасительная, мерцает то и дело в стёклах буфета, в зеркале разлитой по кастрюлям воды. Нет; нет же, в полпятого — разминка, в полвосьмого — бой; ты иди одна; иди одна; одна. Умываю лицо, мыло щиплет глаза — и только теперь разрешаю себе единственную слезу: от неё не станет, не может стать легче, она ничего не изменит — и всё-таки спокойнее оттого, что постепенно, по частицам ухожу в никуда, перестаю быть собой. В спальне шуршит пиджак, в кармане пусто — ты никак не поверишь в эту пустоту. Возвращаюсь в кухню, наполняю бокалы вином; протягиваю тебе один, встречаемся взглядами; сквозняком приносит от

стола бумажные салфетки, сквозняк пахнет ирисами. Садимся на край кровати — через минуту бокалы пусты; ты смотришь в кухню — белое пятно букета мерцает, словно привидение. Ты ничего не знаешь: это вдруг доставляет мне удовольствие — и вместе с тем заставляет ненавидеть себя. Почти не думая, выбираю удовольствие — и вот твоё плечо свободно от сорочки, вот уже пальцы сжимают грудь: знаю, в мыслях ты твердишь молитву за молитвой — я же не помню ни одной. Сорочка — прочь, ты уже где-то подо мною; бледная кожа, резкий вдох — и хрупкие пальцы чертят следы на моей груди; если что-то и возникает между движениями — стон или сопротивление — это длится не дольше секунды, это не может остановить, не может изменить. Вот уже кончено: я нахожу бокалы на полу, наливаю снова; возвращаюсь в спальню: выпиваем медленно — засыпаем скоро. В этот раз видим каждый своё; ты — оконный переплёт и улицу с каштанами, я — какую-то давнишнюю осень: перекрёсток, пучок салата, пыльные цветы на обочине.

Утром говорю что-то на прощание, оставляю тебя у окна, — ты прячешь лицо в ирисы — иду по улицам, не зная, куда деть себя до полпятого. Вспомнив сегодняшний сон, спускаюсь к реке,

становлюсь на пересечении проспекта и крохотной улочки: здесь она впервые прошла навстречу — а потом рядом в автобусе, потом улыбнулась с трибуны; всё время — близко, всякий раз — случайно. Потом заметил, как она выходит из магазина, прижимая к груди бумажный пакет с салатом, идёт через сквер; я — за ней. Она обернулась — спокойно, плавно; в самом конце сквера — ещё раз. Постояла у подъезда — ждала, пока я перейду проспект, — успела оторвать клочок салата, положила в рот, затем вошла. Я поднялся на четвёртый, увидел выкрашенную жёлтым дверь: приоткрыто, внутри — шорохи и движение. Я остановился на последней ступеньке, в мыслях — бледные губы, бесцветные глаза; развернулся и ушёл. Спустя неделю после боя — записка: там-то в такое-то время; думал пойти — не пошёл. Пошёл в другой раз — сразу в дом на проспекте: четыре пролёта, жёлтая дверь, нажимаю на звонок, тишина — и в этот раз, и в следующий. И так всю осень: разочарованно спускаясь по лестнице, понимал, как не люблю тебя, как хочу её, эту случайную. И на всю осень — один и тот же вечер: раз за разом безмолвный упрёк, беззвучное перечисление всех неспрошенных имён, всех неслучившихся любовей.

Иду вдоль реки, выхожу к морю; море и небо рисованы словно одной краской — серые, ко всему безразличные. Ставлю сумку на парапет, сажусь на брусчатку — лицом к волнам. Сколько ни вглядывайся в горизонт — конца не видно; белые полосы волн — чем дальше, тем меньше: сначала чёрточками, затем точками, и даже там, где море как будто сливается с небом, не существует никакого решения — и невозможно представить, что есть иной берег, бывший раньше домом — бывший раньше всем. Где-то в этой серой безграничности скользит теплоход — тысяча незнакомых лиц и один пустой промежуток между ними — ты никак не поверишь в пустоту, ты не можешь поверить. Весь последний год — бесконечное ожидание: ждём чего-то, будто не знаем чего, а знаем мы точно. И видим там, впереди, одно мучение — оно сильнее мучений земных, хоть и кажется, что сильнее муки не придумать. Ты как-то сказала, что будет только хуже, только больнее, — но ведь и лучше, легче будет; не может не быть. Здесь, в этом городе, каждым днём, что делим с тобой, пятнаем свои имена перед Господом, а там — там уже будет кончено и будет с нами решено, и будет милостив Господь — отвернёт наши лица друг от друга, и не

станет твоих глаз, и не увижу в твоих глазах всего пути, всего нашего падения: ни первой ласки, ни материных слёз, ни теплохода, ни писем. И не станет уже ни лиц, ни глаз — только и будет что шёпот, от которого никуда не деться, который не забудет и не забудется, — пускай себе шепчут, не стану их слушать.

Да и не услышать ничего нового, если всё известно наперёд: встану, оправлюсь, отряхну сумку. Пойду вдоль реки, ты — навстречу, неся через улицы ирисы; ты не заметишь меня — или не скажешь и слова, заметив. На ринге ещё пусто: чернота, жёлтый луч; в раздевалке раскрою сумку, ругнусь, увидев тренировочные перчатки заместо старых отцовских. Оставлю вещи — шесть или восемь; разыщу тренера, потом час: растяжка, суставы, дыхание. В какой-то момент почувствую мятную свежесть ирисов, увижу тебя на причале: твоё лицо неотличимо от сотни других лиц, отмеченных надеждой. На горизонте появится теплоход — и причал смолкнет, целиком устремившись к палубе, полной невнятного движения; тренер ударит мне в плечо, рявкнет, заставит вернуться к настоящему: встаю на весы, закрываю глаза, когда прожектор щупает меня своей тёплой рукою. Начнётся бой — для тех,

кто, сделав свою ставку, теперь кричит с трибуны имя — моё или нет; для меня — ничто не начнётся и не придёт к концу: всякая вещь, всякий запах, которым пронизана арена, которым пропитан этот город, — всё твердит о невозможности, о бесконечности исхода. Во множестве лиц, устремлённых к рингу, мне снова увидится причал, увидится трепетное ожидание — и одно лицо чуть ближе, ровно против меня, — твоё: случившаяся в нём перемена не удивит, не способна удивить меня; ты как-то сказала, что будет хуже, больнее. Ты приблизишься — по какой-то затейливой траектории: петляя, кружась; меня обдаст цветочной горечью — и кислотою пота: толпа исчезнет, провалится в глубину города; ты останешься одна: причал потемнеет, теплоход обернётся к морю, чтобы плыть от твоего взгляда; я наконец отвернусь, чтобы не видеть твоего лица, — и внезапно, впервые за столько лет разгляжу вдалеке дом, разгляжу мать и отца, разгляжу всех наших братьев и сестёр, разгляжу каштаны, за ними — окно в растрескавшейся раме, а под окном — молочного цвета клумбу — чуть примятые шершавым ветром ирисы — разгляжу это белоснежное море, покрывшее собою опустелый край, эту живую жизнь, рас-

кинувшуюся посреди ничего, — я сделаю шаг к этой жизни, я буду знать, что за моей спиной ты уронила в воду цветы и, развернувшись, пошла вдоль реки, чтобы больше не возвратиться.

Я не почувствую удара — лишь услышу, как волна бежит на гибкие стебли; я различу какую-то птицу: она расставила крылья — и вот её уже нет.

Василий Авченко
Отец Мороз

– Отчего у вас в Сибири так холодно?
– Богу так угодно!

Антон Чехов

Я северянин, я ценю тепло.

Варлам Шаламов

…Кто хотит на Колыму —
Выходи по одному!
Там у вас в момент наступит
Просветление в уму!

Леонид Филатов



Мёрзну я в ноябре, когда теплейший, ласковейший, золото-медный, бархатно-кленовый октябрь вдруг линяет в какие-то два дня — его сдувает северняк.

В муссонном нашем Владивостоке всегда ветер, и всегда — в лицо. Минус пятнадцать ощущаются как все минус сорок.

В двигателе внутреннего сгорания есть узел под названием “термостат”. Сразу после пуска, пока мотор ещё холодный и его нужно прогреть до рабочей температуры, термостат закрыт. Антифриз (он же охлаждающая жидкость, но на самом деле — столь же охлаждающая, сколь и согревающая) до поры циркулирует по малому кругу, не проходя через радиатор. Когда мотор догреется до штатных градусов, термостат откроется, позволяя антифризу ходить по большому кругу — через радиатор, чтобы отдавать излишек тепла атмосфере и не допустить перегрева. Недогрев мотору не полезен, перегрев — смертельно опасен, как и езда без масла: двигатель может *словить клин*, и ремонт станет бессмысленным.

Какой-то свой термостат есть и у человека. В жару системы организма — кровообращение, потоотделение, дыхание, что там ещё — работают на отвод тепла (собаки — те ещё и язык высовы-

вают, он у них вместо радиатора). В мороз — на сохранение.

В декабре, когда мой неспешный внутренний термостат переключается на малый круг, я перестаю мёрзнуть. А в январе мороз уже начинает доставлять самое настоящее удовольствие.

Владивосток расположен на когтистом полуострове меж двух заливов, зовущихся Амурским и Уссурийским (гидронимы эти призваны сбивать с толку шпионов: до Уссури отсюда — километров триста, до Амура — все восемьсот). Амурский зимой замерзает — видимо, из-за того, что разбавлен пресной водой Суйфун-реки. Здесь, пробурив лунки, горожане ловят корюшку и навагу. Меня в своё время приобщил к этому медитативному занятию отец — геолог по профессии, таёжник, рыбак и философ по призванию.

Постороннему не понять, каково это — целый день сидеть на льду, на ветру и голыми руками сдёргивать серебристых, пахнущих свежим огурцом рыбинок с крючка или распутывать коченеющими пальцами “бороду” из лески.

Но дело в том, что есть, по аналогии со вторым дыханием, и “второе кровообращение”.

Сначала кажется, что ты почти отморозил руки; стучишь потерявшими чувствительность конеч-

ностями по бёдрам, ожидая первого признака жизни — боли.

Потом мороз как будто приотпускает.

А после наступает миг, когда твой термостат переключается в особый, чрезвычайный режим. Ты сбрасываешь рукавицы, бодро помахиваешь удочками-самодурами и даже ополаскиваешь ладони от крови и чешуи в тёплой, около нуля, воде лунки. С руками ничего страшного не происходит — разве что краснеют и приопухают ненадолго. А хóлода не замечаешь вовсе, особенно если клюёт.

Трудно только первые два часа.

Или первые десять лет.

Или — десять поколений.

***

В детстве и юности хóлода я не любил (как и, например, острого перца). Мечтал о жарких странах. Представлялось, что в холоде живут только те, кто по каким-то причинам не может себе позволить жить в тепле.

Да, человек стремится к комфорту и теплу, статистика говорит сама за себя. Уместно говорить о климатической миграции: с дальневосточных северóв люди едут во Владивосток, из Владиво-

стока — в Москву, оттуда — в тёплые заграницы … Но большинство, даже кляня на словах русский климат, так и остаётся жить в морозе. И не потому, что не хватает денег перебраться в тепло.

Понадобились десятилетия, чтобы, продолжая любить лето, жару и бултыханье в Японском море, я стал любить и мороз. Перестал воспринимать зиму как время, которое нужно перетерпеть, сжав зубы. Теперь я с удовольствием *живу* зимой, с наслаждением мёрзну и отогреваюсь. Понял разумом и ощутил телом: холод полезен, нужен, даже спасителен.

Заносило в несколько тёплых стран — Азия, Европа, Америка … Везде было хорошо, но почти ничего не запомнилось, не отложилось, не выкристаллизовалось.

Территорией откровения для меня стали Колыма, Сибирь (причём не городская, а та, что поглуше), Чукотка, Якутия. Туда, подальше и посевернее, тянет по-прежнему, даром что путешествовать уже, в общем, надоело. Бодайбо, Индигирка, Алдан, Усть-Нера, Сусуман, Сеймчан … Оттуда городская телевизионная повестка кажется потусторонней и ничтожной. Там столько красоты — дикой, бесхозной, изолированной самим расстоянием от человеческих скоплений.

…Стланик, желтеющий ягель, языки снега по склонам сопок. Летом даже у полюса холода в Якутии — самая настоящая континентальная жара; и как же удивительно видеть по долинам речек двухметровые синеватые наледи, не тающие при тридцати со знаком плюс.

— Кондиционер включили! — восхищённо говорит владивостокский человек, выходя летом из самолёта, приземлившегося в магаданском аэропорту Сокол. Кондишка здесь — естественная, бесплатная и непростужающая.

Зима где-то на колымских просторах: морозный туман, угольный дым из труб, не способный подняться высоко, — моментально стынет и расползается шляпкой гриба …

Холод заставляет нас вырабатывать тепло и ценить его. Южанам не понять, что такое весна и потепление, и как приятно войти в натопленное помещение с мороза, и что такое тёплое, но не перегретое море.

Баня — это хорошо, особенно когда снаружи — холод, снег, прорубь. Но нельзя всю жизнь провести в бане, никакое сердце не выдержит. Врачи знают, сколько инфарктов случается в жаркие дни. Вечное лето ничем не лучше вечной зимы.

Когда жар — нужно прикладывать лёд. Хо-

лодный душ, считается, отрезвляет и уж точно — освежает.

Жарче всего — в аду. Не нужно торопить ад.

Птицы, зимующие в Бирме или Вьетнаме, лето проводят на Чукотке. Здесь, на свету полярного дня, они выводят птенцов. Самое главное в их жизни происходит на Севере. А почти чкаловские перелёты держат в тонусе.

Природа сделала так, что самая благородная рыба — чир, муксун, омуль, нельма — живёт в холодных реках и озёрах. В южных, мутных и грязных, водятся разве что всякие крокодилы и прочая антисанитария. То же — с морями: дикий русский лосось, признанный мировой бренд, гуляет в северных водах, насыщенных кислородом и планктоном.

Русские алмазы спрятаны в суровой Якутии, золото — на ледяной Колыме … Не сама ли география говорит: сокровище не должно даваться легко — в этом случае оно обесценится и разрушит человека, — и потому драгоценное следует скрыть далью и морозом? Не для того ли богатства прячутся на севера́х, чтобы мы всерьёз посмотрели на холодные пустынные пространства, поняли, что они-то и есть наше главное и сокровенное, а не модные шумные города и

тёплые беззаботные курорты?

Если сейчас не умеем ценить доставшихся нам холодных вод и мёрзлых, но правильных территорий — научимся потом. Случайно ли именно Полярная звезда стала путеводной? Мечтать нужно о Севере и холоде, и выиграет тот, кто осознает это первым. Когда люди поумнеют или повзрослеют, они потянутся на север — в сторону, куда указывает каждый исправный компас. Человечество спасают полярные круги, а не экватор. Когда всё сгниёт или затопится — останутся севера́. Если растают льды — не станет человека.

Морозность, дикость, необжитость наших земель — само по себе богатство. Подлинный золотой запас, которому не грозит обесценивание. Смена сезонов, этот контрастный душ, — великое благо. Как хорошо, что в России есть всё — от паковых льдов до субтропиков; что нам ведома вода во всех её агрегатных состояниях; что мы — люди широкого температурного диапазона, градусов в шестьдесят и даже больше. Чёрное море и Белое, Анапа и Анадырь, Приморье и Поморье дополняют друг друга, придавая облику нашей страны эстетическую и климатическую гармоничность. Быть только северянином или только южанином — слишком узко, как быть только европейцем

или только азиатом. Юг без севера, лето без зимы — что расколотый магнит, плюс без минуса, свет без тьмы, инь без ян.

***

Россия — самая северная и холодная страна в мире.

России без морозов не бывает. Более того, без морозов её бы не было.

Холод сформировал нашу страну и нас самих. Низкие температуры — важнейшая составляющая матрицы нашего национального ДНК. Морозы так и надо воспринимать — как часть нас самих. Это они “холодной ковкой” дали нам и саму жизнь, и жизнестойкость.

Холод создал русскую водку, которую следует пить студёной, зайдя с мороза, и закусывать салом, этим энергоаккумулятором, который не каменеет и режется на любом морозе.

Русскую одежду, включая великий ватник.

Ледокольный флот — даже не лучший, а единственный в мире.

Русскую печь, на которой Илья Муромец копит силу, а Емеля передвигается.

Русскую баню.

Всё уже давно понято и сформулировано — до

нас, за нас, для нас, ничего не нужно выдумывать:

Мороз и солнце; день чудесный …

Или:

Зима! Крестьянин, торжествуя …

Наш любимый герой — Дед Мороз (не Санта-Клаус, даже не Николай Чудотворец), причём это именно добрый и заботливый дедушка. А ещё — Морозко, и Мороз Иванович, и Мороз Красный Нос …

Наши главные праздники — Новый год и День Победы, в котором воевода Мороз, генерал русской армии, сыграл свою роль.

Холод — наш отец. Мы — дети мороза, его верные отморозки. Мы растираемся снегом и купаемся в нём же. Христа крестили в тёплом Иордане — мы на Крещенье окунаемся в ледяную купель.

Мороз — наша физиология и психика, такое же наше, как язык. Лишившись его, мы потеряем самоё себя. Наверное, можно изменить почерк или даже рисунок папиллярных линий, заставить себя думать на чужом языке — но зачем? Всё равно что ребёнку желать себе других родителей. У кого-то, может, папа спортивнее и мама красивее, но родители — одни, других нет и не будет.

Потеплев, Россия перестанет быть собой. Это будет, вероятно, симпатичная страна — но уже не Россия.

Тот же Гончаров записал: “Сколько холодна и сурова природа, столько же добры и мягки там люди … Сибирские природные жители — добрые люди. Сперанский будто бы говаривал, что там и медведи добрее зауральских, то есть европейских. Не знаю, как медведи, а люди в самом деле добрые”. Чем суровее климат и чем меньше людей на квадратный километр, тем теплее отношения между ними и тем ценнее каждый отдельный человек. Лучшие люди, каких я встречал, — северяне. Ключ к выживанию на морозе — не конкуренция, а кооперация. По-другому в этом месте не прожить. Суровые условия диктуют совершенно иной формат взаимоотношений, нежели “человек человеку — волк”. Волков вокруг и так хватает.

Жара расхолаживает — мороз мотивирует, стимулирует, мобилизует. Это справедливо и для биологического организма, и для государственного.

“Россия — это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек”. Знаменитую фразу Константина Победоносцева можно трактовать как

угодно. Лихой человек — разбойник, но “лихой” — ещё и “бравый”, “смелый”, “отважный”. Да и слова “ледяная пустыня” можно произносить воодушевлённо и восхищённо. Тем более что Россия для нас — не ледяная пустыня, а ледяной дом. Мы знаем, что и снежно-ледяные стены — греют.

Лёд — наша мёртвая вода, без которой и в живой нет никакого смысла.

Ещё одному Константину — Леонтьеву — принадлежит другая знаменитая фраза: “ …Надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не гнила”. Подморозить, чтобы сохранить. В фантастике есть расхожий криогенный сюжет: людей замораживают, чтобы когда-нибудь разморозить — живыми и невредимыми.

“Что русскому хорошо, то немцу смерть” — это и о морозе, причём слово “немец” здесь можно понимать как угодно широко. Медаль за зимнюю кампанию на востоке 1941–1942 годов гитлеровские солдаты прозвали “мороженым мясом”. Правильно прозвали — знали, о чём говорили. Но если отвлечься от человекоубийственного контекста, то на эти слова можно взглянуть иначе: мясо и морозят именно для того, чтобы оно не испортилось, не *пропало*. На жаре появляются мухи и болезни — холод дезинфицирует и стери-

лизует. На севере замерзает грязь и вымерзают микробы. Даже павшие мамонты в мерзлоте хранятся вечно.

Один из героев Платонова говорит: “Для кого в снегу смерть, а для меня он — дорога”. Даже сегодня в России огромное множество мест, где проезжий путь появляется лишь с морозами, когда встают *зимники*. Оттепель же вызывает *распутицу*. Вот и папанинцы оказались на краю гибели не тогда, когда отчаянно мёрзли на Северном полюсе, а когда их льдина, удрейфовавшая в сторону Гольфстрима, начала таять и крошиться.

Китайцы не собираются занимать Дальний Восток не только потому, что у нас бдительный Карацупа и атомная “кузькина мать”, но и потому, что у нас холодно. Силовые линии изотерм защищают нас, подобно невидимому укрепрайону. Линия генерала Мороза покруче любых линий Маннергейма или Мажино. Россию охраняют не только лихие пограничники, но и ледяной бронежилет по периметру.

Нас боятся не потому, что у нас есть танки и ракеты, — у них тоже есть танки и ракеты. Нас боятся потому, что мы умеем жить на холоде.

В известный афоризм об армии и флоте как

двух главных союзниках России следует добавить наши недра, наши пространства и нашу зиму. Войском должен кто-то командовать — вот он и командует, бессмертный генерал Мороз, наш бессменный главковерх, не требующий жалованья и пайка. Его давно пора произвести в генералиссимусы. Он заслужил.

***

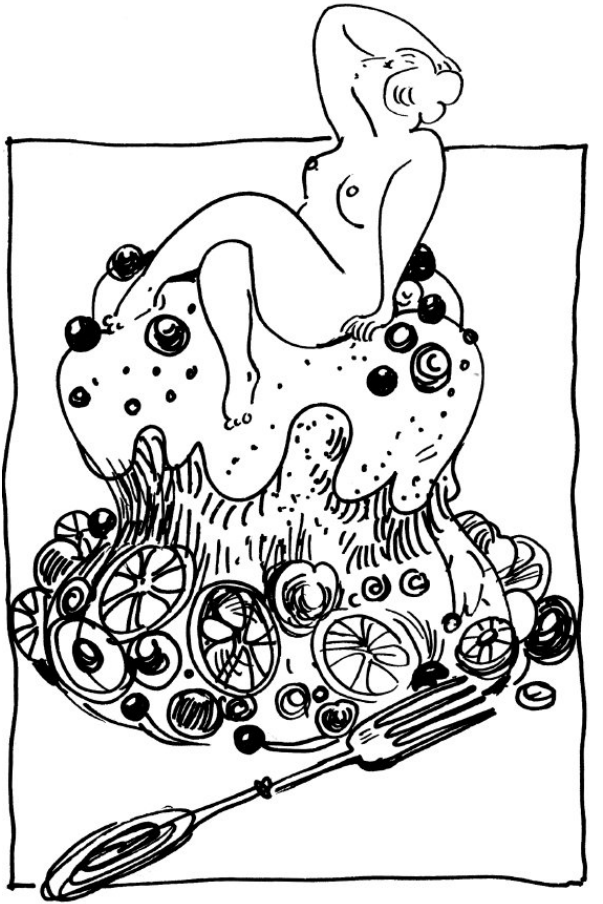
Прошлое лето было во Владивостоке аномально жарким. Перегретое море не освежало. В тайге не вырос целебный лимонник, в море — чудодейственный гребешок …

А теперь и зима закончилась, промелькнула, под ногами — снова грязь и слякоть. Всласть помёрзнуть на этот раз так и не успел.

Ничего, следующая зима не за сопками. Явится по расписанию, драгоценная наша. Буду ждать.

С самыми холодными пожеланиями, автор

Татьяна Замировская
Кк



Развернула себя из плаща, как будто обёртку с пирожка. Нет, не согласовывается. Сняла с себя плащ, будто целлофан с пирожка. Нет, не согласовывается. Вынула себя, будто пирожок, из целлофанового дождевика. Нет, не то. Пирожок снял с себя целлофан и повесил на вешалку в углу. Но там уже висела гора тёмного, мутного, как в прокуренном клубе. Нет, штамп.

— Заходите, заходите! — заулыбалась хозяйка квартиры. — Вон туда, в спальню можете рюкзак кинуть, прямо на кровать кидайте, на покрывало, и плащ тоже можете.

Спальня была в самом конце коридора: квартира уходила вдаль, как парадоксальный прямой лабиринт без единого закругления, — был ли сам дом таким длинным, как его коридоры? Дарина осторожно положила плащ на полосатую шероховатость покрывала. Вот и развернули пирожок добрые люди.

Все уже собрались в огромной, неправдоподобно просторной для этого узкого дома гостиной — все обычные, отметила Дарина, никаких там калек, инвалидов, безногих (безногих она боялась больше всего, это был какой-то старинный мем с чудовищными опечатками про белый шум — не согласовывается, одёрнула она себя, вся твоя

жизнь — опечатки про белый шум, дура ты дура). Обычные люди, как в метро или кафе. Некоторые даже в офисной одежде: девушка в чёрном похоронном пиджаке с приколотым к нему золотым цветочком гинкго.

— Спасибо, спасибо! — раскланивалась, как чибис, круглая и длинноногая хозяйка. — Нас сегодня немного больше, есть новенькие, но не беспокойтесь, это проверенные новенькие, с рекомендацией участников клуба.

Дарина испугалась, что придётся вставать (она взгромоздила свой бледный сырный пирог на шаткий табурет в углу около напольной лампы, напоминающей хирургический софит) и рассказывать о себе, и оглядываясь одними лишь глазами, чтобы себя не выдать, мысленно подсобрала информацию: работаю редактором в издательстве детской учебной литературы, родилась в Твери, что ещё, должно быть что-то ещё.

— Смотрите, у нас сегодня будет довольно массивный раунд, главное блюдо одновременно как бы и десерт, — объявила хозяйка. — Это ну, скажем, немало. Но отказываться нельзя! Все помнят: в прошлый раз Настасья отказалась, и сейчас её нет среди нас и не будет уже.

Тут хозяйка внимательно посмотрела на Дари-

ну, у которой уже болели от всех её выкрутасов глазные яблоки.

— Это для новеньких.

— Хорошо, — закивала Дарина. — Я так счастлива, что мне удалось среди вас оказаться, и было бы непростительным с моей стороны …

Ее никто не слушал, поэтому Дарина тут же замолчала. Как только она замолчала, все на неё посмотрели. Она вздохнула: да, на неё все всегда смотрят. Некрасивых людей интересно рассматривать; красивые же все одинаковые.

После вступительного слова хозяйки гости немножко разбрелись, разбившись на группки и компании, кто-то уже схватил пластиковые фужеры и начал цедить из них грушевый сидр с едкой безалкогольной пенкой, все оказались знакомыми друг с другом, и Дарина снова напрягла измученные мышцы глаз — должен же кто-нибудь к ней подойти, она же новенькая.

— Вы же знаете, кто сегодня будет? — спросила стоявшая совсем рядом, почти задевая Дарину плечом, высокая худая девушка у двух, предположим, подруг. — Рудольф, что ли? Вы видели Рудольфа? Он тут или вышел в туалет?

— Внимание! — хозяйка постучала ножиком о жестяное, покрытое капельками ледяного пота

ведёрко для дурацких безалкогольных бутылок с сидром. — Сейчас внесут! Готовность номер один! Разговорчики прекращаем! Настраиваемся!

Дарине раньше постоянно снились точно такие сны: странная большая компания в огромном доме за городом, все приглушённо переговариваются, и из предвкушающего сгущения тревоги рождается шёпотное заговорщицкое «удалось достать сегодня, удалось», и потом выносят на блюде, скажем, бумажного отварного цвета ветвистые бронхи, и обязательно нужно съесть кусочек, иначе все обидятся.

— Герман! — объявила хозяйка. — Друзья, сегодня у нас Герман! И не забываем: мы должны съесть Германа всего целиком! У нас есть потенциал, нас двадцать три человека, все взрослые люди. Согласны?

Все замолчали, закивали и заулыбались.

— Герман! — шёпотом выдохнула девушка в кожаных шортах поверх клетчатых колгот. — А он же в прошлый раз Катю не ел? Или ел?

— Да ел он! — толкнула её локтем, допустим, подруга. — И не только ел, кстати.

Дарина мысленно покатала языком внутри рта безвкусное мочало бронха: ни разу ещё у неё во сне не получалось сглотнуть.

***

Всё началось на той вечеринке, где она отказывалась от еды настолько яростно, что какая-то рок-н-ролльного вида девица, вся в безвкусных цепях (лицо при этом у неё было идеальное, гладкое, навеки двадцатилетнее, словно вылепленное из мягкого розового мрамора), насела на неё: почему не ешь турецкий пирог, да я сама сделала турецкий пирог, а вот кюнефе, это сладость такая, бабушкин рецепт, почему не ешь, ты такая худая, а у нас вот принято, чтобы все ели!

— Мне необходимо сбросить ещё четыре килограмма, — подчеркнуто доверительным тоном сообщила Дарина. — Я непростительно растолстела за время карантина и теперь стараюсь прийти в своё привычное состояние.

— Да посмотри на себя! — заорала девица. — Ты же тощая, как доска! Ты, что ли, тоже из этих, анорексичек? Ты чья подруга, ты откуда тут? Алису знаешь? Откуда ты её знаешь?

Дарина вздохнула. Девица продолжала наседать, откуда-то вокруг них образовалась ещё стайка девчонок — тоже гладеньких, как конфетки, — и все принялись щебетать об анорексии, нелюбви к себе, бодипозитиве: обо всём, что к

Дарине не имело никакого отношения; вероятно, это был какой-то стандартный party talk, когда толпа малознакомых людей кидается, как голодные собаки на кусок мяса, на подброшенную в компанию довольно безопасную тему, в рамках которой можно как-то раскрыться перед незнакомцами и социализироваться. Одна довольно полненькая девочка сказала, что каждое утро ровно полтора часа, не меньше, измывается над собой в спортзале — именно измывается, настояла она, потому что родители её регулярно наказывали в детстве, и вот она теперь наказывает саму себя, потому что если не наказывать — вырастешь плохим человеком, и вот она выросла, дальше расти некуда, а тело требует регулярных наказаний. Кто-то начал долгую дискуссию про BDSM в контексте этих вот наказаний; одна девушка призналась, что практикует это с обоими бойфрендами и ничего патологического в этом нет, обычная практика, которая просто нравится и никак не связана с детскими травмами и недолюбленностью, тут же зашла беседа о пластической хирургии и липосакции, мол, женщина должна иметь право быть красивой прежде всего сама для себя, поэтому если уж ей хочется какие-то определенные сиськи — мы

её осудить не можем; алкоголя всё прибывало и прибывало, и беседа становилась совсем уж надсадной, потому что каждая пыталась рассказать свою историю, перебивая остальных.

Дарина вдруг обнаружила, что держит в руке кусок какого-то липкого сырного пирожка. Его притащила девица, которая спрашивала про Алису.

— Мне просто интересно, сможешь ли ты хотя бы откусить, чтобы попробовать, или у тебя всё настолько плохо.

Дарина помотала головой. Девица потащила её к зеркалу, обхватив за плечи, как задушевную подруженьку.

— Посмотри на себя, где тут худеть, куда тут худеть?

Дарина внезапно решила сказать правду, потому что всё равно все были пьяные и никто уже никого не слушал:

— У меня всё тело — это надутые дряблые белые колбасы, похожие на спущенные дирижабли, которые уже никогда не взлетят. Вот взгляни на мышцу руки, — она подняла руку над головой. — Она будто атрофированная, но в то же время раздутая, словно при водянке, и болтается, как флаг при трауре, видишь? И если мне удастся

сбросить вес, то я …

— Бля ты странная! — обрадовалась девица. — Я знаю, с кем тебя надо познакомить! У меня есть одна такая же подруга, вот как ты, в смысле не подруга как ты, ты мне не подруга, я тебя впервые вижу, но она такая же психическая, я вас познакомлю.

— У меня нет необходимости в новых знакомых, — вежливо сказала Дарина.

— Так и у неё нет, — расхохоталась девица. — Просто она ходит в какой-то клуб. Тусовка какая-то для людей с пищевыми расстройствами. Короче, там её починили охуенно, топчик прямо! Она нормальная щас! Жрёт как не в себя.

— И толстая наверняка? — с надеждой спросила Дарина.

— И красивая пиздец! Мужики в очередь стоят, а она их на хуй шлёт! — девица стала копаться в телефоне, чтобы найти фото подруги в подтверждение очереди мужиков, но потом забыла, что искала, нашла фото соседской собаки, родившей каких-то приблудных щенят, стала тыкать в лицо Дарине щенятами (главное, не пирогом, подумала Дарина), рассказывая о драме преступной собачьей любви, а потом спохватилась и попросила Даринин телефон. Та так растерялась, что

просто протянула девице свой восьмой айфон — лишь бы та отвязалась.

— Номер! — замотала головой девица. — Номер мне скажи, я подруге передам, она тебя наберёт.

— А как называется этот клуб? — спросила Дарина зачем-то.

Девица открыла «заметки» в телефоне, ткнула куда-то пальцем и показала Дарине.

— Кк? — удивилась Дарина. — Это так молодежь сейчас пишет «ОК», я знаю.

Через два дня Дарине, так и не скинувшей ненавистные четыре килограмма, позвонила Мара, представилась и сообщила, что у них по пятницам собирается уникальная группа, она пока не может объяснить, какая именно, но совершенно потрясающая и помогающая; и вот одна участница недавно отвалилась и нужна новая, и Дарина идеально подходит, потому что у неё, кажется, дисморфофобия.

— Я не знаю такого слова, — сообщила Дарина-редактор. — Нет такого термина.

— Термина нет, а мы есть, — успокоила её Мара. — Это люди, у которых искажённое понимание собственного тела. Кому-то кажется, что у него слишком большие зубы, например. Кто-то считает себя толстой.

— Я не «считаю себя» … — начала Дарина-пирожок, — я просто …

— Да это не про тебя. Короче, нам нужен новый участник, потому что один — одна — недавно, м-м, выбыла. Да, выбыла. Это очень крутая практика, очень помогающая, уникальная совершенно. Ты научишься любить своё тело и тело вообще, как концепцию. Вот что ты думаешь про своё тело?

«Вокруг костей просто накидана грязная гора мягкого белого мяса, — подумала Дарина. — Рука-шашлык, мясо на палочке, солнце на чердаке, утка в зайце, заяц на игле».

Вслух она сказала:

— В детстве мама всё время меня стыдила за то, как я выгляжу. Почему ты так разъелась? Посмотри на себя, раскабанела ужасно, что ты всё жрёшь и жрёшь, положи колбасу на место, я видела, как ты её из холодильника тайком в свою комнату несла, неужели тебе самой нравится быть такой коровой.

— А меня мать била, — сказала Мара. — Я теперь думаю, она как будто пыталась как-то физически воздействовать на тело, которое она сама фактически сформировала внутри себя и которое оказалось болезненно несуразным, стыдным,

не таким, как у неё. Говорила мне всегда: в отца пошла, это у него ноги кривые были, зачем ты вообще это платье купила, тебе длинные юбки в пол носить надо, с отцовскими ногами-то. У тебя так же?

— Да нет, у меня переживания вокруг телесности все в основном с пищевыми ассоциациями, — вдруг честно сказала Дарина. — Я напоминаю себе какое-то жирное отвратительное блюдо, а я ненавижу жир. И я вся такой дряблый жир уже давно. Я смотрю в зеркало — и вижу сотрясение горы жира, внутри которой прячется моя маленькая незаметная бессмертная душа. А все меня утешают и говорят, что я и так худая. Наверное, так принято говорить.

— Отлично, — дрожащим голосом пылко сказала Мара. — Нам именно такие и нужны. Считай, ты прошла собеседование. Там уникальная методика у нас, и мы её пока что испытываем. А с сексом как, кстати?

— Тоже не могу, — снова честно сказала Дарина. — Он туда меня целует и чавкает, и у меня ощущение, что он меня ест, что я еда в китайском ресторане, которую принято есть с социальным таким, публичным чавканьем, манифестирующим наслаждение трапезой. И меня тошнит.

Когда грудь целует — тоже ощущение, что я еда, но пустая, бесполезная еда, которой не наешься досыта.

— У тебя такие метафоры! — сказала Мара.

— Я редактор в издательстве детской учебной литературы, — объяснила Дарина таким уверенным голосом, как будто именно в детской учебной литературе можно встретить манифестацию наслаждения трапезой и странное слово «досыта».

Мара дала Дарине адрес и попросила не брать с собой телефон — на входе хозяева будут проверять очень внимательно. Наверное, это как анонимные алкоголики, поняла Дарина, только совсем анонимные. Видимо, это какие-то секс-расстановки, мрачно подумала она, но, наверное, можно не участвовать, если не хочется.

— А что там будет такое? — спросила Дарина. — Расстановки?

— Нет, — ответила Мара. — Там будет еда. Но *другая.*

***

Когда из кухни стал медленно, как во сне, поблёскивая растянутым до бесконечности краешком, выплывать поднос с, видимо, Германом,

Дарина закрыла глаза и холодно подумала (и тут же поймала себя на том, что «холодно подумать» невозможно, снова ты выпендриваешься сама перед собой, краденая ты колбаса) — интересно, когда это застывшее мгновенье снова разгонится, как поезд, вынесут ли они сразу всего Германа или какую-то часть, что там ему в себе больше всего не нравилось. Что обычно мужчинам в себе не нравится? Ой, нет. Тогда, наверное, пусть будет целый Герман.

Потом она подумала о том, какую часть Германа она бы съела всё-таки. Смогла бы съесть. Откусить кусочек. Щека, вдруг поймала она себя на неожиданном озарении, щека. Щека, по идее, входит в деликатесное меню: говяжья щека, тушёная баранья щека, ненавистная рыбья щека.

— Это обычное мясо! — однажды сказал ей экс-Борис, разбирая на части огромную голубую рыбу с задумчивой лобастой головой, наполненной костяными полукруглыми запчастями. — Просто ты знаешь, что это щека, поэтому тебе противно. На, возьми! — и протянул ей круглый кусочек мяса: рыбью щеку. Дарина тогда немножко пожевала и выплюнула — на вкус и правда было обычное мясо, просто она *знала*, что это щека.

Почему-то теперь этот опыт казался ей спаси-

тельным. Знакомое мясо, такое, как вырезка или филе, или там рёбра, — это было бы страшно, потому что слишком большая разница между обычными рёбрами и человеческими (снова она поймала себя на странном несогласовании). Обычное ребро нормальное, а человеческое ребро — это противно. А вот щека — она и рыбья противная (но съесть, в принципе, можно), и бычья противная (но съесть тоже можно), и человеческая, наверное, противная (но тоже можно, раз уж она там).

Всё, точно. Дарина твёрдо решила, что не будет отлынивать, как её предшественница, и точно съест маленький кусочек щеки. Наверняка это не криминал: если бы за такое сажали, всех ребят бы давно уже посадили. Может быть, люди вроде Германа подписывают вначале специальные бумаги на этот счёт, это как отдать тело науке, например. Дарина глубоко вдохнула и мысленно согласилась с тем, что иногда всё-таки она может что-то съесть на вечеринке. Хер с ними, с четырьмя килограммами. Сегодня сделаю исключение.

Она раскрыла глаза и от разочарования снова зажмурилась. На подносе был торт: огромный, лежачий, как в крематории, кремовый торт в форме человека. Судя по всему, Германа. Герман

был в морковного цвета костюме. Возможно, и морковного вкуса. Торт выглядел очень достоверно, это был как бы человек-карлик, вроде лежащего на спине гномика с такими натуральными глазами, что, вероятно, глаза всё-таки были взяты у какого-нибудь млекопитающего, может быть, коровки.

Сам Герман стоял рядом (Дарина сразу его узнала, торт был сделан на совесть) и хохотал.

— Апельсиновый с малиновыми взбитыми сливками внутри! Снаружи морковный джем! — объявил он.

Германа начали нарезать; гости зацокали вилками о тарелки: очень вкусно, переговаривались они, очень вкусно.

— Коленку? — хозяйка протянула Дарине блюдечко.

— Нет, мне щёку … Щёки … — вдруг залепетала Дарина.

— О-о-о-о-о! — сказал кто-то. — Как романтично! Такой поцелуйчик, да? Тургеневская дама с литературными метафорами выбирает сладкую щёчку!

Это была Мара, Дарина сразу узнала её по голосу.

Дарина смутилась.

— Попробуй вначале коленку, — Мара сунула ей пластиковую тарелочку с коленом Германа.

Дарина откусила кусочек Германова колена. Хорошо пропитался корж, неожиданно подумала она. Нельзя, нельзя тебе торт, дура сосисочная, запричитало что-то внутри неё, но Дарина изо всех сил постаралась заглушить этот голос: это не торт, это Герман, его нельзя обижать, надо есть Германово тело и радоваться ему.

— Колено, — представил Герман Германово колено, подскочив к Маре и Дарине. — Бежал с горки-кургана, когда мне было три года, и упал — и там шрамик с тех пор, стекляшка в колено впилась. И ничего! Работало потом отлично. Потом я в студенчестве в Карпатах на лыжах катался и порвал там связочку. И починилось. Молодец, хорошее колено. Никогда не подводило.

— Замечательное колено, — подтвердила Дарина, откусив ещё ломтик. — Молодец, действительно хорошо работало.

Тут она снова решила добавить, что не может много есть и что ей надо скинуть четыре килограмма, но было неудобно не доесть колено Германа, раз оно было таким хорошим.

— Щёки! — закричала хозяйка. — Новенькая хотела щёки!

Щёки самой Дарины стали пунцовыми; Герман посмотрел на неё с интересом, и Дарина захотела провалиться сквозь пол (мысленно она заранее поправила себя: не сквозь землю!) — наверняка он сразу оценил её и разочарованно понял, чего именно она ищет в этой группе и зачем пришла; унылая мясная бесформенная толстуха, похожая на размороженную курицу, которую с утра забыли в раковине и оставили отмокать с этой бледной сморщенной кожицей.

Хозяйка осторожно отрезала Герману голову, после чего, повернув голову набок быстро-быстро туда-сюда, как бы поваляв её в кремовой лужице, ловко отрезала правую и левую щёки, отчего Герман-торт стал похож на Дон Кихота со старинной гравюры.

— Но надо съесть всё, — мрачно сообщила она Дарине. Та закивала: оказалось, что при органической невозможности съесть три куска жирного торта на вечеринке есть торт-Германа у неё получается. Возможно, это был бы прорыв, но только вес её от этого меньше не станет. Но, наверное, станет легче самому Герману?

В какой-то момент наступила тишина, и Герман, на которого все гости теперь смотрели масляными сытыми очами, произнёс речь. Судя

по всему, это тоже был такой обкатанный уже ритуал.

— У меня была такая проблема, — сообщил Герман. — Я не люблю себя. Я всегда себя не любил. Это было заметно уже по тому, что я как бы искал повод нарушить целостность своего тела. Отовсюду падал. Ломал руки, ноги, кости. Однажды пьяный упал с лестницы и сломал ключицу и какую-то кость в черепе, но выжил. Тело было совершенно ненавистным, потому что я — это моё тело, у меня не было никакого другого «я», и вот это вот дурацкое нелепое туловище мне хотелось как-то добить совсем. Я хотел его потом, когда добью, отдать студентам мединститута или для пластинации этому доктору Гюнтеру, как его там, ну, вы знаете. Я не понимал, что во мне может нравиться женщинам. Иногда, знаете, просыпаешься с девушкой и думаешь: боже, что она во мне нашла, это же прямо «Красавица и чудовище», какой стыд. Ещё, если мне попадалась прекрасная девушка, я про неё думал: ну, наверное, в ней есть какой-то подвох, раз она на меня запала, не такая уж она и идеальная. И вот я понял: что люди любят больше всего с самого детства? Сладкое, конечно. Поэтому я решил сделать из своего тела десерт, торт. Чтобы в нём было всё,

чего мне было нельзя в детстве или чего было не достать в те времена, финики например.

Все зааплодировали.

— Ужасно вкусное всё, сладкое, прекрасное, замечательное! — закричали какие-то девушки, уже накидавшиеся шампанским. — Ели бы и ели!

— Не забываем! — закричала хозяйка. — Мы должны доесть всё! Всего Германа целиком! Никто ведь не хочет, чтобы Герман решил, что он недостаточно хорош? Никому ведь не придёт в голову, что хоть маленький кусочек руки или ноги Германа недостоин того, чтобы его съесть?

Дарина начала постепенно понимать, что происходит.

— А если случится такое, что участник приготовит что-либо совершенно несъедобное, — она подошла к Маре, стараясь сделать непринуждённый вид и этак туда-сюда помахивать бокальчиком. — И кушать это невозможно вовсе. Как быть тогда?

— Ну, вот такого рода вопросы тут и решаются! — сказала Мара. — Каждый сюда приходит с собственным запросом! Вот твой вопрос сейчас — есть ли человека, который вышел невкусным? — он ведь связан с твоим запросом навер-

няка. Может быть, ты просто боишься, что ты сама — невкусный человек.

Дарина и была невкусный человек — в зеркале она именно что видела какое-то непомерное, гигантское, наспех приготовленное неумелым поваром масштабнейшее блюдо на большую компанию, но приготовленное неудачно — тесто вышло из берегов, специй не хватило, изюм недостаточно размок и горчит камешками под языком. Смотреть в зеркало — это было как заглядывать в эту чужую кухню неудачника.

***

Встречи Кк проходили по пятницам; и спустя пару месяцев Дарина втянулась настолько, что даже ожидала этих встреч — как, наверное, ждут визита к любимому психотерапевту (она не знала, как это). Идея клуба была простой, но, на взгляд Дарины (тоже довольно простой, скептически отмечала она), всё равно революционной: он помогал людям полюбить собственное тело через скармливание его другим людям. Коллективное пиршество работало как мощный социальный и терапевтический момент — анорексичные участники Кк действительно не могли отказаться от поедания соратника, чтобы его не обидеть,

и так втягивались в какие-то новые, нежные и нужные отношения с едой. «А потом я увидела, что мама приготовила курочку, — рассказывала одна из девочек. — И поняла, что я люблю маму и уважаю бедную курочку, которая совсем почти не жила, в отличие от меня, привилегированной антропоморфной коровы. Она сидела в клеточке несколько месяцев, а потом её убили, живую птичку с круглым глазом. И если я отказываюсь есть её тело — получается, она умерла зря и страдала зря, да и жила зря. Я как бы наполняю смыслом и значением её пустую глупенькую смерть. И я, знаете, пошла и взяла себе ножку. А потом бегала на тренажёре и думала: это курочка дала мне энергию, спасибо ей, такая вкусная. Кто бы мне год назад сказал, что я смогу так!»

Каждую неделю приходил черёд кого-нибудь новенького. Среди участников и модераторов Кк ходила, как вирус, тревожная уверенность в том, что когда все друг друга съедят — терапия будет завершена; но случались приятные сбои и обновления состава. Иногда кто-то действительно готовил совершенно несъедобное блюдо — те, кто не мог есть, сразу же выбывали. Кто-то выбывал самостоятельно — так случается, не того человека позвали в клуб (тогда надо очень быстро,

пользуясь проверенными связями и каналами, найти новеньких — а как их искать? — шерстить контакты знакомых психотерапевтов, у кого там есть пациенты с дисморфофобией? легально ли это вообще?) или человек мог удовлетворённо уйти сразу после того, как съедали его самого: терапия слишком хорошо и быстро сработала, бывает и так у некоторых счастливчиков. Многие выбывали вообще не по своей вине, но правила есть правила. Скажем, одна девушка не смогла есть другую, потому что та, другая, приготовила себя как намеренно зашкаливающее океаническими ассоциациями мегаблюдо из всех возможных морепродуктов; у неё было довольно странное расстройство, при котором кажется, что от тебя нестерпимо пахнет рыбой и все этот запах чувствуют; и вот она попробовала сделать что-то именно такое, удушающее и рыбное, и все с этим более-менее справились, а у той, первой девушки была аллергия на морепродукты, и как она ни плакала и ни объясняла — такие правила, не можешь кого-то есть — на выход, до свидания. И даже контактами не обменяться ни с кем, если вдруг сдружились, — телефоны-то все оставляют дома.

Через неделю после Германа мрачная готиче-

ская толстушка Инга приготовила себя, выложив свою морскую фигуру суши по контуру в натуральной пропорции на огромном мраморном столе. Инга не хотела терять соратников по клубу, поэтому некоторые суши были с курицей и со спаржей, не все были с морепродуктами. Были даже сладкие суши-десерт: с манго, малиной и рикоттой. Тогда все не очень наелись, но, по словам Инги, для неё было важно осуществить акт любви к себе именно в попытке себя сервировать идеальным образом: Инга всегда стремилась к тому, чтобы быть удобной и никому не мешать; её маленькое объёмное тело всегда занимало какие-то крошечные пространства в комнатах и всюду становилось именно что контурным, невесомым; поэтому Инга решила, что сделает максимально удобную сервировку (таким образом это будет именно она), но не будет потакать чужому голоду и обозначит только контур (таким образом, она научится следовать собственным желаниям и работать над границами — опять же, контур и символизирует границы, которые Инга с радостью раздаёт всем налево и направо, ешьте мои границы, я вся для вас). Ингу все тоже хвалили, но отмечали: вкусная, но очень мало. Ну уж извините, громко кричала подвыпившая

Инга, сколько дали, столько и ешьте! Я не обязана всем угождать! Было видно, что Инга получает от происходящего удовольствие.

Потом настала очередь Мары, с которой Дарина почти сдружилась (ведь у них были телефоны друг друга), они даже пару раз вместе ходили в бар (только дринки на базе текилы, строго говорила себе Дарина, никакой еды, а вот Мара вовсю лопала хот-доги на кукурузной булочке, уже посчитав, что терапия работает), — та приготовила себя как суп, это был кислый тайский суп и там в котле беспомощно, как сбитая над озером утка, плавала голова, такая капустная разваренная голова, это была голова Мары, дурацкая и глупая, ненавистная и слишком большая, никакие шляпы не подходят, и вместо мыслей мерзкий дурацкий тревожный суп, сколько можно. Суп вышел потрясающе вкусным, Дарина дважды ходила за добавкой — оказывается, даже тревожность можно как-то контейнировать, проварить да и забыть о ней.

Иногда хозяйка делала короткие мотивационные выступления, как правило, на тему еды — чтобы вдохновить тех участников, кто себя ещё не готовил.

— Вы должны обратиться к своему внутрен-

нему ребёнку! — вещала она, сидя на высоком чугунном барном стуле. — Дети обычно ужасно сладкие. Как булочки. У кого есть дети, поднимите руки! Вспомните, как хочется ребёночка скушать, когда он совсем новенький, будто прямо из печи. Какие ножки у него тугие, будто рогалики молочные. Или там подгузник меняешь, и вдруг за попу хочется укусить и вообще съесть целиком, такой сладкий. Вот вы должны обратиться к своему такому внутреннему ребёнку, которого так и хочется съесть. И вернуть себе своё тело. Его священность. А после этого разрешить нам себя съесть — как самого сладкого в мире младенца.

Были и сложные эпизоды: скажем, у 18-летнего Никиты никогда не было девушки и ему казалось, что дело именно в теле, что именно с его телом всё катастрофически не так, понятно, с какой конкретно частью (хотя откуда девушкам, которых у Никиты никогда не было, знать о неких проблемах с этой конкретной частью?), но и это он как-то попытался скрыть, поэтому сделал национальный литовский кекс шакотис. Было очень вкусно, все отламывали от шакотиса крохкие рожки и прямо стонали от удовольствия. Это рецепт Никитиной бабушки из Паневежиса, она всегда так делала шакотисы, пришлось ещё

и рецептом со всеми делиться — тут уже везёт самым памятливым на пропорции, телефонов-то нет. Никита потом больше не возвращался, кстати, — со слов приведшего его в Кк друга, у него появилась девушка, просто огромная какая-то любовь и нет времени ни на что.

Довольно скоро очередь дошла до самой Дарины. На тот момент она всё ещё имела сложности с едой, но уже целых три раза сходила на свидание с Германом (его телефон было легко запомнить — когда Дарина это заметила, Герман засмеялся и сказал, что именно поэтому он перевстречался с доброй третью участниц Кк; Дарина, как всегда делала в таких ситуациях, никак не отреагировала), и однажды они даже были в итальянском ресторане и разделили там пасту с грибами. После ужина Герман предложил поехать к нему (правило третьего свидания?), но Дарина представила, как он будет на неё утром смотреть и думать, что она, наверное, самого низкого сорта, раз пошла к нему домой, а она ведь и правда низкого сорта.

— Я излечился, — объяснил Герман. — Я больше так не думаю про девушек. И я видел, как ты ела мои щёки. Ты вот макароны эти не можешь доесть, а щёки мои съела. Я лицо из марципана лепил, чтобы было похоже. Там знаешь сколько

сахара?

— Давай в следующий раз, — скучным голосом сказала Дарина, не ощущавшая в этот момент никакой разницы между собой и мерзко растянувшейся по тарелке, будто пляжная развратница, белёсой плоской макарониной.

Но перед следующим разом жребий выпал на неё.

— Мы не будем видеться эту неделю, — сообщила она Герману. — Я буду готовиться.

— Тебе нужна помощь? — спросил он.

— Ты сумасшедший? Это мой индивидуальный выход.

У Дарины было шесть дней, это немного. Шесть дней! И почему она раньше не подумала о том, как будет готовить себя саму?

Она сразу поняла: это будет не торт, ничего сладкого. Надо приготовить стыдное и свиное, вроде холодца. Например, молочного поросёнка. Дарина пошла искать молочного поросёнка, и когда наконец-то нашла молочных поросят на фермерском рынке, поразилась не столько цене, сколько тому, какие же они хорошенькие даже мёртвые. Дарина не была даже на десятую часть такой же хорошенькой, как молочный поросёнок. К тому же поросят было ужасно жалко, а Дарина

хотела бы, чтобы приготовленное ей блюдо не вызывало жалость, а просто было бы жирным и безвкусным, как она сама.

Тогда, наверное, жирный цыплёнок-бройлер, такая огромная надутая будто насосом курочка. Можно даже, усадив курицу правильным образом, сделать из неё как бы человека. Где-то Дарина даже видела такое на фотографии. Но курицей не накормить 23 человека. Снова свинина? Генетически свинья ближе всего к человеку, но от воспоминания о молочном поросёнке свело скулы. Медведь? Однажды тётя Дарины приготовила медведя — её дачный сосед-охотник завалил медведя и притащил тёте внушительный ломоть медвежьей вырезки. Тётя потушила медведя в сметанном соусе и предложила Дарине кусочек. Есть его Дарина не могла, на вкус медведь был как человечина. Но откуда она знает, какая на вкус человечина?

Во всяком случае, теперь ей было понятно, откуда корни у этого дурацкого сна про бронхи. Это всё тёткин медведь со вкусом человека. Какой вкус у человека?

Дарина, изогнувшись, лизнула себя в изгиб локтя. Человечина была белой, безвкусной и безыскусной колбасой. Дарина подошла к зерка-

лу — огромная белая колбаса, вот она что такое.

Несколько вечеров подряд она бродила по рынку, будто призрак, в поисках подходящего материала. Однажды её взгляд задержался на завёрнутых тугими, немножко надутыми кольцами бледных колбасах, чуть-чуть напоминающих её икры и предплечья. Дарина, смущаясь того, что продавщица, свивающая колбасы в тугие и будто невесомые шланги, заметит это сходство, и нарочито безразличным голосом спросила, а что это за колбаса такая.

— Белая колбаса Айя-Браски, — важным голосом сказала, поигрывая колбасой, продавщица.

Смеётся надо мной, поняла Дарина. Конечно, смешно, подходит женщина с колбасными такими предплечьями и хочет купить себе немножко ещё.

Тут Дарина поняла: она и есть эта колбаса. Надо брать.

— Айя-Браску мне, — серьёзно сказала она. — Много.

— Чего? — спросила продавщица. Видимо, первоначально Дарина как-то не так расслышала название колбасы. Дарина молча указала на колышущиеся коконы колбас.

— Сколько вам? — протянула продавщица.

Дарина еле дотащила пакет домой. Колбасы были будто живые и стремились расползтись из пакета как угри. Толщиной они были с велосипедную камеру. Дома Дарина внезапно поняла: да что же можно приготовить из них? Какой в них вообще смысл? Она грустно вывалила на стол белую груду. Потом повесила гирлянду из шлангов себе на шею — колбаса на колбасе, красота. Дарина подошла к зеркалу, чтобы окончательно убедиться в том, что она никогда в жизни не выглядела настолько по-идиотски, — и не поверила своим глазам. Почему-то в отражении в зеркале колбасы были намного больше — тугие, надутые, они приветливо колыхались, как дирижабли.

Чудо, поняла Дарина. Вот оно. Настоящее чудо.

С чудом обычно сразу понятно, что делать. Это повседневность приходится как-то распаковывать, оформлять, искать ей применение. А с чудом всё ясно, никаких вопросов.

Она так и готовила блюдо перед зеркалом — дирижабли колбасы послушно двигались куда надо (Дарина довольно быстро научилась определять зеркальное право-лево), укладывались слоями, надувались и сдувались там, где положено. Там, где можно было лепить, словно из мягчайшего в мире воздушного пластилина, Дарина лепила,

чувствуя в ладонях давно забытую пульсацию; в тех точках, где надо было чуть-чуть отрезать, колбаса вертляво поддавалась зеркальному тесаку, как самая послушная в мире корова, мечтающая быть съеденной. Там, где необходимая была тестяная раскатка, сжимающее усилие, телесная тяжесть, Дарина ложилась прямо перед зеркалом на колбасу и приминала её к полу, чтобы та не всплывала, не взмывала к потолку, а подчинялась гравитации и вбирала в себя отпечатки Дарины. К утру у Дарины была готова её точная копия — во всяком случае, в зеркале она видела ещё одну Дарину, невесомую и жирную, целиком вылепленную из первозданного материала, из которого боженька наверняка создал и изначальную, первую Дарину, — из белой колбасы Айя-Браски. Дарина ощущала такое удовлетворение, что даже поймала себя на мысли: а стоит ли завтра вообще идти в Кк?

К тому же вне зеркала получившееся выглядело настолько непрезентабельно, что Дарина, стараясь даже не смотреть на него, просто накинула поверх блюда кухонное полотенце, а сверху ещё навалила слоёв целлофана — так даже удобнее будет тащить всё в такси.

Назавтра, на встрече Кк, Дарина так волно-

валась, что к ней из сочувствия даже никто не подходил, — она отводила взгляд (вслух бы она сказала «отводила взор», отметила мысленно Дарина и тут же себя в очередной раз возненавидела за эту убогую книжную церемониальность и неспособность разговаривать с людьми открыто и спонтанно), жалась к стене, отворачивалась; кое-как поздоровалась с Марой и с Германом. Герман вопросительно округлил глаза: получилось? — а потом, приложив кулаки к ключицам, мило помахал локтями, как в танце маленьких утят: видимо, спросил, приготовила ли Дарина себя как уточку.

…Когда наконец-то её объявляют, Дарина от волнения даже не может зайти в кухню, чтобы схватить поднос. Хозяйка приобнимает её за плечи и ведёт будто на казнь. Дарина стесняется своих плечей (и того, что она плебейски подумала именно «плечей», а не «плеч») — вот хозяйка потрогала их и, наверное, её пальцы погрузились туда, как во взбитое безвкусное масло.

Дарина выносит себя, ставит на стол, зажмуривается и сдёргивает кухонное полотенце одним решительным жестом, как фокусник. Потом, стараясь не раскрывать глаз, посматривая под ноги какими-то щёлочками, пятится обратно, к

стеночке.

Сквозь спасительно неразличимый гомон она слышит, что гости как-то распределили колбасу по тарелкам: смущённо звенят вилки — то о зубную кость, то о фарфор.

— Ой, а что это там внутри? — слышит она чей-то голос.

— Надо же, какая она! — поддакивает кто-то.

— Офигеть! — кричит женский голос.

К ней подскакивает Мара и щёлкает перед её прищуренным лицом пальцами: раз, два, три, а ну-ка открой глаза, дорогуша.

— Что ты туда вообще положила?! — спрашивает она. — Все в шоке вообще. Что это такое невероятное?

— Белая колбаса Айя-Браски, — хочет сказать Дарина, но не может: это съели её язык.

— Тебе как это удалось?! — Мара хохочет. — Признавайся! Что там?!

Дарина медленно поднимает руку, чтобы потрогать язык, но ничего не происходит: кто-то съел её руку.

— Невероятно, — говорит ей Герман. — Кто бы мог подумать, что внутри будет такое!

Дарина хочет уйти, но ноги не двигаются: их уже разобрали.

— Очень вкусно, — слышит она отовсюду затихающие (кто-то ест её уши) голоса. — Ты такая молодец, ты идеальная, в тебе всё идеально.

Идеально, думает Дарина и наконец-то исчезает совсем.

Последнее, что она видит перед тем, как исчезнуть, — её идеальное тело улыбается и плачет, и его все обнимают и поздравляют, и оно действительно идеальное, и как жаль, что дальше оно пойдёт без неё одно, пойдёт без неё само: бедное, белое, красивое, самое красивое в мире, самое лучшее, лучше всех.

Ася Долина
Тег



Тег

Всё началось с тега в инстаграме. Я мало проявляю себя в соцсетях, но провожу в них много времени, разглядывая чужие миры, обслуживая далёкие от меня субъективные реальности и получая за это небольшие, но собственные деньги. Я оформляю блогерам иконки “вечных сторис” в инстаграме, делая простой и понятный дизайн стартового слайда.

Делая что?

Неважно. Такая услуга сейчас востребована. Платят. Это моя первая работа после родов, мой первый островок финансовой независимости от мужа и моя первая за последние 18 месяцев безопасная зона: возможность быть интернет-невидимкой, скользящей по неведомым спальням, гостиным и кухням, хотя бы капельку снимает с меня чувство ответственности, а оно будто бы воспалилось, болит и не проходит с тех пор, как я стала родительницей.

Я читала у одной многодетной мамочки в посте, что беби-блюз проявляет себя и так: ощущение, что ты каждую минуту жизни кому-то что-то должна, будто бы затапливает, поглощает все

остальные эмоции. И ты в результате не чувствуешь ничего, кроме раздражения от ежеминутных задач и хлопот.

Мне никто не помогает.

Неважно. Моя безопасная зона — это социальные сети, а моё безопасное время — после 11 вечера. Муж, ведь ему завтра на работу, — уже, как правило, в глубокой отключке. А малышка сопит в кроватке — это основной блок младенческого сна; после двух она начнёт пробуждаться примерно каждый час — и так до утра. Я всегда встаю к ней сама. Я кормлю грудью, даю водичку, сую соску, качаю, пою песенки, шепчу стишки-потешки, меняю подгузник и даже практикую в это время замедляющее мышление дыхание для медитаций.

Вроде как если я буду дышать медленнее, то и ребёнок успокоится. Не помогает. Она просыпается и просыпается.

Я устала. Я привыкла полуспать и полубодрствовать. Я знаю, что, когда вот-вот выйду из себя от бессилия, надо выметаться на балкон и дышать там тишиной и холодом. Тишина и холод — так в двух словах можно описать мои точки контакта с собой прежней.

Мне 38, и у меня, наверное, постродовая де-

прессия. И без того негустые волосы остаются в ладони, когда я наскоро принимаю душ. Всегда была худой и немощной, а теперь к моей худобе добавилась ещё и дряблая кожа живота. Что будет с грудью, когда я остановлю ГВ? Она тоже станет висеть. Я понимаю про бодипозитив и учусь принимать себя.

Но отражение в зеркале кажется мне ну просто объективно не очень симпатичным. У меня бывало прежде, что я вышибала из внешности искорку при помощи укладки, макияжа и одежды, подобранной по советам стилиста из инстаграма.

Но сейчас у меня нет на это ни времени, ни энергии. Кажется, когда-то моё тело знало путь к удовольствию и покою. А не к вечному льду неудовлетворения, тревоги и утомлённости.

Но оно, тело, совершенно забыло этот путь за девять месяцев беременности и девять месяцев раннего материнства. Тело как будто перестало быть моим инструментом и стало чьим-то.

Детским, ведь младенца надо питать и психически, и физически. Мужниным, потому что он просит ласки и секса, а я не хочу вообще никаких прикосновений, но всё равно впускаю его внутрь себя. Моё либидо не вспыхивает ни в начале, ни в середине, ни в конце процесса. Он просто

шумно дышит, когда кончает. Так надо. Потому что иначе, говорят, вся эта хрупкая семейная конструкция и вовсе может посыпаться. А мне оно не вовремя сейчас.

Когда-то моё тело знало путь. Но теперь я не хочу, чтобы конструкция посыпалась.

Неважно.

Это случилось 18 января как раз около 11 часов вечера, когда мои спали и я работала менеджером “вечных сторис” в инстаграме. Я вернулась в гостиную с балкона, отряхивая снег с волос, снимая пуховик, накинутый поверх халата, и мне на экран ноутбука вылетело уведомление.

“Вас отметили в публикации”.

Reels — это как тик-ток, короткое музыкальное видео с подписями. Как правило, остроумное и задающее тренд. Ну, чтоб другие потом могли использовать этот же приём и повторить. Или экспертное. Но не в этом случае. Я помогаю иногда блогерам писать сценарии рилз, но чтобы отметили меня?

Марина Минкина — конечно, я сразу узнала её — тоже следовала тренду. “Покажи себя в 13 лет”. Я не видела её больше четверти века. Она стала довольно популярным блогером — 107 тысяч подписчиков. Да и не могло быть иначе. Её всегда

было больше, чем меня. Она выросла такой же яркой, какой я её запомнила.

Я начала смотреть рилз. Ролик состоял из небольшой подборки старых фотографий, кадров и рисунков. Но главное — оцифрованная запись с аналоговой видеокамеры. И на той плёнке с помехами — мы с ней. Давным-давно. “Покажи себя в 13 лет”. И случайно покажи НАС.

МЫ — подружки. Я — Сашенька Полонская, дочка учительницы музыки, худая, бледная и низкая, жидкие сероватые волосы собраны в хвост. А Марина Минкина словно отлита из другого металла. О, я помню это впечатление.

Наши ноги в шортах одинаковой длины выше колена, но из моих зелёных торчат две жалкие детские палки с синими венами, а из её красных — настоящее богатство, тугая персиковая кожа ляжек. Марина — это королевская прямая спина и большая круглая грудь, толстенная коса блестящих тёмно-рыжих волос и золотая россыпь веснушек. Марина — это хитрая улыбка тонких ярких губ и две будто бы перевёрнутые улыбки хищных голубых глаз. А ещё она меня выше на две головы и шире в плечах. Марина — это целое государство. Уже в 13.

Я посмотрела рилз Марины раза три, вглядыва-

ясь в запись, сделанную кем-то из родителей 25 лет назад во время баскетбольной игры в городском лагере, и вдруг …

…Волна деликатного, но сильного тепла стала подниматься от моего тазового дна вверх, к солнечному сплетению. Я отреагировала не разумом, а телом. Оно вспомнило что-то. Хотя так долго, получается, не вспоминало. Я опустила левую руку вниз к бедру и прощупала его сквозь скользящую тонкую ткань халата.

Стыд

Мне было 13. Детство уже ушло, а юность ещё невозможно было примерить на себя, я как будто провалилась в безвременье между возрастами. Бабушка болела и не могла быть со мной на даче, я осталась в городе. Тоска.

Марина стала моей проводницей во взросление. Уже после того, как баскетбольный городской лагерь кончился, в июле, она предложила пойти к ней в гости. Её мама была на работе.

Марина жила в старой коммунальной квартире на первом этаже. Это была какая-то Тверская-Ямская, минутах в 15 от меня.

Марина усадила меня на диван в одной из двух комнат и принесла нам из общей кухни фанту в бутылке и две чашки с отбитыми краешками.

25 лет спустя 18 января после 11 часов вечера, взрослая и уставшая, я опустила руку на живот ниже пупка и почувствовала, как там жарко вспыхивает стыд. Марина со своим рилзом взбудоражила не просто моё тело. Она как будто заговорила с давно спящей, потерянной частью меня.

Там, у неё дома, на диване, я любовалась пузы-

рями в фанте, настолько сильно мне нравилось происходящее. Марина заботилась обо мне, в те минуты она была ко мне добра. Думаю, что я никогда до того не сближалась ни с кем, кроме родственников, я не знала ничьей заботы, кроме маминой, и этот уровень контакта заставил моё сердце биться быстрее. Мы пили фанту. Мы обе росли без отца. И мы проводили лето в городе. Оно было бы совершенно безнадёжным, если бы не возникла Марина. Она материализовалась в моей унылой жизни, просто взяла и отошла от стены, как дух.

Там, у неё дома, она предложила что-нибудь посмотреть. Я точно помню, она сказала “что-нибудь”.

Неважно. Она велела мне выбрать из видеокассет, стоявших на полке слева от телевизора. На наклейках было напечатано: “Назад в будущее”, “Звёздные войны”, “Тутси”, сборник мультфильмов Уолта Диснея. Я ещё думала над выбором, когда Марина взяла со стола два пульта в полиэтиленовой плёнке, включила по очереди экран и видеомагнитофон и нажала play.

Вначале я услышала странные звуки, потом скосила взгляд на изображение, которое оказалось справа и снизу от меня. Я не поняла, что

вижу.

Извивались два взрослых женских тела, они были без голов. Я уверена, что головы у порноактрис на самом деле были, просто я запомнила так. Одно тело ласкало вульву другого. Вот тогда-то низ моего живота и скрутило от горячего, незнакомого мне до того, резкого, колющего, режущего стыда.

Что я такого видела? Секс, снятый крупным планом. Я не знала, что можно практиковать оральные ласки. Я понятия не имела, что можно такое снимать. Мои щёки залило пунцовым, дышать стало трудно, и — главное — мышцы туго свело внизу.

Лицо Марины было хмурым и незаинтересованным. Она нажала “стоп”.

Не паузу, а именно “стоп”, чтобы картинка пропала вовсе. Думаю, я просмотрела секунд семь или десять.

Но этого было достаточно, чтобы нарушить мой ещё всё-таки детский мир.

Марина небрежно бросила “извини”, она объяснила, что это, видимо, кассета её мамы и дяди Миши, которая случайно осталась в видеомагнитофоне. Она вдруг любезно спросила, какой фильм я выбрала. А я почти не могла го-

ворить, моё сознание заливало первым в жизни неконтролируемым и едва переносимым возбуждением. Я противилась ему, и потому — то жжение, тот стыд.

Она нажала eject, видак выплюнул неподписанную кассету. Я была в такой растерянности, что сама удивилась своей просьбе поставить ещё. Хотя бы пять секунд.

Марина закатила глаза и процедила, что не станет ЭТО смотреть. Я не могла тогда уловить механику, по которой её настроение вдруг менялось. Но тепло выливалось из неё моментально, как из дырявого таза, голубые глаза становились хищными, капризный рот — злым. Крупная свирепая лисица с косой рыжих волос. Дьяволица.

Резким движением отправив плёнку обратно в магнитофон, она нажала play и немного промотала вперёд. Снова play — на этот раз мужчина без головы входил членом прямо в безымянную женщину. Они, лишённые личностей, но имеющие плоть, стонали. Меня распирало от незнакомых сильных чувств, я не умела ни идентифицировать их, ни дать им названия, ни осознать, что творится с разумом и телом, это был своего рода бэд-трип под сильнодействующими гормонами. Приземлив непослушное тело на край дивана, я

смотрела во все глаза, а потом в испуге перевела взгляд на ледяное лицо Марины. Она к тому моменту уже сменила раздражение откровенным презрением.

О эта жалкая, вцепившаяся руками в диван я, с которой никто и никогда не говорил о сексе. Эта монументальная, прямо держащая спину 13-летняя Марина с чашкой фанты. Почему никто не тегнул меня в рилз, где она ставит мне третьесортное пиратское порно по видаку?

“Ну что, тебе достаточно?”

Другое кино нам в тот день так и не удалось посмотреть. Как я ни пыталась ей угодить, наладить разговор, вернуть нас в то мгновение, до кнопки play, как я ни пыталась вернуть туда и СЕБЯ, она оставалась каменной и злой.

Потом начало темнеть, и мне стало пора.

Она нарочно тогда поставила порно или это правда была случайность? 25 лет спустя это воспринималось как участие в эксперименте, где Марина контейнировала во мне всё то, к чему брезговала прикоснуться сама, наблюдая за моими реакциями, как биолог. Потом я догадалась, что она тоже чувствовала тогда жжение внизу живота. Стыд, соединивший нас секретом и заставивший её рассердиться.

Вернувшись тем вечером домой, я почти сразу выключила в комнате свет, зарылась в кровать и накрылась одеялом с головой. Ночью проснулась, ворочаясь из стороны в сторону, от острого мучительного бреда — передо мной неслись сотни ярких картинок, вырванных из контекста и лишённых какого-либо смысла. Были среди них и кадры из фильма “Назад в будущее”, герои которого разговаривали на превосходном русском лично со мной, была и оранжевая лужа фанты, по которой я отчего-то плыла в зимней одежде, были ноты, разбегающиеся в хаосе по нотному стану, и обнажённые тела мужчин и женщин без голов, которые тянулись друг к другу. Перевёрнутые улыбки Мариниых глаз, которые становились красными.

В три ночи, когда мама измерила мне температуру, градусник показывал сорок по Цельсию. У меня начался грипп. Болеть летом, до самого конца июля, было обидно. Но обиднее было то, что Марина так легко переставала быть мне опорой, так быстро становилась чужой.

Хотя я знаю точно, что не ошиблась тогда. Наша дружба была особенной, я тоже была ей для чего-то нужна. И при том что внешне мы представляли собой полные противоположности,

внутренне нас друг к другу тянуло.

Молоко

Я стала работать менеджером иконок “вечных сторис” в инстаграме ещё и потому, что у меня осталось мало персональных удовольствий. Честнее даже будет сказать, что у меня оставалось мало персональных мгновений.

Через визуал чужих блогов я стала наблюдать за тем, как другие люди трудятся и отдыхают, налаживают режим спорта и питания, посещают психотерапевтов и веселятся до глубокой ночи в барах и клубах.

Мой список радостей даже неловко было составлять. Чтобы меня никто не трогал? Чтобы со мной никто не начинал диалог? Чтобы ребёнок не плакал ещё полчаса? Чтобы муж побыстрее заснул и не лез похотливо дышать мне в уши и назойливо трогать меня под покровом общего одеяла?

Поэтому я смотрела на чужие радости и наполнялась пассивным представлением о том, каково это — жить осознанно, насыщенно и качественно.

Это тоже пострродовая депрессия. Я буду лечить её.

Время, которое мать проводит в слиянии с младенцем, — на вес золота. Это неоценимый вклад в психическое и физическое здоровье будущего человека, бондинг и теория привязанности в действии, бла-бла-бла. Контакт кожа к коже. Но мне сейчас кажется, что всё это довольно бессмысленно, ок? Что я стала дурой и обабилась. Да я и была дурой. Просто более худой и преподающей фортепиано детям на дому. Вся в мать. Что я отупела и мне только пелёнки с отрыжкой подавай.

Неважно.

В моём списке радостей были душ и балкон, дневной сон, который иногда получалось организовать по выходным, вечные сторис чужих благополучных женщин и чашка чая со сгущённым молоком. Я знаю, это советский пережиток из категории “Советы кормящим мамам”. Но именно чай с молоком мне захотелось унаследовать от мамы как привычку. Чашка с ним стала моим безмолвным тёплым спутником после заветных 11 часов вечера.

Так вот, когда я посмотрела рилз, в котором Марина отметила меня, тело вдруг напомнило мне о лете 25-летней давности ещё и вкусом. Я задумалась, оторвала взгляд от экрана, сделала глоток горячего напитка и вдруг отчётливо ощу-

тила не сладость, а горечь на губах.

Горечь от молока.

Школьное руководство организовало баскетбольный городской лагерь для детей, которым некуда было деваться летом. Так всё и началось. Это были ежедневные походы в ту же самую школу, куда я ходила весь учебный год. Только первые пару часов мы маялись в классах, а потом выходили на спортивную площадку, где под руководством физрука Александра Анатольевича неумело бросали мяч в корзину.

Я никогда не любила физкультуру и мне не был интересен баскетбол, но маме было важно, чтобы я не слонялась все три месяца бездельницей по московским дворам.

А в самом начале июня появилась Марина Минкина.

Она не училась с нами, я вообще никогда прежде её не видела. Но она села рядом со мной, за одну парту, за первую парту, и я запомнила ту раскованность, ту естественность, с которой меня стало обволакивать её дружбой. Она была в джинсовом платье. У неё были голубые глаза и рыжие волосы.

А на спортивную часть дня мы переодевались в шорты и футболки, которые и попали на то видео.

Кто его снял? Мама Марины?

Неважно.

Один июньский день в лагере выдался настолько жарким, что нам запретили находиться в помещении. Всей группой мы отправились на баскетбольную площадку в парке. Едва выросшую грудь щемило от непонятного предвкушения. Лето как обещание бесконечности, в которой нет ни каторги школьных обязательств, ни программы по музыке из четырёх произведений, этюдов, концертов, гамм и экзекуций зачётов … Зачем я стала учительницей музыки?

“Полонская, ты же дочка Полонской, скажи, почему у талантливой мамы такая слабая дочь?” Четыре с двумя минусами.

Летом я играла все три месяца одну лёгкую программу под маминым контролем. У лета не было конца, оно тянулось, как лизун, во все стороны и весело прыгало по ступенькам дней пластиковой пружинкой цветов радуги. Все тогда помешались на пружинах, которые надо было перекатывать в руках.

У меня не было пружинки. Зато я знала, как делать свистелки из стебля одуванчика, и владела техникой создания одувановых кудряшек. Это когда стебель расщепляется на четыре ленты,

скреплённые сверху головкой цветка, и вся эта конструкция погружается в стакан с холодной водой. Одуванова плоть извивается, создавая узор. Я носила с собой для этого банку из дома.

Завивкой одуванчиков мы с Мариной и занимались в тот знойный полдень в парке. Мы наполнили банку водой из шланга для полива травы. Мы не вышли играть в баскетбол. Марина отмазалась от спорта грозно и величественно, намекнув физруку, что у нас обеих “те самые дни”. Хотя на самом деле ни у меня, ни у Марины ещё не было менструаций, но мы о них мечтали.

Марине мама дала с собой упаковку печенья “Юбилейное” и яблоко. Мне моя — бутерброд из двух кусков белого хлеба и яичницы между ними. Когда мы накрутили уже целое войско из одуванчиков и они стали послушно “мариноваться”, решено было устроить пикник. Это Марина так сказала о нашем скромном позднем завтраке — “пикник”. Она умела.

Почему она не отметила меня в рилз, где мы лежим в траве около забора из сварной сетки? Разложили ветровки, которые мамы клали в наши рюкзаки на случай дождя, и стали полулёжа делить куски нарезного батона с яичницей, печенье и даже кусать по очереди яблоко. Я съе-

ла в конце его сердцевину и огрызок вместе с косточками, настолько сильно мне нравилось происходящее.

Потом мы лежали и смотрели на облака, похожие на куски ваты. Стрекотали насекомые, а я украдкой любовалась Мариной. Её веснушки от солнца стали ещё более золотыми, коса стелилась по зелёной траве. Меня грел сам факт: я наедине с новой подругой.

Что в ней было таинственного? Я взрослая делаю глоток чая с молоком и понимаю, что она была обыкновенным подростком из девяностых. Как я. Постсоветским и распахнутым. Диким, как сорняк. Как одуванчик, выросший между бетонных плит московской стройки.

Хотя она тоже была ребёнком, рядом с ней я ощущала себя взрослее. Вернее, я чувствовала потребность взрослеть прямо сейчас, немедленно, ни минуты больше не медлить.

Когда Марина вынула из банки цветочки и стала рассматривать получившиеся завитки, она спросила меня, пробовала ли я молоко из их стеблей. Я сказала, что его трудно не попробовать, когда всё детство делаешь из них свистульки.

А она вдруг посмотрела на меня пристально, помолчала несколько секунд и прошептала: “Оно

сладкое”. Какое-какое? “Сладкое”.

В Марине было это. Способность называть чёрное белым, раздвигать границы, нарушать правила, ставить под вопрос прописные истины. Я бы, может, и рада была, если бы молоко одуванчиков было как мёд. Но оно было досадно горьким, и мне всегда приходилось тщательно облизывать губы после игр с этим растением.

Но Марина настаивала. Я сорвала очередной цветок у нашего импровизированного изголовья, показала ей белый ободок на срезе и предложила: “На! Попробуй сама, оно отвратительное, это вообще не молоко никакое, его невозможно пить. Им можно отравиться”.

Она стояла на своём и велела мне попробовать жидкость самой, чтобы убедиться. Я взяла стебелёк в рот и втянула в себя то, что из него выделялось. Омерзительно. Почему я всё время соглашалась на её странные инициативы, поддавалась манипуляциям? Отчего мне так важно было любой ценой сохранить контакт с Мариной?

Она, улыбаясь и щуря глаза, уверяла меня, что я ошиблась в своих ощущениях и на этот раз и сок — сахарный. Она даже якобы добавляла его в чай.

Я попыталась поспорить: “Но мои губы горькие прямо сейчас!”

Она засмеялась и предложила: “Ну хочешь, я докажу тебе и попробую его сейчас тоже? Прямо с твоих губ?”

С моих губ? Мной было легко вертеть. Мгновение назад я ещё спорила с ней, опираясь на какой-никакой, но собственный опыт. И вдруг я замираю в смятении. Она продолжила: “Приоткрой рот, и я слижу”. Я сделала как она просила и рефлекторно закрыла глаза. Я не успела понять происходящее, но та степень близости, которую мне предлагала эта едва знакомая девочка … эта степень выходила далеко за пределы того, что я испытывала в жизни или могла испытывать даже в самых ярких фантазиях.

Рилз должен был быть таким. Я сижу перед Мариной, закрыв глаза и приоткрыв рот — в ожидании чего-то, близкого к первому соприкосновению с губами другого человека. Хотя она всегда могла бы объяснить, что просто пробовала молоко одуванчиков.

Я зависла так на долгие, вязкие, мучительные мгновения. А она …

…Так и не прикоснулась ко мне, сделав паузу и страшно, как только она и умела, засмеявшись.

Дьяволица. “Ты что, правда подумала, что я слижу молоко с твоих губ?”

Я ничего тогда не думала, но помню точно, что мои губы были горькими.

Поздним вечером 18 января, когда я вернулась с балкона, стряхнула с волос снег, сняла пуховик и увидела тег в рилз в инстаграме, моё тело что-то вспомнило.

От самого низа, от земли, от пола, от ковра, от пяток в домашних шлёпанцах, через икры и бёдра — к тазовому дну, к промежности. К ягодицам и нежной коже ляжек. Этот бег озноба по коже охватывал меня всю. Выше — к мягкому после родов животу, к молочным железам, к солнечному сплетению. Через шею — в затылок, в челюсть, всё лицо. Губы, щёки, нос, веки, брови, лоб. И наконец-то макушка — словно кто-то пробил в моей голове дырку в открытый космос. В холод балкона, где тихо шёл снег.

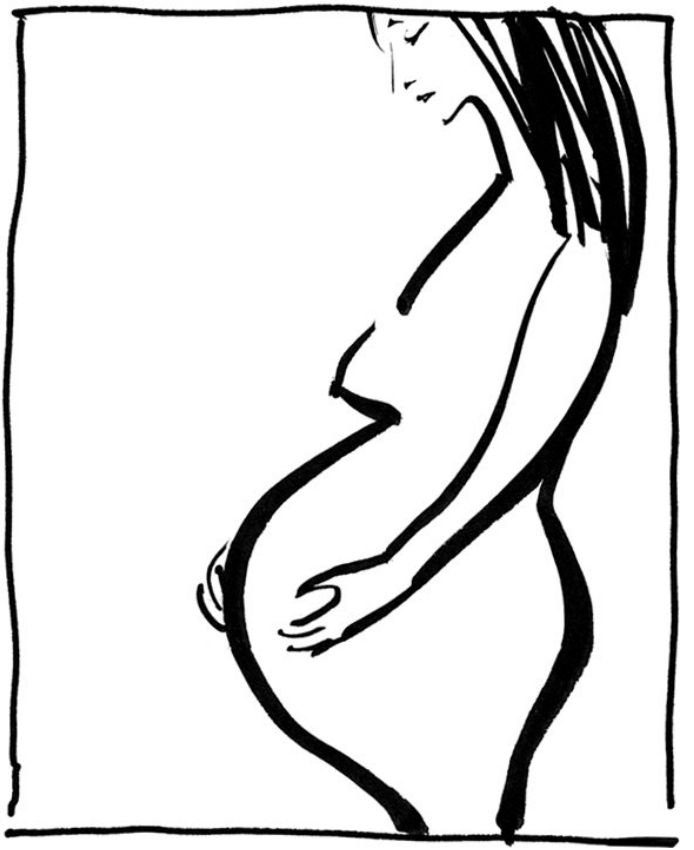
Меня передёрнуло от воспоминаний, которые моментально пронеслись перед глазами, когда Марина Минкина отметила меня в рилз. Передёрнуло так сильно, как будто с меня вдруг со звоном осыпалась ледяная корка. Впервые за многие месяцы я почувствовала себя живой. Я проснулась.

И я написала ей в директ.

“Привет, рада видеть тебя. Давай встретимся на кофе?”

Екатерина Манойло

Мы с тобой одной крови



Кровь вышла из меня 23 декабря 2000 года на школьной дискотеке, я запомнила дату, потому что в этот день впервые надела лифчик и считала себя очень взрослой.

очень. взрослой. я. считала. себя. двадцать. четыре. года. назад.

Потом было всякое:
селфхарм, на коже шрам, на шрам тату — типа шарм.

Никто не размазывал по моему лицу (и хорошо) кровь после дефлорации,
потому что моя юность — фильмы Балабанова,
а не Бертолуччи.

Мне хочется думать, что моя кровь дикая,
как в венах Хэтфилда из песни Mama Said,
кантри-баллада, когда все ждали
треша
металла
железа.

а железо было только на обложке альбома в крови быка, смешанной с семенем Андрэ Серрано.

Я окончила Лит, а там учили избегать физио-

логию. Не называть сперму спермой, а дерьмо дерьмом.

по отёкшим моим ногам в ночь на 28 октября 2008 года ползла кровь и ползло дерьмо.
~~И этому вас только учат в Лите? Нет!~~

Боль 10 из 10.
Я умоляла, чтобы ЭТО вытащили из меня.
Медсестра смеялась и спрашивала,
неужели мама не рассказывала мне, как рожать.

Mama Said …
нет такой песни, в которой мама бы говорила:
“Знаешь, лучше не рожай, не имей дело с семенем, эта боль невыносима”.

В душевой, которая больше похожа на комнату для мытья собак, я встала на четвереньки, как собака, и подставила поясницу под струйку еле тёплой воды. Я смотрела на кафель и думала, что мой таз тоже сделан из кафеля и прямо сейчас по нему проходятся зубилом и молотком.

Потом пришла врач, а я забыла её отчество.
— Альбиночка, пожалуйста!
— Какая я тебе Альбиночка?!

Говорила так, будто я преступница,
пришла к ней в дом и испортила простыни
и вечер
и не даю спать.

В родильном отделении нас двое, соревнуемся раскрытием. Не роженицы — амазонки!

Девочке на вид лет шестнадцать. Она из Алимбетовки.

— У себя бы рожала, зачем приехала в Россию?

Девочка из Алимбетовки не отвечает, но всё время кричит. Персонал злится на неё.

А я думаю, откуда родом Альбиночка.

На стене часы. Медсестра сказала, что я разрожусь, так и сказала: РАЗРОДИШЬСЯ в шесть утра.

Вообще, нормальное слово, но в первый раз оно как …

РАЗРАЗИ МЕНЯ ГРОМ.

В пять мы с соседкой вышли на финишную прямую.

У неё больше нет сил, она легла и кричит.

Я ещё на ногах, потому что стоит прилечь, как пыточная медсестра клеймит датчиками, чтобы следить за сердцебиением ребёнка. Но это она

так говорит, что это ради малыша, а мне кажется, она этим прибором высасывает из меня последние силы,
поэтому я держусь от кровати подальше.

К тому же оттуда не видно часов, а мне важно не пропустить, когда будет шесть. Думаю о том, что никого не люблю и просто хочу, чтобы это всё закончилось.

Без пятнадцати шесть нас повели рожать.
Альбиночка запустила пальцы в соседку, сказала, что та порвалась до ляжки.

Запустила в меня.

И я начала рваться и теперь тоже кричу.
Альбиночка разрезала мне влагалище, объяснив это тем, что лучше она разрежет аккуратно и ровно зашьёт, чем я порвусь, как та … из Алимбетовки.

Я больше не сдерживаю крик, больше никого не слушаю, мне кажется, если мне дать оружие и сказать:
“убей, и всё пройдёт” —
я убью.

Соседка кричит, я кричу, Альбиночка не издаёт

ни звука, наверное, потому, что её всё равно никто не слушает.

Была ещё одна женщина,

мне жаль, что я не помню ничего о ней, кроме того, что руки её большие и упитанные, как с картин Рубенса.

Она схватила мой измученный живот и выдавила ребёнка.

Девочка. Восемь по шкале Апгар.

Боли почти нет. Стыд 10 из 10.

Я больше не кричу. Рожаю послед.

Его тут же уносит сутулая медсестра, воровато и будто пряча от меня. А мне ужасно интересно. Кажется, что послед похож на кишки, из которых моя бабушка делала колбасу.

я хочу выйти из тела и посмотреть на себя сверху

на дурацкую тёмную полосу на животе, она как будто делит мою жизнь на до

и после материнства.

на тёмные гигантские ареолы.

Это и есть первобытная женственность и материнское начало?

Вспоминаю секс с одним парнем, он был гораздо старше меня. Посмотрел на моё тело после единственного нашего раза и сказал: “Офигеть, какое детское”.

Больше мы не виделись никогда. Я решила, что ему нравятся другие тела.

Теперь от моего детского тела ничего не осталось. Наверное, теперь я бы ему понравилась.

Рубенсовская женщина сжимает мою матку.

Каждое сжатие из меня выходит тепло.

Я читала, что в нормальном состоянии матка как спичечный коробок. А у меня как что теперь?

Мне кажется, медсестра очень злая и делает назло крикливым роженицам некрасивые стежки, поэтому я радуюсь, что меня зашивает Альбиночка. Боль 2 из 10.

В меня воткнули замороженный презерватив с водой.

И внутри себя я пою: “Холодным мужчинам — холодные женщины”.

Мою дочь положили слева от меня на стол. Думаю, ей очень холодно. Она вдруг чихает, и я говорю: “Ути господи”.

Чувствую себя лживой, потому что я никогда не говорю “ути господи”. Неонатолог смотрит на меня одобрительно, мол, прошла проверку, годная мать.

Меня обтёрли, зашили, сняли сорочку, которая как с войны, и надели новую с прорезями для груди. Перекинули с кресла на кровать и увезли в палату. Сказали:

поменять презерватив, как растает, есть стоя, а когда привезут малыша, прикладывать его к груди.

В палате я засыпаю, и всё время мне снится, что плачет ребёнок.

На следующий день первое, что меня поразило, — мой живот.

он никуда не делся.
старая подушка
полупустая сумка
кожаный мешок
инжир
мой живот.

Медсестра загнала на весы и воскликнула: а ты как хотела!

Я сбросила шесть килограммов из набранных

11, а хотела — все 11.

Глаза мои залиты кровью. Не от бешенства, а от неправильных попыток тужиться.

Медсестра говорит, что это пройдёт, всего лишь капилляры лопнули.

Болят все зубы.
Медсестра говорит, что это пройдёт, всего лишь слишком сильно сжимала челюсти.

Я хочу посмотреть швы. Беру карманное зеркальце и, держась за стенку, иду в туалет. Подальше от медсестры. Вагина — сплошной отёк. Надо бы запихнуть в себя ледяной презерватив, но он похож на член, а это последнее, что я хотела чувствовать в себе тогда.

…Мне понадобилось 11 лет, чтобы разрешить себе забеременеть снова.

В июле 2019-го у меня стала отказывать печень. Я об этом не знала и жила обычной жизнью. Ходила на работу в офис и на дни открытых дверей в роддома, чтобы выбрать лучший из тех, что могу себе позволить. Беременность проходила, как и в первый раз, легко. Поэтому я ни за что не переживала.

В четверг позвонила мой врач и сказала, что, судя по анализам, меня съедает гепатит и надо вызывать роды. Я шёпотом, потому что на собрании, сказала, что записана на приём через неделю, а она ответила, что через неделю будет поздно.

Я трогаю большой свой тугой восьмимесячный живот и не верю, что со мной что-то не так. В поликлинике Зара Александровна специально задержалась, чтобы дождаться меня. У неё большие чёрные глаза, заточённые в чёрную густую подводку. Она ставит условие: прямо сейчас в роддом на районе или пиши отказную.

Я смотрю оценку роддома на Яндексе и пишу отказную. Я не хочу снова рожать в условиях, где со мной как с отбросом.

Я спокойна. Мои мысли — о вафельном халате из H&M, который приедет только через две недели. Всё кажется, что в лаборатории ошиблись.

И я иду сдавать кровь на ферменты в частную клинику.

Пока жду своей очереди, составляю короткие слова из выделенного в моей карте красным: аспартатаминотрансфераза.

фраза

фарс
трансфер
тартар
парта
портрет
ремонт
ментор
смерт — нет мягкого знака.

Тем вечером я отправила свежие результаты анализов врачам, которых рассматривала для родовспоможения.

Каждый сказал, что я должна приехать прямо сейчас.

Я провела обычную ночь дома и утром поехала в роддом, где уже была на экскурсии. У меня сразу взяли кровь из вены, поставили капельницу, сделали КТ и УЗИ, потрогали шейку матки и сказали, что надо рожать. Я прошу подождать немного и отправляю мужа к себе на работу, чтобы он забрал из ящика в офисе купон на скидку 10 %.

Как будто я что-то контролирую.

Моя врач Розина Анасовна. Её имя мне кажется очень красивым. как роза, как ананас, как анис.

Мне страшно рожать, но Розина Анасовна смот-

рит и говорит очень ласково,

что сегодня рожу, всё будет хорошо.

Просто ребёнок — инородное тело, и мой организм устал это терпеть.

печень ставит ультиматум.

Матка идёт на компромисс.

На ноги компрессионные чулки.

Прокололи пузырь.

Тони вернулся с купоном, как раз когда гель подействовал и начались схватки. Анестезиолог говорит, что сейчас будет болючий обезболивающий укол в спину. Перестраховался. Боль 1 из 10.

Я всё грезила историей, когда женщины трогали головку, которая только собиралась выйти, и потом как будто набирались сил и легко рожали. Думала, что буду ходить по палате и ощущать, как девочка спускается по родовым путям. Но нет, ко мне подключили приборы, капельницу в вену под синяком и приставили реаниматолога, чтобы я не умерла от потери крови, на случай, если печень откажется со мной сотрудничать.

в перерыве между схватками мне совсем хорошо, Тони держит мою руку и даёт пить воду. Я думаю о том, что это хорошие роды.

Боль 5 из 10. Я вдруг завыла и, тут же потеряв контроль над дыханием, поняла, что на крик уходит слишком много сил. Больше не кричала.

попросила Розину Анасовну, если она будет меня резать, резать с левой теперь стороны. мне хотелось симметрии. она удивилась, потому что режут обычно по старому шву.

Она говорит: окей, но до этого дело не дойдёт.

Я смотрю на белый свет из лампы, он отливает синим и делает лица нездоровыми. Как у людей в метро, что уставились в экраны телефонов. Схватки становятся всё чаще, выкручивает кости таза.

Розина Анасовна кладёт мою руку себе на живот и показывает, как надо тужиться.

Так вот как надо!

6 из 10.

Не тужься! Больше не тужься! Подожди.
Я думаю, уж это я с радостью.

Кто-то сзади держит мою голову, чтобы я попила воды. И я замечаю странное. Моё тело продолжает борьбу, оно тужится и корчится. Избавляется от инородного предмета. Тужится!

Я пытаюсь его усмирить. Как могу расслабляю таз, чтобы он не сжимал, как мне кажется, голову моей малышке.

Тело замерло, как кошка перед прыжком.

новый спазм. болит всё. Я хочу сползти с кресла и забиться куда-нибудь в угол.

Розина Анасовна сказала, что рожать будем дыханием.
не знаю, что это значит, она показывает, что надо дышать так, будто задуваешь свечу.

Боль 7 из 10.

Розина Анасовна улыбается и показывает мне крохотного ребёнка.
Говорит: “С днём рождения, принцесса Лея!”

Когда Лею положили мне на живот, я расплакалась. Целовала без остановки её сморщенное личико и говорила:
здравствуй! С днём рождения!

У меня взяли кровь на анализы и приложили малышку к груди.

Лею взвесили, помыли, одели и передали Тони.

Розина Анасовна вытащила из меня послед. Акушерка трогает мой живот по-хозяйски, сжимает матку и жмурится, потому что на белый её халат брызгает тёмная моя кровь.

Акушерка смеётся и говорит, что у меня очень большая матка. Я не знаю, что мне делать с этой информацией. Как реагировать. В нормальном состоянии матка как спичечный коробок. Какая у меня?

Меня покормили.
Меня стошнило.

каждое утро у меня берут кровь из вены. кожа в этом месте цвета ириса. Розина Анасовна была права, всё хорошо.

В день выписки ко мне пришло молоко.

10 июля на улице было плюс тридцать, а меня трясло от холода. я шла к подъезду с букетом белых пионов и стучала зубами.

лактация сводила меня с ума. Лее достался месяц грудно-
го вскармливания. Это на два года и 11 месяцев меньше, чем Еве.

Еве было 13, а Лее — полтора года, когда в моём

календаре высветилось: задержка +1 день.

курьер Самоката привёз онигири с тунцом и тест на беременность.

две полоски проявились сразу.

я успешно совмещала работу и материнство, саморазвитие и учёбу в Лите, занималась спортом и писала роман. Я не хотела ещё одного ребёнка.

смотрелась в зеркало, любила и жалела своё тело.

моя грудь, дважды раздутая и сдувшаяся, дважды оперированная. мой живот, почти не тронутый растяжками, плоский и с красивыми мышцами. моя матка, наверное, со спичечный коробок.

Помню, как мы с Тони приехали в клинику сдавать кровь на ферменты. Я очень хотела, чтобы печень была не в порядке, чтобы с чистой совестью прервать беременность.

но все показатели в норме.

я приехала в другую клинику и сделала УЗИ. надеялась, что эмбрион не в моей спичечной матке, а в трубах. Тогда исход был бы один.

Мне выдали лист с заключением и снимок УЗИ

с полостью матки, с единственным нетронутым рябью островком, точкой. я понимаю, что эта точка — мой ребёнок.

Доктор рассказывает, какие существуют варианты прерывания беременности, позже она так и напишет на листке А4 Таймсом Нью Романом: в сохранении беременности не заинтересована.

Срок маленький. Если я решусь, мне дадут таблетку. Тянет-потянет низ живота и ребёнка вытянет,
поноет, как при месячных.

И потом она вдруг переходит на канцелярский.

канцелярийский звучит как валирийский
Древняя Валирия
Древняя канцелярия

Я вытаскиваю себя из своих же мыслей, чтобы понять, о чём она.

Федеральный закон об охране здоровья граждан Российский Федерации бла бла бла.

Вы имеете право на 48 часов тишины.

Это звучит как название фильма.

Я бы сняла чёрно-белое немое кино, где женщина выходит от врача с брошюрами, где её просят сохранить жизнь:

священники.
соцработники.
психологи.

и двое суток женщина ходит по городу, занимается рутиной и пытается понять, что ей делать.

В финале она умирает при родах.
И внизу титры: “Ибо Бог устроил внутренности и соткал меня во чреве матери моей, и тело её стало моей могилой”.

Через два дня мы с Тони ехали в больницу. Я плакала, потому что не знала, что чувствую, не знала, чего хочу.
Тони тоже не знал. Или знал, но не говорил, потому что вынашивать ребёнка девять месяцев, а потом рожать, а потом восстанавливаться — не ему.

Я старалась представить свою жизнь, если я оставлю ребёнка и если прерву беременность.

но ничего не получалось. пустая голова. перекати-поле.

Пробка еле двигалась. Я опоздала на приём.

Сейчас мне кажется, что в третью беременность я была особенно красивой.
засияла кожа, заструились локоны.
Я нравлюсь себе, я нравлюсь Тони.
Мы занимаемся сексом почти каждый день, и раза два-три в день я мастурбирую в ванной.

По настроению беременность как овуляция.

Мне не нравились только груди.
Несчастные, раздутые до неприличного для моего скелета размера, они чинно лежали на гигантском животе, как кабачки.

На пятом месяце я перестала скрывать беременность. На шестом мой организм снова решил избавиться от инородного тела.

На этот раз в ход пошла кровь.

Моя кровь не цвета кетчупа, как в фильмах Тарантино,
и не алого, как потроха венского акционизма,
моя кровь как сливовое повидло,
в шприце она еле ползёт чёрной змейкой навстречу факиру — медсестре.

Моя кровь чёрная, как в лентах Хичкока …

“чтобы не отвлекала от психологической составляющей ужаса в”

институте гематологии на Зыковском Новом проезде, дом 4. где выяснили наконец, что я носитель гена, который не даёт вынашивать детей.

Я колю себе уколы в живот дважды в день.

Нужно ущипнуть себя так, чтобы образовалась складка жира, и в неё погрузить иглу. Мой красивый большой и тугой живот в синяках и шишках. Чешется так, что иногда я беру самое жёсткое полотенце и тру им кожу до покраснения. Потом перестаю и плачу.

“Моё” лекарство прописывают людям, которые перенесли коронавирус. В ковидной Москве я охочусь за этими уколами по всему городу, пока не добываю сразу несколько пачек, но с тупой иглой.

Однажды я не могла заснуть. Плакала и чесалась,

будто голым животом кормила комаров в тайге,

будто под кожей беспокойные сороконожки танцуют семь сорок,

дожить бы до сороковой недели.

Интересно, а как ген проявлял себя, когда мне было 20 лет?

больше не могу делать себе уколы.
не могу ходить к гинекологу.
И не хожу.
И не колю.

Несколько недель отшельничества и укрывательства от женской консультации.
дружу разве что с УЗИстом,
прихожу смотреть состояние плаценты и мозг моей девочки.
всё ок.

Когда сошли синяки и шишки, я приехала к Розине Анасовне. Она сказала, что можно попробовать родить 29 сентября 2021 года. Я занесла эту дату в гугл-календарь и взяла на работе две недели отпуска.

29 сентября 2021 года родилась моя Энни.
Боль 4 из 10.

На следующий день я перетянула живот корсетом, запеленала малышку и дописала роман.

Приходил Тони, и мы лежали втроём на больничной койке. Это было наше время.

Перед выпиской — лихорадка из-за прихода молока, неприятнее, чем полное раскрытие.

Раскалённые каменные кабачки!

Заточаю соски в пластиковые стикини. Это орудие пыток работает от сети.

выливаюсь растопленным сливочным маслом, бледным желтком, чем-то ни жёлтым ни белым, как говорят педиатры — самым полезным, и наконец молоком.

Уже дома на пятый день лактации я звоню терапевту и спрашиваю, как это прекратить.

Она, конечно же, спрашивает зачем.

бог терпел и нам велел.

Я зверею и кричу, что не могу пихать в себя еду, чтобы было молоко, что мои груди больше, чем головы моих детей, что соски не успевают заживать и иногда я достаю изо рта ребёнка размокший кусочек своей кожи, они всегда в молоке и крови.

Она как будто поняла, но потом всё равно прислала саммари нашего разговора, где настаивает, что нет ничего лучше для развития ребёнка, чем материнское молоко.

Три года, 1 месяц и 1 неделя лактации.

Три сестры.

Без отсылок к Чехову, но к Киплингу “Мы с тобой одной крови”.

Моей.

Татьяна Стоянова

По контуру тела



Владения

Твоё тело – мои владения.
Больше ничьи.
Прикасаться к тебе – преступление
епитимьи.
Прикасаться к тебе – милость божия.
Дар небес.
Отзываюсь, как листья, дрожью я,
ветру – лес.
Твоё тело – неприкасаемо
для других.
С этих веток плоды стрясаем мы —
на двоих.
Твоё тело – мои владения,
не войны.
Никакие нам нападения
не страшны.
Словно дух, здесь стою на страже я.
Мир трещит.
Но при каждой попытке кражи я —

как твой щит.

Вскрытие

следующая твоя книга
будет обтянута моей кожей
следующая твоя песня
будет обмотана моими голосовыми связками
следующий твой спектакль
сыграют в декорациях
моего вскрытого нутра
купол диафрагмы
над оркестровой ямой
брюшной полости
следующее твоё сражение
будет вестись
за моё еле живое тело
рас-по-тро-шён-но-е
всеми твоими
предшественниками
всеми твоими
патологоанатомами любви

каждым адамом
каждым адом в его уме
в твоей голове
господи

—

он называл это вскрытием. “мы просто вскроем тебя, как запертую новенькую шкатулку. музыкальную, с балериной, знаешь такие? она кружится и взмахивает ножкой. лежи спокойно, а то от ножа в твоём животе будет много крови, очень много. больше, чем там, где я взломаю замок”.

—

я научилась любить ножи
иногда когда совсем сложно не помнить
делаю лезвием
новую насечку на своём теле
сначала провожу линию обухом
потом когда страх притупляется
надавливаю остриём
вокруг моего пупка

уже вырисовывается третье кольцо
третий круг ада
замкнутый в моей
вскрытой черепной коробке

Дерево жизни

земля

тело моё красная земля
белая глина и чернозём
хранит в себе ископаемые
черепки и кости
родниковую воду
и трещины в коре
корешки и вершки
ямы и котлованы
следы прикосновений
ласки силы соли ила
стук лопат о камень
заморозки засуху потоп
можешь
сминать и минировать
распахивать и бить ломом
орошать и иссушать
растирать в порошок
всё равно я останусь живой

всё равно дам всходы
всё равно воскресну
с каждой новой весной

лес

это деревья прорастают
сквозь мои суставы
вечно живые гвозди
тело прибитое к земле
плод древесный
сеющий семя
обретённое право
на раз(л/мн)ожение
почки напитаются водой
почва напьётся крови
солнце наполнит жилы
лес зашелестит в мае
как мои волосы
на ветру
как мои слова
в завязи цветка

Елена Холмогорова
Какого цвета аленький цветочек



1

И телу я сказал тогда: “Ответь
На всё, провозглашённое душою”.

Николай Гумилёв. Душа и тело

В пору моего детства, когда ещё не только не существовало проблемы, как оторвать ребёнка от компьютера, но даже и телевизоры в домах считались роскошью и экзотикой, лозунг “Любите книгу — источник знаний” был справедлив и актуален. Действительно, иных источников почти и не было. Но не было и книжного дефицита — он позже возник, когда мода на хрусталь в серванте за стеклом и книжные полки с красивыми корешками стали вещами одного порядка. Детские книги в изобилии предлагали библиотеки, в том числе школьные. И регулярно проводились у нас уроки внеклассного чтения.

И вот однажды тема была такая: “На кого из литературных героев вы хотели бы быть похожи?”. Тогда нам ещё не пудрили мозги “проблемой положительного героя”, говорили проще, доступнее для десятилетних младшеклассников.

Когда очередь дошла до меня, я сказала: “Я хо-

тела бы быть как Настенька из сказки «Аленький цветочек»”. Полагаю, своим ответом я ввергла в ступор хорошую нашу учительницу Лидию Семёновну Яблонко. Правда хорошую, светлая ей память. Конечно, в тот год все мечтали быть похожими на Гагарина, про которого, впрочем, ещё не успели написать книг. А если велели выбирать из литературных персонажей, в ходу были тимуровцы и Мальчиш-Кибальчиш, пионеры-герои, в крайнем случае гимнаст-революционер Тибул из “Трёх толстяков” … И до сих пор я горжусь своим выбором, тогдашней собой — девочкой с вечно обгрызенными кончиками белого воротничка на тоскливой школьной форме, единственным украшением которой был октябрятский значок, пришпиленный к чёрному фартуку …

Да, теперь-то я прочитала Проппа и в курсе, что он относил “Аленький цветочек” к типу сказок “Амур и Психея”, где девушка попадает в прекрасный сад или замок и становится невольной пленницей некоего монстра. И про Апулея, и про то, что в русской традиции есть с десяток вариаций этого сюжета … И у Бахтина о том, что “*Воплощён* для меня ценностно-эстетически только другой человек. В этом отношении тело не есть нечто самодостаточное, оно нуждается в *другом*,

его признании и формирующей деятельности”. И ещё много чего, как в школе говорили, “по теме”.

Не знаю, как считают лингвисты (уверена, что такие работы должны быть), но для меня “чудовище” и “чудище” далеко не синонимичны. Во всяком случае, когда разговор идёт не о внешности. Мы ведь не скажем о злодее, что он чудище, — он именно что чудовище. Диснеевский оскароносный мультфильм “Красавица и чудовище”, завоевавший детские сердца и разошедшийся не только по экранам, но и на бесчисленные сувениры, в оригинале всё-таки использует в названии слово “beast”, а не “monster”. И кстати, в сказке то самое чудовище именуется “чудищем”, но чаще всего “зверь лесной, чудо морское” (откуда море?). А “чудо”, даже если оно “чудо-юдо”, не равно не только чудовищу, но и чудищу. Встречается в сказке слово “страшилище”, но это уже вовсе о другом. Я понимаю, что читала “Аленький цветочек”, записанный Сергеем Аксаковым “со слов ключницы Пелагеи”, то есть вариант литературный. Но сейчас это не имеет значения. И ещё я обойду стороной весьма занятные педагогические агитки, в которых сегодня пытаются анализировать различия между русской сказкой и европейской, ссылаясь

на национальный характер и гуманистические традиции. Всё это я оставлю специалистам.

Для меня Настенька была тогда и осталась воплощением жертвенности и милосердия, трогательной дочерней любви и примером женской любви не за красоту лица, а за красоту души. Ведь “страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные”.

В сказках превращения тела, изменения облика — обычное дело. “Не пей из копытца водицы — козлёночком станешь!”, “спрыснул мёртвой водой, а потом живой водой …”, “съела молодильное яблочко …”, “молодец ударился об пол и сделался соколом” … Расколдовывания (в том числе поцелуем) — тоже общее место. Но здесь это становится именно осознанным жестом, подвигом.

Для меня было главным — и вот тут я опять кланяюсь себе-девочке, — что у Настеньки был *выбор*: она могла спокойно остаться с отцом и сёстрами …

2

В середине лета цветок распустил венчик вверху.
До этого он был похож на травку,
а теперь стал настоящим цветком.
Венчик у него был составлен
из лепестков простого светлого цвета,
ясного и сильного, как у звезды.

Андрей Платонов. Неизвестный цветок

А что же за цветочек Настенька просила отца привезти?

Названия он в сказке не имеет, отец узнаёт его по наитию: “И вдруг видит он, на пригорочке зелёном цветёт цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается; подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным: «Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая»”.

Это не красный цветок из одноимённого рассказа Всеволода Гаршина, который впрямую назван маком и который в больном воображении героя символизирует всё зло мира; это едва ли роза — стержень сюжета в “Снежной королеве”; и уж точно это не ландыши, какими торгует карамзинская бедная Лиза, и не “отвратительная, тревожная” мимоза, с какой Мастер встретил Маргариту. В большинстве версий почему-то упоминается тюльпан. Но мне кажется, что едва ли такой цветок существует где-то, кроме воображения, хотя, встретив в чьём-либо саду незнакомый красный цветок, я жадно интересуюсь его названием и особенностями.

А может быть, он вовсе не алый, а с разноцветными лепестками, вроде цветика-семицветика, или же, по Платонову, — “простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды” …

3

Как ни близко тело, оно всё-таки чужое, только душа своя.

Лев Толстой

Когда я училась на историческом факультете, у нас был курс военной подготовки. И до определённого возраста я была военнообязанная со специальностью “медсестра гражданской обороны”. Готовили нас не формально — уколы, перевязки; я, например, отлично справлялась с наложением сложной повязки-чепца при черепно-мозговых травмах. Была и теория, в частности начальный курс анатомии. Нас даже группами водили на вскрытия в морг, расположенный в чудесном старинном особнячке на Пироговке. Многие девочки боялись упасть в обморок и не знали, как получат зачёт. Я меняла причёску, нацепляла очки, какую-то ещё мы придумывали маскировку, и шла с другими группами, отмечаясь за сокурсниц в табеле посещений. Мне было невероятно интересно. Только я всё время удивлялась: до чего сложно человек устроен, нужно ли столько косточек и сухожилий. Страха или

отвращения не было вовсе. Занятно, что мысль стать врачом никогда не посещала меня, но часы, давным-давно проведённые в прозекторской, я вспоминаю с какой-то странной ностальгией …

Впрочем, и по сей день я не боюсь вида крови или открытых ран, что не раз пригождалось в разных обстоятельствах (при этом смертельно боюсь милых маленьких мышек и многого другого). В семье считалось, что я хорошо умею ходить за больными, и меня посылали в больницы к дедушке, потом к отцу ещё девочкой. А когда мою подругу оперировал знаменитый профессор Илизаров, я полетела в Курган и жила там, ассистируя при перевязках. Стоял сентябрь, копали картошку, медсёстры повально брали отпуска …

А вот читать про какие-то телесные изъяны мне всегда было страшно. Помню ужас от “Слепых” Метерлинка и подкатывающую тошноту от “Головы профессора Доуэля”.

Собственное тело по-настоящему начинаешь чувствовать только в моменты опасности или болезни. И мало кто им доволен. Я помню, как ехала в метро с подругой, а напротив нас сидела и утирала слёзы худенькая девушка. И моя умная и учёная, красивая и статная подруга совершенно серьёзно, возмущённо даже, прошептала мне

на ухо: “О чём она может плакать! С такой-то талией!” …

Наверное, действительно страшен был “зверь лесной, чудо морское”, раз купец, отец Настенькин, “об нём вспоминаючи, дрожкой дрожал”. Но ведь идеалы красоты в разных культурах, у различных рас, в разные времена бывали несхожи. Да и вообще о вкусах не спорят. Оскар Уайльд, кажется, сказал первым, что красота — в глазах смотрящего.

Семейная легенда. Когда я была маленькой, бытовало мнение, что ребёнка надо обязательно один раз обрить наголо, — тогда будут потом густые волосы. У меня были чудесные кудряшки, поэтому эта идея всем казалась кощунством. И вот однажды отца отправили со мной гулять, чего он терпеть не мог, как многие молодые папаши. Он томился от скуки, пока я возилась в песочнице, и вдруг его осенило. Он придумал, как убить двух зайцев: прийти домой через положенные полтора часа и заодно совершить подвиг, на который никто не решался. Отец рассказывал, что, когда он вёл меня — бритую наголо и зарёванную — домой, чем ближе мы подходили, тем больший ужас его охватывал … С ним не разговаривали несколько дней, меня с утра до ночи держали в

платочке, но потом привыкли к моему новому облику. А через какое-то время мой дядя, консерваторский профессор, любивший меня как никто, стоял на балконе и наблюдал, как я с няней среди других детей гуляю во дворе. И вдруг сказал: “А посмотрите, всё-таки как хорошо, когда ребёнок обрит, какая красивая головка. Наша Алёнушка лучше всех”.

С какого-то возраста человек начинает отвечать за своё лицо. Икона стиля Коко Шанель формулировала так: “В двадцать лет у вас такое лицо, какое вам подарила природа, в тридцать — лицо, которое дала вам жизнь, а в пятьдесят — такое лицо, какого вы заслуживаете”.

Но это, скорее, опять о теле и душе, трудно их разорвать.

Вот ведь буквы, которые появляются по моей воле на белом листе, — они вещественны, они как бы тело, но мысли и эмоции мои тогда можно уподобить душе.

4

Ты одна полюбила меня,
чудище противное и безобразное,
за мои ласки и угождения, за мою душу
добрую,
за любовь мою к тебе несказанную …
Сергей Аксаков. Аленький цветочек

Не так давно в одном старомосковском доме я увидела федоскинскую лаковую шкатулку. И сердце моё заныло: “Аленький цветочек”. Не выдержала, взяла в руки. Она была тёплая, каким всегда бывает настоящее.

И тут же за столом — благо компания была отменная — я рассказала про свою детскую историю. А потом ещё об одном эпизоде в том же духе. Это случилось уже классе в седьмом или восьмом, в той же школе. На уроке литературы надо было выступить с любимым стихотворением. А тогда только-только начали печатать Марину Цветаеву — оттепель! — и мы ею зачитывались. Я торжественно, как теперь понимаю, подражая актрисам немого кино, с придыханиями и подвываниями продекламировала:

Звенят, поют, забвению мешая,
В моей душе слова: “Пятнадцать лет”.
Ах, для чего я выросла большая?
Спасенья нет …

Учительница была, конечно, другая, но тоже хорошая. Светлая память вам, Лидия Николаевна. Да и я была уже иной: вместо октябрятской звёздочки с кудрявым вождём-ребёнком мою форму украшал недавно вручённый комсомольский значок — с серьёзным, уже лысым ленинским профилем. Словесница терпеливо выслушала до конца, кивнула, но сказала, что просит выучить что-нибудь ещё. Я решила, что, наверное, Цветаева ещё не дошла до школьных дверей (про содержание я вовсе не подумала). В следующий раз я остановилась, как мне казалось, на варианте беспроигрышном — Тютчев. Опять-таки не без мелодраматических эффектов, “с выражением” я прочитала:

Молчи, скрывайся и таи
И мысли, и мечты свои …

Больше ничего меня читать не просили. Но когда отец пришёл на родительское собрание, Лидия Николаевна отвела его в сторону и впол-

голоса предостерегла: “Вы последили бы за настроениями дочери. Уж очень Алёна мрачные стихи выбирает”.

Посмеялись. Застольный разговор окончательно свернул на скользкую тему “литература и идеология”. И через какое-то время я решилась на третью школьную историю.

Готовясь к сочинению по “Евгению Онегину”, я отправилась в любимую нами тогда Некрасовскую библиотеку на Бронной и взяла одну из брошюр, включённых в рекомендательный список. Мне всё нравилось, я сделала много выписок. Но финальный аккорд едва не сыграл роковую роль в моей жизни. Теперь-то я понимаю, что брошюра эта была, скорее всего, выпущена к столетию гибели Пушкина, в 1937 году (Сталин, как известно, любил юбилейные даты не появления классиков на свет, а их ухода из жизни). Вполне возможно, что вышла она из-под пера критика Ермилова, которому кто-то из остроумных соседей к табличке на дачной калитке “Осторожно! Злая собака” приписал “и беспринципная”. Так или иначе, она не могла появиться позже, поскольку лётчик-герой Валерий Чкалов погиб год спустя.

А собственно финал брошюры был примерно такой: “«Подымем бокалы, содвинем их разом!» —

писал поэт. Жаль, что не дожил Александр Сергеевич до наших дней, не может сдвинуть бокалы с Валерием Чкаловым и вместе возгласить: «Да здравствуют музы, да здравствует разум!»”

(Про “скроется тьма” в том году было бы уместно, но эта строчка не цитировалась.) Я пришла в ужас оттого, какой фальшью вместе с облаком пыли повеяло с этих страниц. И поклялась себе, что, если *требуют так* (уже, значит, понимала), литературой я не буду заниматься никогда.

К счастью, обещание, себе данное, я нарушила.

Вернувшись из гостей, я открыла интернет. В описании сказано: “Папье-маше, лак, роспись. Размеры: 26 × 19, 5 × 8 см. Подпись на дне шкатулки: «“Аленький цветочек” в индивидуальном исполнении художника Иванова Н.В., с. Федоскино». Россия, 1950-е гг.”. Можно купить на “Авито”. Стоит, правда, почти две моих пенсии …

Когда меня пафосно аттестуют “экспертом”, я не только смущаюсь от груза ответственности и вечного “синдрома самозванца”, но тут же вспоминаю о тех “неправильных” выборах, которые я сделала в детстве и от которых, впрочем, не отрекаюсь и сегодня. Потому как настоящая литература — всегда загадка, тот самый “зверь лесной, чудо морское”, которое расколдовать

может только читатель …

А что это за аленький цветочек, я так и не знаю и до сих пор ищу его в любом саду …

Анна Хрусталёва
Зинаида Петровна



Зинаида Петровна утверждала, что всю жизнь проработала хирургом в областной больнице. И, дескать, уж такими золотыми были её руки, что на операцию к ней ехали из самой Москвы. И даже из Саратова.

— Очередь на приём стояла — во, — Зинаида Петровна широко раскидывала те самые руки, на вид, впрочем, самые обыкновенные, старушечьи, с наждачными локтями и огрубевшими пальцами в артритных шишках, и демонстрировала застигнутому врасплох слушателю, какого именно размера была та страждущая очередь.

Далее неизменно следовал рассказ о том, как накануне пенсии ей под звуки государственного гимна присвоили почётное звание заслуженного врача. А завотделением — и это при живой-то жене — встал перед Зинаидой Петровной на колени и умолял не оставлять его одного в неравной битве с абсцессами, кистами и прочими грыжами.

— Так и сказал, мол, вы, Зинаида Петровна — настоящая Жанна д'Арк зажима и скальпеля, на кого же теперь покидаете своё войско?! Так и сказал, да.

Тут Зинаида Петровна обычно прикрывала черепашьи веки, чтобы собеседник прочувствовал

поистине античную мощь этой сцены. Но человеческое равнодушие безгранично: вместо того чтобы задохнуться от восторга, свидетель сего гиппократова триумфа спешил ретироваться, оставляя Зинаиду Петровну в одиночестве плыть по бушующим волнам иллюзий.

Долгие годы она действительно числилась при больнице (впрочем, не областной, а районной), но отнюдь не хирургом, а обычной санитаркой. И если изредка и царила в операционной, то не со скальпелем, а со склянкой трёхпроцентной перекиси или хлорамина. Чаще же носилась с “утками”, день за днём ворочая прикованные к казённым койкам увечные тела.

Но удивительно не то, что Зинаида Петровна выдавала желаемое за действительное, проще говоря, врала самозабвенно. Поражало другое: никто и никогда даже не намекнул старухе, насколько нелепы и беспомощны её фантазии. Возможно, Зинаиду Петровну просто жалели. К чему зря обижать пожилую женщину — одинокую, к тому же одноногую …

Почему Зинаида Петровна так и не вышла замуж? Когда и как лишилась правой ноги? Соседям Зинаиды Петровны не было до этого никакого дела.

Зинаида Петровна занимала двухкомнатную квартиру на первом этаже хрущёвки, куда въехала ещё в начале шестидесятых вместе с матерью, получившей эти “королевские” апартаменты за многолетний беспросветный труд на ткацкой фабрике. Сквозь запылённое кухонное окно как на ладони просматривался пустырь, превратившийся со временем в стихийную стоянку, ряд ржавых мусорных баков, но главное — вход в подъезд. Каждое утро, накрутив на бумажные папильотки остатки поредевших волос, Зинаида Петровна заступала на пост и бралась за дневник наблюдений. Все полученные данные тщательно анализировались и снабжались соответствующими комментариями.

6:45. Кузьмин. Моль подкаблучная, интеллигентишка. Проспал. Или поцапался со своей халдой. Обычно никогда не уходит позже 6:35. А сегодня опаздывает. Точно, проспал. Или поцапался. В любом случае — идиот.

7:04. Пузырёва. Тащит своего сопляка в сад. Оттуда — обсчитывать народ за кассой в “Пятёрочке”. Вот посадят, запоёт тогда. И правильно, что от этой Маты с Харей муж слинял. Нечего было и связываться.

7:29. Малолетние выродки Зуйкины. В школу

намылились. Только не в школе им место, а сразу в колонии, причём строгого режима. А родители-недоумки недавно ещё третьего настрогали.

8:12. Ермолова с вонючей болонкой. Сто лет в обед бабе, а всё туда же — вырядилась ни свет ни заря. Клеопатра хренова.

Отдать должное Зинаиде Петровне, её взгляд на мир не был лишён оригинальности. Да и тяга к знаниям не была ей чужда. В бытность санитаркой она с упоением читала всё, что пациенты при выписке оставляли на прикроватных тумбочках. Попадались среди больных и интеллектуалы, по рассеянности (или ввиду очевидной ненадобности при переходе в лучший мир) оставляющие в палате Достоевского, Чехова, Есенина, чаще Асадова, а иногда даже Ницше. Идея смерти Бога Зинаиде Петровне не зашла, с “Бесами” и “Дядей Ваней” тоже как-то не сложилось, а вот Есенин и особенно Асадов взяли за сердце, втайне тосковавшее по всему жаркому, терпкому, чувственному и запретному.

Больше всего Зинаиду Петровну распаляли истории про знаменитостей прошлого. Стоило ей заметить сборник “Сто великих женщин” или там “Выдающихся правителей”, как она, подобно псовой борзой, начинала нервно трепетать

ноздрями и не успокаивалась, пока вожделенное издание не становилось её собственностью. Иногда Зинаида Петровна подворовывала, но, в отличие от других санитарок, присваивала исключительно духовную пищу. Колбаса и даже растворимый кофе были для неё табу! То ли дело все эти нефертити, марии-антуанетты, анны болейн и прочие генрихи, людовики, наполеоны и тутанхамоны … Зинаида Петровна жадно читала и перечитывала интимные подробности легендарных биографий. Особо впечатлявшие её фрагменты она подчёркивала красным карандашом, чтобы после заучивать наизусть. Стоит отметить, что чувства её были весьма противоречивы. Если коротко, это была гремучая смесь обожания и ненависти, восхищения и злобы. Если бы Клеопатра не умерла от укуса ядовитого аспида, она могла быть задушена лично Зинаидой Петровной. Нечего вымачивать телеса в парном молоке, когда у неё, Зинаиды Петровны, от вечной перекиси и хлорки кожа клочьями слезает! Или эта певичка, Полина Виардо, через всю Европу посылавшая Тургеневу обрезки ногтей! Это как прикажете понимать?! Извращенцы! А у Наполеона с Жозефиной вообще ни стыда ни совести: “Возвращаюсь из похода, прекращай

мыться …” Видали мы таких немытых туристов в кожвендиспансере на Строителей, 3.

Погружаясь в чужую жизнь, Зинаида Петровна искренне пыталась понять, почему все эти прославленные выскочки заслужили счастье, пусть горькое, зачастую болезненное, недолговечное, но всё-таки счастье, а ей в нём было отказано раз и навсегда. Чем они лучше неё, Зинаиды Петровны, у которой никто и никогда не то что обрезка ногтя — номера телефона не попросил?

Зинаида Петровна негодовала, но всё читала и перечитывала, читала и перечитывала, доводя себя до неистовства, до полного изнеможения где-то там, в самом низу живота. Дочитавшись до чёрных точек перед глазами, она скидывала платье, стягивала посеревшее от частых стирок штопаное бельё и подолгу разглядывала себя в тусклом зеркале крошечной прихожей. Гордо вздёргивала подбородок, изо всех сил втягивала студенистый живот, клала руки на давным-давно утратившую девичье очарование грудь, представляя, что руки эти вовсе не её, а чьи-то другие — мужественные и сильные, вот, например, как у их завотделением. А потом случилась эта история с ногой. Крошечная трещина на мозолистой пятке, стыдливо скрытая от всё того же завотделе-

нием, в итоге переросла в гангрену. Расставшись с конечностью, Зинаида Петровна выписалась из больницы прямиком на пенсию и прелести свои разглядывать перестала. Но страстный пыл, накопленный за годы чтения, остался при ней. Зинаида Петровна выплёскивала его на первых встречных.

Если погоды стояли хорошие, давление не скакало и культя не ныла, она подкарауливала соседей на лестничной клетке и повествовала о своём славном хирургическом прошлом. Если же самочувствие подводило, Зинаида Петровна изливала на первых встречных всю свою боль с горьким разочарованием и жгучей обидой на судьбу.

По вечерам Зинаида Петровна выходила на “вторую смену” — вновь устраивалась с заметками у окна. Потому как кто и когда ушёл — это полдела; куда интереснее, кто, во сколько, в каком состоянии и с кем вернулся.

18:55. Кузьмин. Прёт своей халде два мешка продуктов. Чтоб ей лопнуть, прорве ненасытной.

19:27. Рихтманша. С букетом. Ясно, очередного хахаля завела. Утром не выходила. Значит, дома не ночевала. Травиата!

19:36. Зуйкины с орущей коляской. (Сигнал в

опеку.)

20:01. Петька с бутылкой. Морда расквашена. Скорей бы сдох под забором. (Позвонить участковому.)

20:27. Казанова доморощенный (далее неразборчиво). НЕНАВИЖУ!!!

Война с доморощенным Казановой, в миру Михаилом Ипатовым (38 лет, 185/85, образование среднее специальное, разведён), началась пару месяцев назад, когда тот, въехав в квартиру этажом выше, впервые припарковал ослепительного “стального коня” у крыльца. Зинаида Петровна оборвала весь буйный цвет герани, наблюдая, как этот молодой викинг стягивает шлем и перебрасывает через седло затянутую в чёрную кожу мускулистую длинную ногу. Придя в себя, пулей (насколько это вообще возможно) Зинаида Петровна метнулась к двери — стремительный взгляд в зеркало, чтобы поправить пух кудрей, — и перегородила новоиспечённому соседу дорогу на второй этаж.

— Здравствуйте, молодой человек! Вы, как я понимаю, новый жилец Ларионовых? Учтите, на кухне случаются протечки. А я — Зинаида Петровна. В прошлом хирург, заслуженный врач, ко мне на операции из самой Москвы ездили и

даже из Саратова. Жанна д'Арк — вот как меня называл ...

Про Саратов и Жанну д'Арк она договаривала уже в могучую викингову спину: Ипатов (фамилию она узнала позже), неопределённо кивнув, просто обогнул старуху и молча устремился вверх по лестнице.

— Хам! — оскорблённо взвизгнула Зинаида Петровна. — И только попробуйте включать музыку после восьми! Я буду жаловаться.

Музыку викинг Ипатов не включал. Но раз или два, а то и трижды в неделю привозил на своём коне очередную Изольду и устраивал с ней в дальней комнате оглушительный концерт. Слышимость в хрущёвке была филармоническая, и Зинаида Петровна отчётливо различала малейшие нюансы сложнейшей партитуры вздохов и стонов, сопровождавшейся мерным скрипом дивана. Можно было, конечно, прикрыть дверь и включить телевизор погромче. Но вместо этого, едва завидев у подъезда коварного соблазнителя под руку с белокурой, огненно-рыжей или темноволосой красоткой, Зинаида Петровна упрямо поджимала губы и поспешно перемещалась "в партер" — в маленькую комнату, до недавнего времени служившую ей кладовкой. Устроив-

шись поудобнее среди упаковок сахара, гречки, макарон и туалетной бумаги, Зинаида Петровна прикрывала глаза и вся обращалась в слух. Захваченная этими невидимыми спектаклями, она всё чаще пропускала вечерние, а иногда и утренние дежурства у окна, записи в дневнике становились всё суше и короче, а однажды Зинаида Петровна и вовсе забыла, куда дела тетрадь.

Зинаида Петровна осунулась, взгляд её стал блуждающим, руки тряслись, а в дни, когда Ипатов возвращался домой один, на неё накатывала такая злая тоска, что ночами она крутилась в постели, пожираемая бессонницей.

С этим надо было что-то делать. И вот в разгар очередного любовного концерта Зинаида Петровна собрала волю в кулак и, силой выдернув себя из истомы, вышла на лестничную клетку. Вызвала лифт, поднялась на второй этаж. Поколебавшись всего мгновение, нажала на кнопку звонка. Рихтманша открыла сразу, будто ждала её прихода.

— Аннушка, как поживаете? Я, кажется, не вовремя? — Зинаида Петровна явственно различила мерный гул вечеринки (посреди недели!) на кухне у соседки, но и не подумала отступить — напротив, начала штопором ввинчиваться в

квартиру, решительно наступая на хозяйку.

— Ничего страшного, Зинаида Петровна. У вас всё в порядке? — Рихтманшу было непросто сбить с толку: едва заметное движение правым плечом, и старуха оказалась зажата между дверным косяком и вешалкой с грудой курток и пальто.

— Аннушка, я по поводу нашего соседа, Михаила. Так дальше продолжаться не может. — Зинаида Петровна резко стукнула палкой об пол, словно бы ненароком, однако весьма болезненно мазнув Рихтманшу по щиколотке.

— А что с ним не так? — от неожиданности Рихтманша отступила назад — минутная слабость, которой Зинаида Петровна не преминула воспользоваться.

— А то, — зашипела старуха, — что его оргии отвратительны. Я не могу спать под звуки этих нескончаемых фрикций.

Зинаида Петровна Рихтманшу не выносила. Всякий раз, сталкиваясь с молодой (хотя не такой уж молодой) соседкой, она чувствовала густой женский запах. Сладкая пряность жизни была омерзительна. В Рихтманше всего было с избытком: скулы слишком острые, смех слишком громкий, вырез на платье слишком низкий. “Когда она идёт, — записала как-то Зинаида Пет-

ровна в своём дневнике, — её ляжки издают звук падающих на разделочную доску кусков сырого мяса. Помпадурша". "Помпадурша" работала в городской администрации, и, как подозревала Зинаида Петровна, управы на неё не было. Но в сложившихся обстоятельствах связями пренебрегать не стоило. Вдвоём они могли отправить распоясавшегося Казанову в нокаут, распять на кресте общественного порицания, стереть с лица земли …

На фразе про фрикции Рихтманша расхохоталась. Чуть погодя посоветовала Зинаиде Петровне обсудить это лично с Михаилом, а её, ради всего святого, оставить в покое.

— Дюбарриха! — прошипела Зинаида Петровна в захлопнувшуюся дверь и отправилась на третий этаж.

От Зуйкиных толку тоже не было. Зуйкина-мать бессмысленно лупила на Зинаиду Петровну свои коровьи глазищи и никак не могла понять, о чём речь. На руках её в крике заходился младенец, по вылинявшей футболке расплывались молочные пятна. С Зуйкиным-отцом вышло ещё хуже. Услышав про оргии, он побагровел и послал Зинаиду Петровну куда-то, куда она не расслышала, потому что Зуйкины-дети крутились под

ногами, визжали и сбивали с мыслей.

— Я бы на вашем месте тест ДНК сделала. Охота вам растить чужого ребёнка?! — расчехлив последний бронебойный снаряд, Зинаида Петровна выскользнула на лестницу и на всякий случай блокировала тамбурную дверь палкой. За ней никто не гнался.

Пузырёва не открыла. Ермолова тоже — шляется где-то в ночи со своей шавкой, ищет приключений. Идти к Кузьминым было бессмысленно. Они жили на последнем этаже и едва ли подозревали о разврате несколькими пролётами ниже. Но Зинаида Петровна закусила удила. Она долго жала на кнопку звонка и, когда на пороге появился Кузьмин, похожий на привидение, с серым от усталости лицом и воспалёнными глазами, вывалила на него всё и сразу. Напомнила и о своих заслугах перед областной — да что там областной — российской, чтобы не сказать мировой медициной. Сказала, что из-за попустительства именно таких, как он, да-да, он, Кузьмин, порок блаженствует на свете, а она, Зинаида Петровна, всю жизнь отдавшая заботе о других, вынуждена страдать от бессонницы.

— Саша, кто там? — послышался хрипловатый женский голос.

— Маруся, спи, милая, спи, это деньги на шлагбаум собирают. — Кузьмин выглядел спокойным, будто принимать вечерами выживших из ума старух было для него делом привычным. — Зинаида Петровна, дорогая, ну вы же … эм-м-м … врач, знаток не только телесных, но и душевных человеческих недугов. Возможно, имеет смысл поговорить с … эм-м-м … Михаилом лично, по душам? Тет, так сказать, а тет, с глазу, как бы это точнее выразиться, на глаз? Может, удастся прийти к какому-то компромиссу, консенсусу? Вы вообще пытались вступить с ним в контакт?

— Какие компромиссы, Александр Николаевич, какой контакт? — взвилась Зинаида Петровна. — Чтобы я, порядочная женщина, компроментила себя, компроментовала, компроментитировала общением с этим мерзавцем? Нет уж, Александр Николаевич, будьте добры вы, как его сосед, как мужчина, в конце концов, объяснить этому Казанове правила здешних этикетов. А моей ноги в его притоне не будет! И если вы завтра же, я настаиваю, завтра же ничего не предпримете, то будете последней тряпкой, какой, впрочем, и являетесь.

Кузьмин дождался, когда за Зинаидой Петровной закроются двери лифта, вздохнул с лёгким

чахоточным присвистом и тихо прошёл на кухню. Не зажигая свет, налил себе рюмку водки. Выпил залпом.

Этой ночью Зинаида Петровна снова бодрствовала. Она давно уже перетащила (не спрашивайте как) свою кровать с панцирной сеткой в маленькую комнату, чтобы лучше слышать всё происходящее наверху. Но сейчас, как назло, царила абсолютная, космическая тишина. Зинаида Петровна сверлила потолок взглядом, представляя, как у неё над головой в жидком свете фонаря вздымается под тонким одеялом груда рельефных мышц. Как медленно, в такт дыханию, поднимается и опадает могучая грудная клетка. Как тяжёлая рука с тонкими, такими медицинскими пальцами обвивает плечи той, кто спит рядом. Уснула Зинаида Петровна под утро и спала крепко, как не спала уже давно.

…Забросив дневник наблюдений и утратив интерес к жизни Зуйкиных, Пузырёвой и даже Рихтманши, Зинаида Петровна потеряла счёт времени. Целыми днями она сидела на кровати в ожидании “представления” над головой. Но представление не начиналось — из квартиры Ипатова не доносилось ни звука.

Звонок заорал около семи вечера. Лаял, как

беснующийся на цепи, охрипший сторожевой пёс. Тяжело опираясь на палку и еле переставляя онемевшую ногу, Зинаида Петровна добрела до двери и, не раздумывая, чего с ней никогда прежде не случалось, распахнула её. На пороге стоял Ипатов с букетом белоснежно-девственных тюльпанов.

— Зинаида Петровна, — он смешно растягивал гласные, — вы это, простите, мне тут сказали, что я вас типа чуть до сердечного приступа не довёл. Ну, не сердитесь. Я вот уезжаю, и это, ну, не сердитесь, в общем. У меня бабушка есть, была то есть, — вы на неё чем-то похожи. Такая же, это, строгая. И всякого, там, не любила. Ну и вот. Короче, это вам.

Зинаида Петровна зарылась лицом в тугие, пахнущие морозом молочные бутоны и вдруг неожиданно для себя засмеялась по-девичьи, как юная барышня, только что получившая первое приглашение на каток. Она смеялась всё громче и громче, и смех этот, начинавшийся так тихо и даже серебристо, вдруг перешёл в вой, отвратительный и бабий. Она хотела ответить, сказать что-то подходящее случаю, но внезапно увидела, что вместо проклятого Казановы перед ней стоит завотделением, только совсем молодой, каким

она помнила его полвека назад, когда завотделением он ещё, конечно же, не был. Он смотрел на неё ласково и беззвучно шевелил губами: “Жанна д’Арк, ты моя Жанна д’Арк”. А за его плечом откуда ни возьмись выросла Рихтманша в высоком пудреном парике, в алой парче с фижмами и бархатными мушками, рассыпанными по трепещущей смуглой груди. Плавно перебирая тонкими руками в звенящих браслетах, танцевала на лестничной клетке Мата Хари с лицом несчастной Пузырёвой, а Ермолова в высокой золотой короне и прозрачной тунике восседала на невесть откуда взявшемся троне и гладила свою болонку, из пасти которой вырывалось змеиное жало.

…Все погребальные хлопоты взял на себя Кузьмин. Рихтманша честно звонила в районную больницу, но там не осталось никого, кто помнил бы старую санитарку. Пузырёва с Ермоловой накрыли поминальный стол, благо у Пузырёвой в “Пятёрочке” была постоянная скидка и сыр с колбасой, и зелень, и прочая водка достались ей за полцены, чему больше всех радовались Петька (вслух) и Зуйкин-отец (про себя). Скудный гардероб Зинаиды Петровны вынесли на помойку, а книги сложили у почтовых ящиков.

Есенин, Асадов и жизнеописания великих женщин прошлого вскоре пропали, а Чехов, Ницше и Достоевский ещё долго пылились и выцветали. Как и протез Зинаиды Петровны, выставленный впопыхах на лестницу, да так там и оставленный. Поначалу при виде одинокой костяной ноги жильцы вздрагивали, после привыкли и вовсе перестали обращать на него внимание. А однажды он просто исчез.

Николай Коляда

Подтяжка



В первый раз Миша делал подтяжку лица де-

сять лет назад.

Один его знакомый тогда учился в театральном институте на отделении “Актёр пластического театра” и говорил всегда, сокращая: “Я учусь на Пластике!” — Миша в ответ ржал, так ему нравилось это слово и этот образ, растягивал себе двумя руками лицо к ушам — и повторял, кривляясь под Ельцина: “Пластика, понимашь!”

А друзья говорили: “Миша себе перетяжку сделал!” Как будто не лицо, а диван заново отремонтировали, перетянули на нём обивку …

Прошло десять лет после первой “пластики”, у Миши под глазами снова нависли “чемоданы”, — и он решился на новое “обрезание”.

Когда он лежал в палате после операции, именно так — “Я себе обрезание сделал!” — говорил кому-то по телефону узбек на соседней койке.

Узбек, вообще-то, именно *то самое* обрезание имел в виду, а Миша услышал — и уже потом, выйдя из больницы, так всем и говорил:

— Я себе не перетяжку, а обрезание сделал!

Миша любил шутить. И никогда не скрывал, что делал подтяжку. И тогда, десять лет назад, и сейчас. А чего стыдиться? Многие мужики делают себе подтяжку. Только скрывают, конечно.

Врач Нина Сергеевна перед операцией пока-

зала Мише фотографию брутального мужика и сказала гордо:

— Вот, после перевязки мужчина, посмотрите: это моя работа!

Мужик был похож на бандита из девяностых, прям мужик-мужик, совсем не слащавый, и заподозрить его в том, что он ложится под нож пластического хирурга, — ну никак нельзя было.

В палате после операции Миша уши навострил — и слушал-слушал-слушал, что по телефону говорит его сосед, Узбек. Так интересно было и смешно (наверное, наркоз отходил, и Мише всё было смешно).

Мужик был лет на десять или даже на двадцать его старше (морда вся в пластырях, и не понять, сколько ему лет). А ведь сделал себе, старпень, подтяжку, хоть и не “звезда” …

Миша-то был — “звезда”. Он работал журналистом на радио и телевидении, иногда выходил в ТВ-эфир, и потому надо было привести свою мордуленцию в порядок.

А Узбек всё шептал в трубку:

— Слушай, что за вопрос: “Почему?” … Я ведь мусульманин. Да! Я хожу в мечеть, а обрезание до сих пор не сделал … Ну, мои родители не сделали это ребёнку, мне то есть … Я не знаю почему, не

спрашивай! И вот я решил … Да! Потому что я мусульманин! Я правоверный, Юра! Ну и что, подумаешь, шестьдесят с небольшим … Нет, ты понимаешь, мне надо, раз я в мечеть хожу, то я …

Суконец, врал ведь всё.

— Меня две недели не будет на кафедре … Справитесь? Ну, что там такого сложного? Я на даче посижу, отдохну немного, надо восстановиться … Нет, нет, операция не сложная, но врач говорит, что кожа старая, долго срастаться будет … А потом: такое место … Юра, я прошу тебя, пожалуйста, прошу, очень: никому ни слова!

Миша понимал, что Узбек говорит это, чтобы тот Юра потом, шёпотом и “по секрету всему свету”, доложил бы, что “у нашего завкафедрой крыша поехала, ударился в ислам напрочь, шахид проклятый, сделал себе обрезание!”.

А на деле “обрезание” у Узбека было такое: “круговую” себе сделал этот завкафедрой. “Круговая” — это когда обрезается по кругу вся морда и кожа натягивается на черепе. И всё ровненько, будто асфальтовый каток проехал по роже.

“Круговая” — это дорого, сложно и тяжело, долго будет всё заживать … Поэтому Миша — только бровки, глазки, мешки-чемоданчики “чик-чик”,

убрать. А этот, собака, у него глаза и так косые, один глаз на нас, другой в Арзамас, а он натянул ещё больше …

И зачем подтягивать рожу человеку в 60 лет? Чтобы девочкам нравиться? Или, наоборот, мальчикам? Ну да. Раз он преподаватель в каком-то институте, там вертятся вокруг него всякие с пи-пи-радаром …

Мише было сорок. Когда его уложили на операционный стол, анестезиолог — грузный старый мужик, еле ползающий, — обошёл его со всех сторон и спросил снова то, что он спрашивал уже три дня назад у себя в кабинете: “На пятый этаж можете нормально подняться?”

И Миша ему ответил снова, что “каждый день по два-три раза я поднимаюсь на пятый этаж, потому что живу на пятом этаже без лифта!”, и засмеялся, как и тогда в кабинете, но тут Миша засмеялся, потому что мандражно было, надо было скрыть страх.

Анестезиолог сделал ему укольчик в вену — и Миша прикрыл глаза.

Открыл их, как ему показалось, через секунду.

Но большие часы, которые висели в палате на стене, показывали совсем другое время: будто кто-то быстро пальцами перевёл все стрелки.

Да, он уже лежал в палате, а не в операционной. Слева стояла толстая медсестра в белом халате, поперёк себя шире, и что-то делала с его левой рукой, укол, что ли, ставила в вену. Он этой прижатой рукой попытался указать на большие часы на стене и спросил:

— А что?

— А всё! — сказала медсестра и засмеялась неприятно громко, заржала будто.

Потом зеркало ему показала:

— А вот ещё!

Зеркало было круглое, грязноватое, и он увидел себя в зеркале — страшного: пластыри с кровавыми разводами, рожа опухла …

— Операция уже прошла? — спросил Миша удивлённо.

В прошлый раз, десять лет назад, хирург делал ему “пластику” под местным наркозом, играло радио “Маяк”, сообщали какие-то новости про Чечню, стучало железо — пинцеты-ножи-скальпели, хирург шутил, и Миша шутил, и только когда скальпель стал резать ему скулу, когда нож поехал по кости скулы и он прям почувствовал это, — вот тогда он вдруг с ужасом подумал: “Боже, что я делаю?! Зачем я согласился на это?! Я же добровольно лёг на стол! Он кость мне режет, су-

ка?! Выпустите меня, я с ума сошёл, это же морда, ведь всё видно будет, какой ужас!” — и он хотел всё это закричать и вырваться из-под ножа, но как-то вытерпел …

Операция прошла успешно, а потом быстро всё затянуло на морде, он даже и не помнит, как это было, помоложе был, поди, легче перенёс всё … Десять лет прошло — не шутка.

— Операция уже прошла, — повторила его слова, как робот, медсестра, достала тряпку и стала протирать подоконник.

За окном на карнизе сидели голуби — и мурчали, как коты довольные на солнце. Был апрель, весна, солнце, но снег ещё не таял.

— А сколько она шла? — спросил Миша.

Медсестра стояла у окна к нему спиной — и сказала будто не ему, а в окно голубям:

— Три часа, — потом крикнула и замахнулась тряпкой на голубей: — Кыш! Ишь?!

Тётка голубям, поди, завидовала, что вот — весна, они там трахаются, а она — нет, не дано таким толстым …

“Какая она страшная, — подумал Миша и засмеялся. — Работает в клинике пластической хирургии, а себе подтяжку сделать не может, а? Сапожник без сапог …”

Когда медсестра ушла, Миша выпростал руку из-под одеяла, посмотрел на красное пятнышко на руке, куда она укол ставила, взял с тумбочки зеркало и стал рассматривать себя, скалить зубы, растягивать пальцами щёки — и тихо себе самому улыбался: я сделал это!

…Узбек всё говорил по телефону про обрезание, и если в начале он говорил неуверенно, то теперь в его вранье стала проявляться логика: главные слова выделялись, не главные — опускались. Работающие на радио с лёта определяют это.

Теперь Узбек стал говорить про религию настойчивее, хотя, надо полагать, только что, на кровати после операции, он и уверовал в ислам. Он повторял — мол, наши предки, то-сё, “Ураза-Байрам”, мешал всё в кучу: про мечети, про степи и коней, и, как Миша понял, Узбек был такой правоверный, что ни одного слова по вере не знал, кроме как “салям алейкум”.

Смешно. Это как бывшие коммуняки — побежали в церковь, и давай стоять со свечкой в руках и делать фото для инстаграма, но сами не знают, как креститься правильно, и не выучили наизусть ни строчки из молитвы.

Был у Миши один знакомый режиссёр, который мог пить и рассказывать до середины ночи

анекдоты про блядей, а потом вдруг хлопал себя по лбу и говорил:

— Ой, бля, завтра ведь Чистый четверг! Мне в шесть утра на службу, бля, в церковь! — и бежал сломя голову спать.

Циники чёртовы и лгунишки.

Мише становилось всё веселее, но веселье его было — злое: наркоз отходил, и потому всё вокруг было уже не только смешно, но и противно, даже эти голуби за окном были и смешными, и дурными, черти сизые … Кстати, а почему никто никогда не видел маленьких голубей-птенцов? Они их куда-то прячут? И появляются потом уже сразу взрослые голуби среди лета, уже с перьями и с хвостами враскоряку. Как странно, а?

Мише было всё смешно: и трещина на потолке (она напоминала карту Африки), и кружка с чаем на тумбочке … Железная кружка была будто из тюрьмы или с забастовки шахтёров: такими кружками и касками они обычно стучат по земле, — и это было смешно Мише.

Стол в углу стоял, а на нём белая простынка — словно там собрались на столе пеленать младенцев, — и это было жутко смешно: какие тут младенцы?!

И стул с кривыми ногами стоял — на него

вообще невозможно было смотреть без смеха: а почему тут один стул, а не два, а не десять? И вот вопрос: а сюда пускают посетителей проведать больных, с огурцами свежими, с сеткой мандаринок или бананов или с жареной курицей, приходят сюда плачущие родственники? Ну, не плачущие — не умирают же тут, а просто сморщенные и грустные посетители — приходят? Не пускают их, поди? Тут ведь долго не держат никого: морду подшили, деньги заплатил — всё, свободен, иди домой и лечи там свою кожу старую, нечего тут валяться, на голубей и на Африку смотреть.

Мише становилось всё веселее, и он решил заговорить с соседом по палате. А что такого? Не в трамвае ведь едем на работу утром, а, так сказать, в одной лодке плывём.

— Ну, и куда вот теперь, *кому* вот эту вот красоту? — громко, с вызовом начал он разговор; и непонятно было — про свою "красоту" он это говорил или про Узбека.

"Обрезанный" на кровати пошевелился, помолчал, понял подтекст и всю глубину вопроса и ответил без восточной хитрожопости и тонкости:

— А вам? — так же с вызовом, вопросом на во-

прос, ответил Узбек.

— Ну, и мне, — согласился Миша, но решил смягчить разговор — и, вздохнув, продолжил: — А мне противно самому стало смотреть на себя в зеркало. Вот я и решил смастрячить что-то на лице хорошее, красивое …

— Ну, и мне — тоже. Себе. Как и вам.

— …А ещё у меня муж молодой, — наркоз отходил-отходил, и Мише захотелось барагозить — вот он и ляпнул то, что и в голову не могло прийти секунду назад.

А что? Чужие люди, через полдня или день разойдёмся, “навру с три короба, пусть удивляются, вагончик тронется, вагончик тронется, а он — останется!”.

Ему было просто весело, он смотрел в потолок на Африку, и негры там косили траву, трын-траву на поляне, и гуляли среди баобабов, и пили кокосовое молоко, и носили автоматы, и всё время делали перевороты в Аддис-Абебе, или как там она называлась, та страна и тот город в чёрной Африке.

Узбек ответил не сразу; он полусидел-полулежал на кровати, подоткнув подушку под могучую спину: он был широким, как шкаф, мужиком, не худышкой.

— Ну, и мне — для мужа, — сказал, наконец.

— Понятно.

— Что понятно?

— Всё понятно, — сказал Миша Африке, всем чернокожим и угнетённым народам, и улыбнулся.

— Молодой? — вдруг спросил Узбек.

— Я? Да, — быстро ответил Миша.

— Нет, муж у вас — молодой?

— Да. И муж у меня молодой, и я молодой. Мы все молодые. Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым.

— Ну и прекрасно.

— А у вас? Молодой? Студент, надо полагать?

— Надо полагать.

— Да я уж понял, что студент. Палата маленькая, всё слышно, прошу прощения … Но как же религия?

— Бог — это любовь.

Помолчали. Ответить на этот пафос было нечего.

— Да я пошутил, — сказал наконец Миша. — Просто я не понимаю, зачем в шестьдесят лет делать подтяжку …

— Да и я пошутил. Никакого студента нет. А вам тридцать?

— Сорок.

— Молодо выглядите.

— А я уже делал подтяжку десять лет назад. В тридцать.

— Вот и я не понимаю: зачем делать подтяжку в тридцать или в сорок? Меня, кстати, зовут Владислав.

— А меня — Миша. А что, Владислав — и мусульманин? Так бывает?

— Ну, бывает. А покажите лицо. Как вам сделали? Что вы всё в потолок смотрите?

— Там — Африка.

— Что?..

— Зачем вам моё лицо? Посмотрите на себя в зеркало — это и будет моё лицо. Так же всё распухло и так же всё — заклеено.

— Но всё-таки? Будьте добры, повернитесь ко мне? Ну, просто интересно.

Они посмотрели друг на друга. Посмеялись. Помолчали.

— У меня началось, кажется, осложнение, — сказал Узбек-Владислав. — Голова кружится. Говорят, после таких операций кровь может пойти в мозг. Можно и умереть даже …

— Да кто вам такое сказал?! Меньше интернет читайте, там понапишут …

— У меня нет мужа, вы поняли уже?

— Да понял я, понял.

— Просто сейчас так все устроены, что привыкли всех, везде и всегда подозревать в чём-то. Во лжи, в непорядочности, в измене, в бесчестье, в безнравственности — да в чём угодно. Все врут везде, и потому все не верят друг другу, — Узбек-Владислав помолчал, вздохнул. — Голова кружится.

— Враньё идёт с экрана и в интернете. Вот все и не верят друг другу в реальной жизни. Я работаю на радио — и знаю.

— И если кому расскажешь, что что-то делал со своим лицом, то никто не верит, что просто так, для себя, — а сразу все начинают подозревать.

— В чём? В измене Родине?

— Нет. В голубизне. Что равносильно. Ладно, давайте спать, — вдруг резко свернул разговор Узбек-Владислав и повернулся на другой бок, спиной к Мише.

Миша тоже повернулся на бок, чтобы не видеть спину Владислава, и как-то быстро уснул.

…Снилась копна сена.

И вот он, Миша, в белой рубахе и в белых штанах, будто со стороны на себя смотрит или видит себя в каком-то красивом, цветном кино.

Он бежит, бежит и — бух! — прямо в это сено. А оно такое колючее, но не пересохшее, и не забивает нос пылью, а пахнет так по-деревенски, полынью, по-детски вкусно-превкусно.

Миша весь в белом, а ещё у него венок на голове из голубых васильков, просто как принц, и подтяжка уже зажила, лицо чистое и светлое, глаза тоже голубые, как васильки, в жизни они были карие, а тут — будто линзы ему вставили, такие нереально красивые глаза и ресницы, ресницы загибаются прям кверху … Он и не знал, что может быть таким красивым.

А на ногах у него — лапти. Самые настоящие лапти!

Ну просто не сон, а кино, такое сладкое кино, словно из рекламы про молоко, и вот сейчас ещё старушка с “кринкой” появится и скажет: “Пейте молоко из Простоквашино!” — или что она там говорит, когда наливает румяным детям молоко из глиняной “кринки” …

Но вместо старухи вдруг в эту копну сена, рядом с ним, кто-то падает и смеётся, тоже в белом, в льняной рубашке с узорами на груди, и тоже в голубых васильках, и тоже в лаптях, — кто, кто, кто это?!

Боже. Да это же узбек Владислав.

Но только — молодой, смуглый, глаза хитрые, восточные, чуть раскосые, он тоже в голубых линзах, тоже подтяжки не видно, и вот он падает рядом с Мишей в копну сена, а в руках у него дрожит веточка с ягодками красненькими, и он одну ягодку с веточки срывает и, улыбаясь, несёт эту сладкую ягодку Мише в рот, в губы, суёт, суёт …

Миша глотает, не жуя, эту ягодку — и почему-то спрашивает Владислава, зачем тот сделал подтяжку.

— Для тебя, милый, — отвечает ему Владислав.

— Для меня?! — поражается Миша.

— Ну конечно, для тебя, а для кого же ещё?

— Но у тебя ведь столько студенток! Может — для них?

— И студентов. Не только студенток. Но не для них. А для тебя, милый.

— Почему ты меня называешь милым?

— Потому что ты милый!

— А мы что в этом сене делаем?

— Потому что только в сене можно целоваться сильно, до крови …

И тут Владислав обхватывает своими мясистыми губами губы Миши, принимается гладить его тело, лезет рукой под рубашку …

…Глаза Миша открыл с трудом: слиплись от

слёз глаза во сне.

Уже было утро, и медсестра, та самая толстуха вчерашняя, трепала Мишу по спине и говорила:

— Завтрак я принесла, чай вот и ватрушка, и яйцо ещё, и кусочек маслица …

— И кусочек маслица … — машинально повторил Миша, повернулся на другой бок — и увидел, что на соседней кровати никого не было.

— А где мой сосед?

— Какой сосед?

— Узбек Владислав тут лежал.

— Ой, наркоз какой был у вас … Отходняк дурной. Узбеки Владиславы ему мерещатся …

— У него было осложнение, он говорил! Он говорил, кровь пошла в мозг у него! Он что — умер?..

— Умер, умер … Хватит уже. Вот поешь — и всё, выписка. Мы долго не держим. Очки свои чёрные надевай, в машину свою чёрную садись, и давай уже — до дому …

Он так и сделал.

Марина Москвина
Хрустальный желудок ангела



Когда мы познакомились, Лёнечка был студентом-медиком, худым, длинноволосым, длинноносым. Пытался поступить на биофак МГУ — провалился, и мама, уральская учительница из маленького городка Нижние Серги, упросила его поступать в медицинский. Ей хотелось, чтобы он выучился на врача и вернулся домой.

Как мы с ним встретились — не пойму, ни шанса на миллион, а вот поди ж ты — подруга сказала: есть жених, медик, не за горами распределение — надо бы остаться в Москве. А вообще он художник-любитель …

— Заманчиво, — ответила я, свободная как птица.

В модном пиджаке в голубую клетку, американском, который подфарцевал ему однокурсник по лечебному факультету Витя Савинов, Лёня пришёл просить моей руки и был радушно принят моими родителями — Люся накрыла поляну, мы выпили, закусили … А он не просит руки и не просит. Родители глядят на меня вопросительно. Я пихаю его ногой под столом.

— Ну, мне пора, — сказал Лёнечка, поднимаясь.

— Что ж ты руки-то не попросил? — я спрашиваю его у самой двери.

— Ах, да! — вспомнил он. — Прошу руки вашей дочери!

— А ноги? — спрашивает Люся.

Учёба в медицинском ему давалась с трудом. На пятом курсе пора защищать диплом, а никак не получалось сдать анатомию. Приходилось “отрабатывать” часы — по вечерам в анатомичке.

Лаборант, склонившись над чьей-то неподвижной фигурой:

— Что тебе надо? Какая часть тела?

Выуживал из большого чана с формалином, к примеру, голень или целую ногу. Это называлось препаратом.

Или он спрашивал:

— Тебе какую печень — алкоголика или нормального человека?

Лёня смотрел на этот тлен и прах, на сухожилия, связки, ссохшиеся мышцы, нервные пучки — и глубокая печаль наполняла его сердце. До того удручающе выглядит анатомический театр, обитель болезней, страданий и смерти, что примириться со всем этим просто невозможно — только воспарить.

У печени две доли:
Одна левая, одна правая,
Одна весёлая, а другая печальная.
Доля печени очень печальная.
Накинута на неё фата венчальная.

Когда он приходил домой, усаживался на диван моей бабушки Фаины с двумя валиками и диванными подушками, со всех сторон у него

Аполлинер с Лотреамоном, Элюаром и Бретоном, тетрадки переписанных стихов из редких книг в “Ленинке” (издания футуристов — Кручёных, Терентьева, Хлебникова). К тому же рядом с институтом находилась библиотека профсоюзов и выдавали книги Заболоцкого и Мандельштама в читальном зале.

Всё смешивалось у него в голове — возвышенные образы поэтов Серебряного века и куски разъятой плоти, запах формалина, атлас анатомии Мясникова, трёхтомник доктора Соботты с иллюстрациями Хайека, добытый в магазине Медицинской книги, оттуда он копировал рисунки, увеличивая в десятки раз, сопровождая поэтическими текстами.

Новые образы являлись из другого измерения, новый смысл существования человеческих органов, это были не просто куски плоти, которые болят, кровоточат, разлагаются, они встраивались в другую систему координат — космическую. И стало как-то легче жить, учиться, изучать анатомическое строение телесных частей.

Он углублялся в языковую толщь анатомии.

— Прислушайся, — шептал мне в ночи, — как звучат слова “фаллопиевы трубы” или “варолиев мост”, “бронхиальное дерево”, “слёзные меш-

ки”, — так и вижу, — бормотал, — идёт согбенный человек и несёт за плечами огромный мешок, полный слёз …

Он учился медицине, рисовал, писал стихи. После института год работал в гастроэнтерологическом отделении врачом. Тогда родился миф о космическом желудочно-кишечном тракте — Лёня взялся утверждать, что мы — всего лишь пища огромного космического желудка и перевариваем переваренное.

Брюшная полость, полная кишок,
Похожа на небесную страну!
Вскипают облака,
Сплетенье солнечное внутри пупка восходит!

Он стал изображать слоновьи хоботы и шланги водолазов, тянуть, тянуть эти бесконечные трубки от тела к телу, от звезды до звезды, из центра солнечного сплетения прямо в бесконечность.

“Однажды, катаясь на лыжах в заснеженном уральском лесу, я встретил великий желудок, тихо лежащий среди снегов …” — без черновиков и эскизов, будто в полусне, набело он рисовал и писал кисточкой в альбоме поэму “Хрустальный

желудок ангела”.

Как-то ночью нам обоим приснился Желудок, он был полон драгоценных камней: сапфиры и изумруды, рубины и опалы, бирюза и другие самоцветы посыпались на пол, ослепив нас своим сиянием. Наутро в Коломенском возле разрушенной церкви села Дьяково Лёня увидел помороженного ангела, лежащего у забора наполовину в снегу, еле шевеля заиндевелыми крыльями.

— Возьми мой желудок … — тот прошептал.

Хрустальный желудок, в котором мерцает его душа.

“Разобьёшь, — Лёня думал, — и она вселится в тебя, и ты улетишь в небеса вместе с лыжами, улетишь, не вернёшься, исчезнешь за облаками”.

Вечером я легла, погасила свет, и в окне увидела далёкую голубую точку. Эта точка меня взволновала. Ляжешь под тёпленькое одеяло, свернувшись калачиком, кукурузка на плите, две инжирины припасла себе на утро, сыр рокфор … Всё налажено, уютно … Внезапно такая точка голубая проникает в твоё окно, в твоё сознание, в картину твоего полуночного мира, а я-то знаю, что никакая это не точка, а громадная полыхающая звезда, свет которой летит миллиарды

лет! Небось, она сгорела давным-давно, как наше солнце вспыхнет однажды, залив ослепительным сиянием небосклон …

Огромный космос подступил ко мне, как океан к какому-нибудь острову Формоза, пришлось с головой накрыться одеялом. Но всё же иногда высовываться и поглядывать на голубую точку.

— Понимаешь, — неодобрительно качал головой Лёня, — твоё творчество и жизнь слишком переплетены. Ты танцуешь эту жизнь, и тебе нужно, чтобы всё вокруг тебя танцевало. Так ты этим танцем и изойдёшь.

— Да, я изойду этим танцем, — я отвечала своевольно, — но он будет продолжаться, уже без меня.

Короче, Лёня велел мне сшить ангела с крыльями, чтобы тот лежал на кровати и дышал. А под эту длиннющую кровать собрался поместить наполненную новогодними огоньками хрустальную вазу моей тётки Анны, заслуженного работника питания, бывшего директора столовой.

Узнав, что я собираюсь ваять трёхметрового ангела и нуждаюсь в трикотаже телесного цвета с аурой близких родных людей, Лена Шубина принесла мне нательное бельё своего папы.

Мне глубоко чуждо искусство кройки и шитья, ни фартука, ни трусов у меня не выйдет, как ни старайся. При этом я могу сшить любого человека из тряпочек в полный рост, если он немного попозирует.

Возделывать ангельский лик я начала с носа: это как первая нота, если её возьмёшь верно, остальное споётся само собой. К его созданию я приступила как демиург к сотворению мира — вдумчиво и вдохновенно, имея в виду не только наружную часть — боковые стенки, хрящ крыла, костную перегородку, но и так называемые cavitas nasi — носовые полости, устланные изнутри слизистой оболочкой.

Пока возилась с носом, ей-ей, мне казалось, что Господь с ним явно перемудрил: нос и нос, обычное дело, а там и крыловидная ямка, и сошник, преддверие и порог, нёбный язычок, хрящи крыльев — уйма всяких косточек, хрящиков, складочек, один решётчатый лабиринт чего стоил!

Манили, не скрою, более лёгкие пути, без подробностей, к тому же у ангелов, вероятно, не столь сложносоставные носы, как человечьи. Но, к моей чести, я не прислушивалась к доводам рассудка. Настолько тут всё задумано совершен-

но — ни убавить, ни прибавить! Однако найдётся ли кто-нибудь в подлунном мире, кто хоть на миг ощутил признательность влажной слизистой в собственном носу? Обратился ли к ней со словами любви и признательности: “О, моя дорогая слизистая! Спасибо за то, что каждый мой вдох, который в любой момент может оказаться последним, ты очищаешь от пыли мерцательным эпителием, увлажняешь и согреваешь, подготавливая к соприкосновению с нежной тканью моих несравненных лёгких …” (сшитых из шёлковой бабушкиной ночной сорочки).

Всё поражало меня: чудо света — глазные яблоки … Слух и зрение, обоняние и осязание — все эти непостижимые явления. А завитки ушных раковин, хрящ наружного слухового прохода, барабанная перепонка … То, что их двое в этом мире!

Ночью почувствуешь, кто-то ползёт
По плоскости твоего лица.
Это ухо проснулось и ищет
Брата своего – близнеца.

Но особенно Слушатель волновал меня и тревожил, исчезающий, как мираж, стоит попытаться

его обнаружить, — да и существует ли он, и отделён ли от звука? Когда шила уши, слушала Баренбойма, он играл Шопена, и внезапно почувствовала — ни меня нет, ни Баренбойма, только звук, только звук … Да ещё под впечатлением целый день насвистывала похоронный марш!

Печень, почки я, не поднимая головы, украшала жемчужным бисером, мочевой пузырь — золотыми нитями.

Лёня знай поддавал жару.

— Что за мелкие стежки? — возмущался он. — Печень — двойная гора, покрытая хвойным лесом, травой, колокольчиками и ледниковыми глыбами. Мочевой пузырь с почками — огромные дождевые облака …

Он читал тело как раскрытую книгу, как поэзию, полную грёз, меланхолии и священного ужаса. Рисовал себя спящим внутри желудка мира, утверждал, что двенадцатиперстная кишка плавно переходит в мышечный космический мешок, во мгле которого горят созвездья, представлялся желудочным путешественником …

И в конце концов материализовал четырёхметровую сущность по имени Стомак, автономный желудочно-кишечный тракт с нижними конечностями в прямой кишке, извилистый, как

жизненный путь человека, чуткий и уязвимый, прекрасный, как рождественская ёлка, могучий, словно уральский горный хребет.

В Доме художников на Лёниной выставке ноги, торчащие из заднего прохода, пришлись не по вкусу прозектору Первого медицинского института, великому знатоку анатомии Льву Ефимовичу Этингену. В толстых очках, с белой шкиперской бородкой, этот человек ведал всё о каждом органе, однако больше всего на свете его влекла мифология, аллегории и символы телесного устройства. Прослышав о выставке, он отложил *все дела* и пришёл посмотреть, что у нас тут за разгульное пиршество плоти.

Архитектонику Стомака счёл он сокрытием подлинной сути.

— Сия композиция, — клянусь, он так и сказал, — увидь её Пушкин, лишила бы нас бессмертных строк об афедроне, Рабле — чудесных пассажей о кишечных ветрах, детей — размышлений о пукательном отверстии и радости, что некуда поставить клизму, а врачей-проктологов — пациентов с геморроем. Надеюсь, — профессор обратился к Лёне, — заднепроходное отверстие заткнуто опорно-двигательным аппаратом не из-за вашей мизантропии?

Что Льва Ефимыча заворожило — это Сердце. Оно лежало на подиуме и привлекало внимание посетителей. Кое-кто не выдерживал и дотрагивался до него пальцем. Несколько сортов бархата пошло на него: алая аорта, лёгочная вена — голубая с мягким ворсом. Ушки сердца обнимали правое и левое предсердие, из-под них проступали arteria coronarius — правая и левая сердечные артерии. Когда я его шила и осыпала драгоценными каменьями, почему-то страшно волновалась, мне казалось, я нахожусь в соприкосновении с самим ядром универсума.

Великий кукольник и художник Резо Габриадзе, увидев это чудо, дрогнул и тайно попросил меня сшить для него такое же.

— Просите что угодно, — я отвечала Резо, — печень в цветах или фаллос из золотого плюша, увенчанный алым рубином, но только не сердце — оно неповторимо.

Мне удалось прорваться к чему-то вневременному и бесформенному в своём сиянии, такая вокруг поднялась суматоха — я чуть не возгордилась, ей-богу.

— Блестящая работа! — сказал Лев Ефимович. — Позвольте, я сфотографирую этот весьма своеобразный орган, который участвует во всех

наших жизненных проявлениях от первого и до последнего вздоха? Известно ли вам, что гомеровские герои для обозначения сердца в зависимости от ситуации использовали три слова: кардиа, этор и кер, — он немного грассировал и выражался высокопарно.

Этингену было дозволено всё. Он брал моё сердце в руки, оглядывал со всех сторон, прижимал к груди, не мог налюбоваться.

Я же, в свою очередь, была заворожена Этингеном. Мне нравятся диковинные люди, я к ним питаю особенное пристрастие: их необычная манера говорить, странные слова и мысли, которые мне никогда не пришли бы в голову, — всё в них пленяет меня. Поэтому спустя пару дней я примчалась на лекцию Этингена, посвящённую сердцу.

Лёня одобрил мою любознательность, стремление докопаться до сути, кроме того, со временем выяснилось, что я ввела в заблуждение Резо Габриадзе: ещё четыре сердца вышли *из-под моего пера.*

Крошечное — размером с фасолину — вложила я в грудную клетку голого и беззащитного Никодима, героя пьесы Лёни “Живущие в Хоботе” с ладонь величиной, сшитого мной по образу и

подобию самого Тишкова.

Ещё он соорудил книгу “Железный Дровосек” на металлических пластинах. Цинковые страницы служили частями тела Дровосека, сложенные вместе, они формировали его фигуру. Откроешь первую пластину и читаешь:

> Когда умер Железный Дровосек, мы, двадцать патологоанатомов, решили подвергнуть его тело вскрытию и узнали, что лицо, грудь и правая рука его были железные. Его живот, печень, лёгкие, пупок и левая нога были из железа …

Переворачиваешь следующую железную страницу, и там, в серёдке, сердце Дровосека из мягкого и тёплого бархата — ровно в том самом месте, о котором Этинген говорил на лекции в Первом меде:

— Согласно всезнающему Далю, сердце — это грудное чрево, нутро нутра, сердо, середина …

> Оно тихо лежало внутри железной груди и казалось ещё живым. А-а вот он какой, Железный Дровосек, уверял, что весь из железа, а сам!..

Третье сердце было для Водолаза — мифического существа сказаний моего мужа, навеянных воспоминаниями детства, когда по дну Сергинского пруда в свинцовых башмаках и шлеме из меди и латуни ходили водолазы — искали утопленника. В сердце такого Водолаза — круглое окошко, в нём зажигается электрический свет, гаснет и вновь зажигается — как проблесковый маяк в море ночном. В окошке на маленькой табуретке сидит безмолвный смотритель и следит за работой сердечного маяка …

Особо не заморачиваясь, я сшила обычную сердечную мышцу — с желудочком, всеми делами. Но в сердцебиении крылась жгучая тайна, так и не разгаданная мной. Да и анатом Этинген чувствовал себя нетвёрдо в этом вопросе.

— Самое интересное, — он разводил руками, — что никто не знает, почему на третьей, в начале четвёртой недели зародышевой жизни эта мышечная ткань начинает сокращаться. Нет, понятно, в каждом из нас заложена генетическая программа. Но отчего у всех людей одинаково? Может, в этот момент, — размышлял Лев Ефимыч, — устанавливается связь с чем-то высшим, которая далеко выходит за пределы земного шара? И налаживаются синхронные ритмы с

мирозданием?

Голос его гулко звучал под сводами старинной аудитории амфитеатра, которая помнила ещё физиолога Сеченова (“Сеченов меня вдохновил на первую бороду!”). Так же гулко разносился стук мела по доске. На парте прямо передо мной перочинным ножичком было нацарапано: “Лев Ефимыч без бороды — не Лев ЕфимычЪ”.

Я с любопытством поглядывала на его слушателей. Что за курс такой? Оказалось, факультатив, совершенно необязательное занятие, а тут яблоку негде упасть.

— Фанклуб Ефимыча рулит, — объяснил мне паренёк по соседству.

“Прикольный Лёва”, называли его студенты, “офигенный чел”, “угар мужиг”, “классный чувак”, “лучший препод всех времён и народов”.

Байки Лёвы перелетали с курса на курс, из уст в уста, цитатник великого Мао отдыхает рядом с цитатником Этингена.

“Что, Иванушка, не весел, что ты хобот свой повесил?” — нерадивому первокурснику.

На неверный ответ: “Это у вас. А у нормальных людей?”

“Что такое У??? Недоделанный Х!!!”

“Какая кровь находится в ячейках полового

члена — артериальная или венозная?” Девушка простодушно: “Артериальная …” Ефимыч — браво: “Если бы у меня там была артериальная, я бы им стены пробивал!”

На семинаре по репродуктивным органам Лёва для наглядности сел меж двух студентов, приобнял их за плечи и откинулся назад: “А теперь представьте, что я — матка!”

Хит сезона был такой: на лекции парни прикалывались, профессор попросил их остаться, нарисовал схематично на доске мужское достоинство и спрашивает: “Что это?” Самый бойкий ответил — хуй … “Неправильно, — строго сказал Лев Ефимыч, — это половой орган. А теперь хуй кто из вас получит у меня зачёт!”

“Дети, я не вредный … я ОЧЧЕНЬ вредный!” — гласил эпиграф цитатника.

Когда Лёва произнёс: “Данте в «Пире», опираясь на Боэция, Платона, Цицерона, Авиценну и аль-Газали, называл сердцем сокровенную сердечную тайну, вместилище души: оно скорбит, поёт, терзается и созерцает, и мы ведь тоже клянемся сердцем, а не ухом, печёнкой или ягодицей”, — кто-то поднял руку и спросил:

— Существуют ли анатомические отличия влюблённого сердца от невлюблённого?

Последовал ответ:

— Вряд ли анатом, взяв в руки сердце, скажет, любящее оно или нет, даже гистологи на тонких срезах под электронным микроскопом не смогут найти морфологические отличия. Но! Истории медицины известны случаи, когда после пересадки сердца пристрастия пациента полностью менялись на предпочтения донора …

Тема была животрепещущая — Лёня сочинял либретто к мюзиклу, которое так и называлось: “Пересадка сердца”.

Прямо и неподвижно лежит на хирургическом столе огромный человек, пристально устремив в небо невидящий взор. Хирург берёт сердце и вкладывает в его отверстую грудь. Тревожная музыка, переходящая в лирическую, — слышится стук оживающего сердца. Внезапно в оптимистическую тему жизни, побеждающую смерть, врывается режущий слух трубный глас и бой барабана. Органы поднимают бунт против инородца.

Появляются танцоры — в образе лёгких; наполняясь воздухом, расправляясь во всю ширь, они возносятся к потолку и кружат над сердцем …

Какие же лёгкие – лёгкие!

Ну её эту тёмную клетку грудную!
Взмахнули крыльями и полетели
Как птица – на небо и даже выше!
А сердце осталось в теле,
Работать в грудном отделе.

Далее вариации гневной печени с желчным пузырём и возмущённого звёздного желудочно-кишечного тракта … Почки — весёлые дочки словно дождевые облака висят на тонких нитях под диафрагмой небесного свода, мочеточники впадают в мочевой пузырь, надувшийся, как упырь, внутри у пузыря штормит жёлтое море …

В апофеозе восставший фаллос золотой исполняет арию “Все на штурм чужака!”.

— Сердце нельзя беспокоить, остановитесь, безумцы! — пытается образумить их Селезёнка в кружевном сарафане.

Её никто не слушает. На мрачные лица внутренних органов ложится вечерняя мгла, герои возбуждены, потрясают вилами и лопатами, вёслами, косами и граблями — под мрачную какофонию трубы и барабана танцуют грозный воинственный танец.

Гонимое Сердце начинает дрожать, озаряется красным светом …

Дальше — тишина. Иммунное отторжение грозило гибелью реципиента, а это не входило в Лёнины планы. Не подоспей на помощь Этинген, мир так и не увидел бы эпохальный спектакль, премьера которого состоялась в начале третьего тысячелетия в Центральном доме работников искусств.

Довольный Ефимыч сидел в первом ряду с программкой, где Лёня ему воскурял фимиам в качестве научного консультанта: Этинген подсказал, что в случае отторжения донорского сердца удаляется селезёнка.

Это дало импульс мощному драматургическому ходу: кроткая, чистая селезёнка, словно пасхальный агнец, искупляющий и непорочный, была возложена хирургом на алтарь: “Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis …” Закланный Агнец, хранитель печали, ввергни грешных в отчаяние …

Тема жертвоприношения звучит в трагическом тембре саксофона. Гибель селезёнки знаменует покаяние грешников и всеобщее примирение. В финале Сердце празднует воскрешение, воцаряется гармония, хирург утирает пот со лба: операция прошла успешно.

Иногда Лёня сам не понимал, что за образы

всплывают у него из подсознания, теснясь и наступая друг другу на пятки. Вдруг давай сходить с ума по луне, начертил эскиз месяца, заказал в мастерской световой объект “Луна” и пустился с ней в бесконечное странствие, сочиняя истории о Луне и Земле, о хлебе и соли, о звёздах, которые падают, и о людях, которые превращаются в звёзды, — чем снёс крышу всему миру, но не смог зажечь Этингена. Хотя именно Ефимычу принадлежит великое изречение: “Не только анатомия, но и астрономия описывает нас!”

Шли годы, мы объехали земной шар, фотографируя “мужика с Луной” на крыше заснеженной высотки в Чертанове, на чердаке дачного дома, на ступенях заброшенного храма в Тайване, на Эйфелевой башне и на пустынном арктическом острове … когда к нам прилетела весть: “Сегодня утром по дороге на работу умер Этинген Л.Е.”.

Летняя сессия, ехал на экзамен, поднимался по лестнице на “Охотном ряду”, вдруг всё поплыло у него перед глазами, то ли запотели очки, то ли что. Он присел на корточки, опершись о гранитный барьер … Здание “Националя” наклонилось и стало менять очертания, стены вытянулись, сверкнули на солнце, превратившись в белоснежные гряды Памира. Теперь он увидел себя

на горе, куда как-то раз отправился с альпинистами в валенках и тулупе до пят, в дочкиной шапочке, — с переносным ящиком, в нём сидела крыса. На её примере Лев Ефимыч хотел показать покорителям вершин, сколь вредна гипоксия для организма, — и, разумеется, всю дорогу служил мишенью для шуток и насмешек. …Дыхание редкое, озноб, сонливость, головокруженье, сухость во рту — …типичное кислородное голодание … Он пощупал пульс и не нашёл его.

Но история с “Хрустальным желудком” имела продолжение. В Москве в Третьяковской галерее на длиннющей кровати спал трёхметровый ангел. На спинке кровати висели крылья. А над кроватью — занавеска из тюля, на ней: шагающий по глубокому снегу человек в валенках и с крыльями за спиной. Он поднимался на вершину горы и прыгал вниз, исчезая в облаке падающего снега.

— Там огромный мужик лежит и дышит, — говорили посетителям галереи гардеробщицы.

Потом “Снежный ангел” улетел в Германию на выставку в Кунстхалле Фауст в Ганновере. В Ижевской картинной галерее дремал наш ангел, люди приходили к нему и смотрели его сны. В львовском старинном монастыре можно было увидеть

спящего ангела в бывшей часовне, под высокими сводами которой витал его заснеженный сон, а на тумбочке перед ним стояла хрустальная ваза с красными новогодними огоньками.

Правда, какой-то злоумышленник, пока ангел спал, вытащил у него изо рта язык. Неясно, где это произошло, не будешь ведь всякий раз проводить подробную инвентаризацию. Язык чистый, всё как надо: борозда, слюнные железы, сосочки, вкусовые луковицы, уздечка, бахромчатые складки … Не празднословный, не лукавый …

Но Лёня не слишком огорчился, ведь наш снежный ангел не собирался выступать на пресс-конференции.

— Главное, — говорил, — чтобы не разбили хрустальный желудок и в хрустальных осколках не увидели очертания ангела, иначе ангельская душа вселится в него, тогда он прицепит свои лыжи к ботинкам, оттолкнётся палками от подоконника и прыгнет в небесную даль … А люди внизу поднимут головы и скажут: “Смотри, небесный лыжник! Смотри скорей! Там, над крышами …” Но тот ничего не увидит. И только две белые полоски останутся на голубом небе на короткое время, а после медленно исчезнут, размытые небесным ветром.

Дмитрий Воденников
Не стыдно



Как стыдно стариться. Как об этом хорошо Елена Шварц написала:

Как стыдно стариться —
Не знаю почему,
Ведь я зарока не давала
Не уходить в ночную тьму,
Не ускользать во мрак подвала,
Себе сединами светя,
Я и себе не обещала,
Что буду вечное дитя.
Но всё ж неловко мне невольно,
Всем увяданье очевидно.
Я знаю – почему так больно,
Но почему так стыдно, стыдно?

Несёшь себя, как мешок, как сундук (нет, сундук — неверно, он с углами, твёрдый, а ты мягкий), как вопрос: зачем?

И вроде любят тебя. И хотят даже.

Но ведь на то и есть наша воля цветка — какая разница, что нас любят и хотят: мы сами себе судия, самый безжалостный.

Я давно хотел написать об этом текст. О том, как отпускают тебе грехи сны. Как ты выскальзы-

ваешь там из тела. Как молодеешь.

И даже написал однажды:

“О том, что бывают такие сны, не те глубокие ночные, а лёгкие, поверхностные, при досыпании: когда ты проснулся уже, но снова скользнул под лёд, спишь, видишь какие-то картинки, быстрые сюжеты, но ясно уже знаешь, что это твой последний утренний сон. Как будто ты уже на поверхности, скоро вынырнешь, как будто ты видишь этот сон уже не в голове, а в подглазье, под сонными веками”.

И вот эти сны предутренние — всегда не о тебе, о других.

Ты всё про тех героев знаешь: и что они думали, и что хотели.

…Рассказал даже об этом одному своему приятелю, а он мне ответил:

— У меня недавно был как раз такой сон. Акварельный, условный. Там я общался с дедушкой, и он “перелистывался”. Стал сперва таким, каким я помню его пять лет назад. Потом — как десять лет. Это одновременно восхитило и испугало. Для меня ведь он всегда был плюс-минус одним и тем же.

(Это я тоже однажды написал.)

Не страшно, Господи, стареть,

хоть мне сперва противно было
(а что, приятно одному лежать
комочком в собственном стихотворенье?):
все восхищались? все меня жалели?
Все – Димочкой хотели называть?

До сих пор зовут. Ну и зачем это мне?

Где та грань, после которой можно вздохнуть спокойно?

У Лимонова был прекрасный текст про это:

“Я дал согласие на участие в съёмках фильма обо мне, когда узнал, что съёмки состоятся в нескольких странах. Поскольку возникло желание смахнуть из сознания прошлое и заменить давно надоевшие эпизоды новыми. Удалось? Удалось полностью”.

Лимонов уже старик, и он собирается в путь. Он не берёт чемодан, он не заморачивается — только сумка. Он и раньше без чемодана ходил.

“Я хожу по Нью-Йорку — своему большому дому — налегке, не очень перегружая себя одеждой, и почти никогда ничего не несу, не загромождаю свои руки”.

Старик не только не загромождает себе руки, он себе и сердце не загромождает:

“На самом деле человек в старости не болеет, а подвергается нападениям смерти. Она его кусает, душит, сдавливает своими клыками, порой отступает, затем опять наваливается. Человеку представляется, что это очередная болезнь. Но это не болезнь, это смерть его выкручивает. Она хочет своего, пришла ему пора обратиться в другую форму. Ах, как он не хочет, он же к этой привык! Отдай, дурень, это тело! Тебе оно будет ненужным более. Ты перейдёшь к более высоким формам жизни (или к более низким, или к ничему). Опять-таки: зачем я езжу по странам? Ну ясно, фильм обо мне снимают. Такую форму предложили. А если глубже? Ну, я болен и ищу мою, свою, его, героя, смерть. Достойную меня. Но смерти не нашёл”.

Так тело освобождается от надежд.

Учитесь у Лимонова:

“Я дал согласие на участие в съёмках фильма обо мне, когда узнал, что съёмки состоятся в нескольких странах. Поскольку возникло желание смахнуть из сознания прошлое и заменить давно надоевшие эпизоды новыми. Удалось? Удалось полностью”.

Пусть и нам повезёт. Мы умрём, сядем в весёлую ослепительную машинку (гуди, гуди, отражайся

в весенних витринах, пугай прохожих), там нам предложат покурить. Но мы не захотим.

…Где же он был? Не могу вспомнить. Этот полуподвал по пути от Сокольников до Преображенки, ещё далеко до кладбища, только-только перейдя мост.

Но где-то там был этот кафетерий.

Жалкие три-четыре пирожных на выбор (песочное кольцо, да разве это пирожное? какая-то ватрушка — опять не пирожное; может, третье было пирожным? третье не помню). Советский кофе с молоком, сразу воедино, без выбора, из какой-то алюминиевой бадьи с надписью “Кофе” (тут не обманули). И бутерброды с докторской колбасой.

Вот докторскую колбасу на белом хлебе я помню.

Ну шёл я в четырнадцать лет из библиотеки или с кладбища (что, впрочем, одно и то же). Ну чего мне было туда заходить? Дом через полтора километра. Разве я есть хотел? Нет. Разве я докторской колбасы не видел? Видел. Не больно-то и хотелось … (Но очень хотелось.)

И вот я захожу туда — и прошу кофе из чайника с надписью “Кофе”. И бутерброд с докторской колбасой без запаха колбасы. И колбаса — розовая,

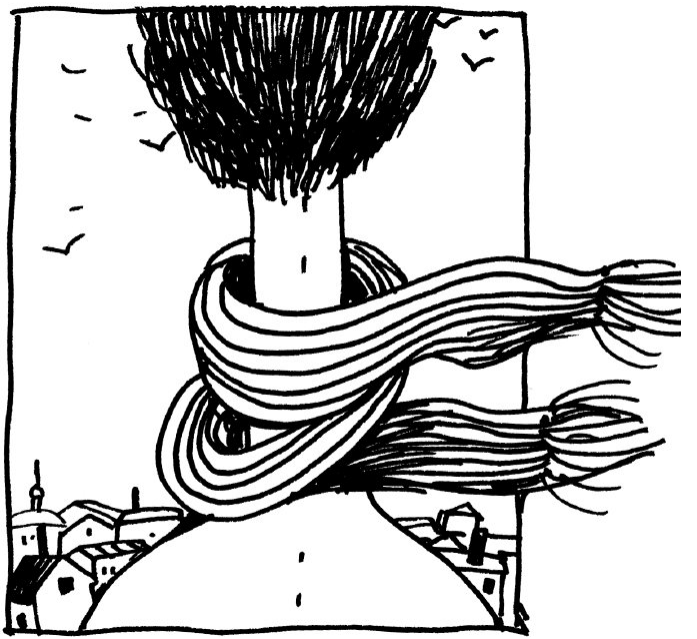
как поцелуй поросёнка.

И кажется, ничего вкуснее в жизни своей я не ел.

…А если свернуть в переулок, не доходя до трамвайных линий, то попадаешь в Потерянный закуток, но без названья. И выбиты окна, и дом нежилой. На стене написано: “Нужно подумать, время не время, рисую слова, уходят сомнения”. И зелень, как дым. И надо подумать, но время уходит. Деловое, как докторская колбаса.

Время! Не уходи.

Татьяна Щербина
Шея



Шея — короткое слово, по-французски — вообще “ку”. Шея бывает и длинной, но воспринимается

коротко: переходник, провод от головы-главы к низовьям общества. И наоборот, секретарский пост, передающий главе запросы снизу: желудок хочет есть, печень — пить, первичный половой признак — сбросить одежды и броситься в омут. Это “сердце рвётся на части”, “глаза боятся, а руки делают”, “мурашки бегут по спине”, “люди сидят в печёнках”, а про шею — никаких эмоций. Шея и шея. Украсить галстуком или ожерельем — как-то обозначить эту границу между начальником и исполнителями. Дают по шее, гонят взашей, вешаются на шею, садятся на шею, и сидишь как дурак с вымытой шеей — народ шею явно недолюбливает.

Я раньше её тоже не ценила. Но настал черёд. Началось с конфликта головы и тела. Голова велела телу не бросаться в омут, тем более с ней, с головой. Тело самонадеянно решило, что голова боится. Но голова не боялась — чего ей бояться? Она просто устала от мыслительной карусели — куда преклонить голову, как адаптироваться к местности, у каждой из которых свой набор кодов. Мы, голова и тело, то есть я, колесили из страны в страну. Родина умерла как точка отсчёта. Я хоть и радовалась, что от родины-маразматика родится родина-принцесса (можно считать это и

операцией по смене пола и возраста), но пока что она была золушкой-замарашкой, и дело даже не в том: она перестала быть точкой отсчёта. В ней строилась новая жизнь, а моя голова решила оставить великую стройку, чтобы поскорее узнать, что там снаружи. И ещё — умирала мама. Голова это отчасти понимала, но тело, с которым теперь идентифицировалось моё “я”, было уверено, что мама будет всегда, потому что и была всегда. Вне зависимости от болезни, которая уводила её всё дальше от жизни. Вопрос, что по этому поводу думала я. Ничего. Потому что думает голова, а тело просто есть, как и всё вокруг него просто есть, здесь и сейчас.

У тела, которое впервые в своей подневольной жизни стало руководить головой, был праздник. Оно собой любовалось, оно себя наряжало по мере возможностей, которые были скромны, потому и наряды — такие прекрасные на фоне того, во что тело облачалось на родине, — не производили на окружающих никакого впечатления. А тело очень хотело их одобрения и даже восторга. Оно ходило по легендарным улицам города грёз, о котором два века мечтали соотечественные ему тела. Оно чувствовало, что в его жизни произошло главное. Оно оторвалось от головы. И оно

было готово умереть вместе с другим, избранным им инородным телом, в обнимку, прямо сейчас. Но у инородного тела этот романтический порыв вызвал паническую атаку, отрываться от головы оно категорически не собиралось. На его голове висели обязательства перед семьёй и родиной, на которую голова работала, а родина его не допускала слишком близкого контакта с головой противника. Да, его родина считала меня противником, несмотря на то что мы теперь были одним целым. Инородная голова пыталась — то со слезой, то с металлом в голосе — объяснить мне, что тела́ — да, а го́ловы — нет. И всегда будет — нет. Из-за несовместимости родин. Но адресовать этот месседж моему телу было бессмысленно, оно больше не реагировало на командный пульт — перешло на местное самоуправление.

Тогда и строящаяся родина шла по тому же пути и голосовала сердцем, так что голова моя напрасно сокрушалась, что её единственное любимое детище — тело — неразумно. Это было веянье времени. И у времени был запах взрыва и чувство лёгкости, когда плывёшь в радиоактивном облаке, которое само несёт тебя в неизведанное. Ведь жизнь, как считает человечество, начинается с большого взрыва. И эта началась так же. А в слове

“месседж” или, по-французски, “мессаж”, которое стало определяющим для открывшейся тогда эпохи, завёрнуты ещё два: месса и мессия. Месса — священнодействие, та самая *скрепа*, в которой любые действия и слова воспринимаются как операция и шифровка. Мессия — намёк на то, что эпоха у нас завершающая, с выходом автора на поклоны. Автор ведь когда ставит точку в своём сочинении, в истории, в том числе — когда ходы исчерпаны и всё начинает повторяться.

Для шеи шло время сверхнапряжения. Заменявшие уволенную голову друзья взывали к разуму, видимо, не зная, где он находится, тело голосовало сердцем, и шея оказалась в эпицентре диалогов глухого со слепым. Лишившись своих привычных функций, она как-то неестественно вытягивалась. Вот должно вернуться с работы инородное тело: казалось бы, что тут такого — откроет дверь ключом, можно броситься ему на шею, а зачем открывать окно и вытягивать свою куда-то за угол, чтоб посмотреть, не показалась ли из-за него машина, которая и не машина даже, а божественная колесница? И потому так было, что время от времени колесница не появлялась, оттого что Гелиос, он же солнце, закатывалось навсегда и наступала бесконечная тьма. Это ко-

гда инородная голова брала верх над вверенным ей телом, потому что родина давала по шее, и тело подчинялось. А потом солнце снова светило, люциферно и снова навсегда.

Мама умерла. Далеко, в Москве. Голова её, в которой и была болезнь, умерла гораздо раньше, чем в то утро, когда я проснулась и увидела, как дворовые голуби истово бьются о стекло. Я уже всё знала, когда раздался телефонный звонок. Мне сообщили о смерти тела, то есть окончательном его исчезновении с той площадки, где все объединены одним и тем же делом: живём. Произошло это очень давно, но и сейчас отсутствовавшая тогда и присутствующая ныне голова отворачивается от тех дней, месяцев, лет. Когда было невозможно спать, когда фоном было то самое слепящее солнце, лучи которого непроглядная тьма превращала в свои чернильные щупальца.

Тело мчалось в аэропорт, из аэропорта, мчалось туда, куда не хотело. Оно не хотело в эту Москву, где открылась чёрная дыра, но потом, после всего, именно в этой Москве и стало искать исцеления, воссоединения с головой, восстановления целостности. И тут, в Москве, произошёл казус. Было холодно, серо, муторно, но голова, как-то неустойчиво, на соплях пристроенная к телу,

уже приступила к работе. Ей казалось, что она провела в безделье целую вечность. Обрывочно помнила последние всплески активности, но когда это было — неизвестно. Вроде не так уж давно, но провал в бездну — это всё равно вечность. Так что она как бы начала жить заново, а тело, наоборот, искало небытия, в котором бы спрятаться от непереносимого страдания. В этой обстановке что-то и произошло с шеей. Острая боль между горлом и ухом, будто продели иглу. Аспирин, конечно, но он не помогал. Пора было возвращаться в город грёз. Завершить дела и — это уже было решено — вернуться на родину. Родина казалась мягкой, обволакивающей — никогда я не воспринимала её такой, и все в ней стали будто немного детьми, бегающими, играющими, восторженными, рассерженными, наивными. Я была старше всех — я пережила апокалипсис.

В городе грёз боль от иглы между горлом и ухом слегка поутихла, зато на шее стала расти шишка. Пошла к врачу, вернее, пошла по врачам. Анализы такие и сякие, рентгены, УЗИ, пункции — и только недоумение одного эскулапа за другим: диагноз поставить невозможно. И меня отправляют к хирургу, который говорит: резать. “Что же резать, если нет диагноза?” — “Разрежем — по-

смотрим, — бодро отвечает хирург. — В любом случае ничего хорошего ждать не приходится, а каждый день дорог". В городе грёз у меня была страховка, всё было бы бесплатно, но я слышала, что хирурги получают за каждую операцию большие деньги и упускать такую возможность не хотят. На родине в то время медицина ещё не стала крутым бизнесом, больницы барахтались в нищете, грязи и полчищах тараканов, но я гордо сказала хирургу города грёз, что операцию буду делать в Москве. Да, под родиной я неизменно имею в виду Москву, а не восьмую (former шестую) часть суши.

Хирург пришёл в ужас, обозвав московских коллег коновалами, но у меня же теперь родина! Середина девяностых, самый разгар и угар, я в восторге. Это ж и у родины тело и голова поменялись местами! Тело велит — голова исполняет. А сама голова велеть ничего не может, потому что не так-то просто сделать чертёж перепланировки одной восьмой, капремонт без выселения. Именно тело, жившее как арестант при родине-маразматике, перевернуло шахматную доску. Голова-то ко всему умеет адаптироваться. Шея родины набычивалась и вертелась во все стороны в поиске новой головы. Новой родине-принцессе,

само собой, нужна новая голова. В суматохе никто и не заметил, что старая голова отряхнула прах со своих ушей и вернулась на прежнее место. Исправно теперь уже удовлетворяя потребности народного тела — пока не насытится.

Я пришла в больницу, молодой хирург только посмотрел на меня и сразу поставил диагноз. Анализы были готовы через пару дней, и они диагноз подтвердили. А из города грёз я получила диагноз по почте, в конверте, через полтора месяца — тот же самый. В московской больнице собрали консилиум, постановили, что место, в котором открылась чакра, то есть, наоборот, киста, — то самое, где проходят все главные провода и проводки от головы к телу и обратно, так что операцию если и делать, то только "по жизненным показаниям". Это когда иначе помрёшь. А пока надо периодически высасывать из шишки жидкость, которая в ней образовывалась. Она, эта проклятая шишка, высасывала то ли из тела, то ли из головы все наличные соки. А я как раз часто тогда ездила в разные страны, выступать на фестивалях. И вот в Лиссабоне, после выступления в мэрии, совсем лишилась сил. Зал, где мы читали, был обставлен в стиле прежних благолепных веков. Там стояли танкетки, козетки, диванчики

— все на гнутых ножках и обитые шелками. На всём этом можно было посидеть в ожидании торжественного ужина, который давал мэр. А моя голова, которая тогда была в процессе возвращения себе прежнего статуса, стала такой тяжёлой, что пошла ко дну — и отключилась на антикварном диване. Да, шишка на шее снова забрала у неё большую порцию соков. Это был укор телу: хотело расстаться с головой? Получи.

Так продолжалось довольно долго, года три, открывшийся в шее резервуар откачивали, он снова наполнялся, и чем дальше, тем быстрее. Шишка шла к дефолту, пережив дефолт родины ненадолго, — в том же году голова оказалась полностью отсоединена от тела, поскольку ненасытная шишка выкачивала из неё всю влагу, как насос, без остановки. Пришлось лечь на операцию. Тараканы в палате ползали почему-то не по полу, а по стенам. Это всё, что я запомнила из того вечера, который провела на койке. Подписала бумагу, что предупреждена об опасности операции. Мне не было страшно, потому что мне было плохо. И ещё я думала о том, что как надо, так и будет. Либо тело с головой отправятся в небытие, либо выживут вместе. Многочасовая операция, многочасовой наркоз. На лестнице, у лифта, на

каталке меня тщетно пытаются разбудить, но вдруг я вижу открывшиеся двери лифта и отца, склонившегося надо мной. Я проснулась, потому что он позвал меня в ту жизнь, которую я знала, а врачи, добивавшиеся от меня признаков жизни, не предлагали ничего интересного взамен сна.

Теперь уж и отца нет, но он пробыл со мной долго, дав понаблюдать за тем, как душа естественным образом, будто в замедленной съёмке, высвобождается и из тела, и из головы, оставляя их, как износившуюся земную одежду. Он думал, что знает, куда направится его душа, и даже если знал это не вполне правильно, то было понятно, что покой ей обеспечен. Он пережил маму на четверть века. В последние месяцы никогда не снимал с шеи шарф, как бы подогревая контакт между головой, устремлявшейся в какие-то дали, и осыпáвшимся телом. Говорил, что “песок сыплется” — не метафора, что он действительно сыплется. Шея была последним форпостом жизни. Когда я приехала, зная, что его уже нет, и увидела застывшее тело, шарфа не было. Наверное, отец знал, когда пора его снять.

С инородным люциферическим Гелиосом, в то время, когда моя жизнь всё ещё была гелиоцентрической, отец встретился однажды, в Москве,

потому что и после моего возвращения Гелиос не оставлял меня своими надеждами переделать мир, в котором мы могли бы жить долго и счастливо. Отец пришёл ко мне и прочитал Гелиосу нотацию на тему “свет, который в тебе, не есть ли тьма”, а в следующий раз уже и я сама собрала волю в кулак и сказала наперекор телу: всё. Конечно, лучше, когда конец истории происходит сам собой, как с жизнью отца, но бывает и так, что насилие вторгается в неразрешимое, не решаемое иначе. После операции и установления головы в исходную позицию я вернулась к людям и нашему общеземному солнцу. А тот бывший Гелиос продолжал работать на свою родину, но однажды исчез с официальных радаров. Случайно узнала, что он умер, и, судя по слишком скупому некрологу, был забыт и семьёй, и родиной, и, как можно было понять из тех же нескольких похоронных слов, провёл некоторое время в заведении для инвалидов, куда предлагалось перечислить деньги вместо возложения цветов на могилу. Прочитать это было больно, но тут опять возник вопрос об отношениях головы и тела. Если между ними приходится выбирать, выбор следует отвергнуть, шея его не выдерживает.

Елена Посвятовская
Пятница вечер



На асфальте перед подъездом кучка прошлогодней листвы. Прямо посередине дорожки, что ведёт к крыльцу. У листьев щемящий оттенок выгоревших пластмассовых роз. Такие бывают на кладбище. Время сожгло их вульгарный розовый, притушило до благородной пастели.

Куча листьев — дело рук Петровой. Довольная, в драповой кепке с опущенным задником, она возвышается на стуле рядом с нею, разведя толстые больные колени.

Мягкий стул у подъезда появился ещё осенью. Обивка — в цвет старых листьев, серо-буро-малиновая. От домашнего стула на улице, от несуразности его положения скулит душа. Так вдруг жаль этот стул, ведь снег и дождь, и непогода, и дни его сочтены.

— Да, что ему будет-то под козырьком? Всю зиму простоял. Хороший такой стульчик, крепкий, на помойку несли, не донесли, — рассуждает со стула Петрова. — Вдруг посидеть кому, передохнуть. Скамейку-то где взять.

Передыхает на нем исключительно Петрова. Идёт из магазина, и перед тем, как подняться к себе, — стульчик вот! Дорога ей тяжела. Кочки, лужи, пакеты в руках.

Но просто так сидеть скучно. Нагнулась вниз,

не вставая (это условие), и завладела годной мокрой палочкой. Рассказывая, Петрова обозначает движение, как она нагнулась.

— И я вот так понемногу, понемногу все листья старые, которые он ленится выгрести, все до единого и вытащила. Палочкой из-под сирени. Сложила ему вот! Ничё, уберёт как миленький! Посмотришь. Ох, глаза видят, а делать уже ничё не могу. Сама-то я давно бы всё собрала, убрала, так нет, видишь, ноги-то …Что это опять написали, не по-нашему? На будке вон. Ночью, не иначе, вчера ещё не было. Баллончиком, что ли.

На трансформаторной будке кровавыми, с подтёками буквами выведено “You are not your body”.

— Ты — это не твоё тело, — чуть сощурившись, читает Рита.

— Бади, — вторит ей Марианна Сергеевна, немного обиженная, что спросили не у неё, — ё бади!

Марианна Сергеевна, статная блондинка в светлом пальто, подбитом норкой, всего-то на десять лет старше Риты.

— Это как понять? — Петрова поднимает лицо к Рите. Ей легче разговаривать с кем-то одним. В водянистом взгляде последнее любопытство.

Рита объясняет, что вот материя, ну хорошо, не материя, а, предположим, одежда — это же не ты! Петрова настороженно кивает. Так и тело — не ты, а частичка материи, в которую заключена энергия, душа … Петрова вскидывается, скрипит стул.

— Не надо мне! — машет рукой.

Рита, порывистая, похожая на подростка, весело кивает, прощается с соседками. Ей срочно нужно домой. Марианна Сергеевна быстро и незаметно оглядывает её сзади: высокие сапоги, куртка-пилот, неплохо, совсем неплохо. Хлопает дверь подъезда.

— Ничего не осталось, кости одни! И зачем так худеть, сколько ей лет-то! Сорок восемь, сорок девять? — Петрова неподвижно наблюдает мягкие сиреневые сумерки, почти зримо струящиеся в коломенских дворах.

— Может, есть для кого, — тихо и надменно произносит Марианна Сергеевна.

***

Перебегая лестничную площадку, Рита твердила “бороздкой вверх, бороздкой вверх”, чтобы не мучиться с новым замком. Ещё ей не хотелось пропустить звук сообщения, и потому она всё

время сдвигала шапку от уха.

В длинном зеркале прихожей сразу наткнулась на своё отражение. Так непохожее на все прежние. С интересом потянулась к нему, разматывая шарф и расталкивая ногой сумки, брошенные на пол. Разглядывала лихорадочное оживление, заметное, точно пущенное по контуру тела, блеск тёмных век, запавшие щёки. Красиво ей, идёт, только бы снова не поправиться! Тощая, нервная. Она прижала ладони к лицу, замерла ненадолго.

Шалава, вдруг приговорила своё отражение, и рассмеялась.

Прямо в сапогах прошла через всю студию к дивану, обрушив на низкий стол один из пакетов. Так, так, так. В прямоугольном картоне, который она оттуда вытащила, был фаллоимитатор. “Это что я?” — произнесла Рита, выдохнула и подцепила ногтем картонный клювик коробки.

Долго затем сидела на диване, присмиревшая, изумлённо прислушиваясь к себе, к тому, что один вид этой штуки привёл её в возбуждение. Кровь от лица бросилась вниз, закрутилась по горячей воронке — ощущение подогрева изнутри. Рита осторожно дотронулась до вены, так реалистично проложенной, прорисованной на макете. Шла пальцем вдоль неё. Как прожилки

у листьев, думала заторможенно. Красиво. За окнами быстро темнело.

Ожил телефон, и в обе стороны побежали, полетели слова. Так и не переодевшись, Рита быстро набирала текст, затем ждала ответ, балуясь молнией на сапоге. Читала, что он там понаписал, вспыхивала. Вскрикивала, валилась от чувств на спинку дивана, дурак какой, поднимала глаза к потолку.

— Нет, не с каждой, — прочитала вслух. — Для этого нужна только ты, моя девочка.

Дёрнула молнию вниз до конца, сапог опал. Моя девочка. Её ноздри раздулись. Чуть подавшись вперёд, читала сообщение снова и снова, лаская, оглаживая со всех сторон свою шёлковую голень.

Впервые в жизни она ничего не могла с собой поделать. С телом, с желанием, с диким желанием. Ни-че-го. И главное, не собиралась. Поначалу забеспокоившись, бросилась к компьютеру искать, что да как. Летела глазами через строчку.

“ …учитывая возраст …колебания половых гормонов. У многих женщин в этот период повышается либидо … толчок для вашего раскрепощения …”

Даже дочитывать не стала, свернула окно, со

смешком покачала головой. Ах, толчок для раскрепощения! Какая приятная вариация нормы. Да пожалуйста. Хотите одарить напоследок — ни малейшего сопротивления. Полгода, год, пусть продлится.

Под весь этот гормональный бульдозер попал вполне конкретный мужчина Кистенёв.

Раньше Рита знакомилась на кафедре, в понятных гостях, в дальних поездках. А здесь той же крепкой волной её швырнуло в тиндер, и первый же мэтч сыграл. На фото он шёл по улице и прижимал телефон к уху. У него была потрясающая укладка и элегантное чёрное пальто. И сразу показалось, что это не последний всплеск и допустимый сбой системы, а любовь.

Любовь.

Кистенёв не очень быстро соображал, был жадноват и вообще жил в другом городе. Имел жену, но с гормонами было не договориться. Мой прекрасный — рассматривала его загорелые длинные виски, густую с проседью прядь надо лбом. В зуме под чёрной водолазкой двигалось подтянутое тело. Господи Иисусе, спаси или спасибо. Купила билет в его город.

— Меня здесь почему ещё знают. Я ведь тогда пятьдесят кусков им заслал. Серьёзно! Уважают,

чё. От себя оторвал … Вот ты свои деньги просто так отдавала кому-нибудь? Много. Не к мужику незнакомому прилететь, а много, свои … детям больным там …

— Это я не тебя люблю, — ласкала взглядом всю его глупость. — Это у меня временное. Гормоны.

На ужин к биткам решила сварить гарнир, и даже прозрачно-белый парок над рисом уводил её мысли в стыдную сторону. “Реалистик” остался лежать на столике. И когда она время от времени взглядывала на него, по лицу её проходила тень, а рот приоткрывался. Где-то у соседей еле слышно звучал вальс, и она удивилась, потому что обычно включали певицу Славу.

Экран телефона вспыхнул сообщением. Рита дёрнулась, но старалась не смотреть в его сторону, тянула с ответом, чтобы продлить ощущение власти над Кистенёвым, над его телом. Вот сейчас она скажет ему так, а потом эдак, и всё … Мужик забьётся в конвульсиях, станет через километры простирать к ней руки, умоляя приехать. Пообещает оплатить гостиницу “Фрегат” в городе, где из водоёмов только канал, припахивающий гнилью.

Рита постучала ложкой о край кастрюли, прочитала сообщение. Кивнула и одним пальцем

быстро набрала: “нет, сверху я! Подол зажму зубами, чтобы тебе было лучше видно!”

Протёрла плиту и захохотала.

Он не выдержал и позвонил. Сказал жене, что пошёл за сигаретами. И они нежно болтали, она просила её не смешить, чтобы не треснула на лице маска из зелёной глины.

Студия была маленькая, зато с настоящей ванной. Рита зажгла свечи. Ей казалось, что тело горит изнутри, понятно, что оно покраснело, распарилось от горячей воды, но кожа точно сияла, или так падал свет от свечей. Рита двигала лёгкое в воде тело под ритм вальса, в стороны, вперёд-назад, упираясь пятками в бортик, подбрасывала немного вверх, восхищённо и придирчиво обследовала каждый его квадратик. Ещё никогда она не чувствовала себя такой стройной и желанной. Ей нравилась даже проступившая на груди кость, невнятно напоминавшая о птицах, крыльях. Косточка “бери и помни”. Мама позавчера закричала, что у Риты торчат рёбра, а он всегда говорит — худая, злая в постели.

Вылезла из ванны, медленно вытиралась на коврике. Заусениц на правом указательном плохо срезан, надо подправить, в среду — повторные брови.

— Рита, — внезапно громко произнесла она, — он же идиот!

Снова смеялась. Да пофиг.

Поссорились уже в постели. Она, на случай видеозвонка в скользкой вискозе, почти дремала, отвечала невпопад. Он, видимо, выпил там, в долгожданной пятнице. Закусился на что-то, она не поняла. Подскочила и села в своей кровати-чердаке на его внезапное “мне с тобой почему-то не радостно, не весело”.

Сердце её колотилось. Не радостно, не весело.

Дрожащими пальцами сдвинула экран. Не радостно, не весело.

“Понимаешь, мы же далеко, и приходится только писать, писать, и, господи, как же надоело писать, и был бы ты здесь сейчас … Ведь не слышишь голоса, интонаций, через буквы не чувствуешь любви. Это издержки жанра, понимаешь. А был бы ты рядом, здесь в моём городе, в моей комнате, всё было бы иначе, ну понимаешь …”

Он выключил телефон.

В пять утра Рита, забираясь наверх в кровать, обернулась со ступеней. В студии было всё перевёрнуто. Рядом с коробкой из-под “реалистика” валялась коробка коллекционного виски. По-

чатая бутылка с тёмно-золотистой жидкостью опасно светилась на краю стола. Рядом в бокале таял лёд. Подушки цветастой кучей были свалены на пол, на диване темнело свежезамытое пятно. Сохло. Вокруг письменного стола были разбросаны листы А4 и смятые комки бумаги. Но сверху в принтере — подтверждение брони авиабилетов и гостиницы “Фрегат”, а в раскрытом чемодане на ковре — две новые кофточки.

Рита обвела комнату воспалённым взглядом, усмехнулась, щёлкнула выключателем.

Она куталась в одеяло, всё никак не могла согреться, и уже собралась встать за ещё одним, самым последним виски, но сознание вдруг нежно затуманилось, оттолкнулось от наступившей субботы, от перевёрнутой комнаты, от нестерпимого желания, слёз и стенаний, от белых листов А4 с подтверждением их любви, приятно потащило в какой-то тёплый сумрак, и кто-то успокаивающе приговаривал над ней “временное, да пройдёт, конечно, пройдёт …”

***

Разбирая покупки, Марианна Сергеевна расстраивалась, что обсуждала Риту за её спиной. Да ещё с Петровой. Тут же спохватилась, а Петрова

что же — не человек? Размышляла, не было ли в её словах о соседке невольной зависти, корила себя за то, что не сдержалась. В общем, на кухне было тесновато от мыслей Марианны Сергеевны. Она опустила ресницы и глубоко подышала. Проверила, чтобы длинный вдох был “в живот”, а не “в грудь”, как у новичков дыхательных практик.

А ничего такого она не сказала. У Риты появился мужчина. Что тут неправда? Марианна Сергеевна томно поправила светлые волосы, слегка начёсанные, собранные на затылке в ладный валик. Как у Ренаты в фильме про самолёт. У соседки точно кто-то был. Этот горящий блуждающий взгляд, вдруг со слезами, не то от чувств, не то от ветра, срывающийся голос, нервный смех, красная помада уехала за контур — разве спутаешь. Ритуальные танцы вокруг члена. Марианна Сергеевна тонко улыбнулась, складывая магазинные пакеты аккуратными треугольниками, как учили в интернете. Сколько же проблем исчезло из её жизни вместе с либидо.

Она помнит, как однажды пасмурным утром подошла к окну с дымящейся чашкой. Толстостенной, конусом вниз, так дольше не остывал кофе. Был зимний промозглый месяц, особенно унылый в Коломне. Подтаявший и вновь схва-

тившийся морозцем. Пусто, тихо. Медлительная Пряжка буднично несла воду к Большой Неве, у дома Блока резко забрав вправо. Задубелые береговые откосы припорошила снежная пыль. Окно кухни с почти блоковским видом на Пряжку располагалось в торце дома, потому и двор, и река попадали во всегдашний пейзаж Марианны Сергеевны. “Милый друг, видно мачты, хотя море закрыто домами”. Вот и ей всё так же не видно моря. Как и у поэта, оно где-то там за домами, за эллингами Балтийского завода, за кранами Адмиралтейских верфей. Но важно знать, что оно там. Чувство большой воды.

На утренний снег дворник хмуро бросал песок. Одинокая девочка пыталась вскарабкаться на качели, и её пуховое пальто немного задралось. Марианна Сергеевна хотела заплакать, но вдруг не смогла. Внутри вместо привычной слезливой грусти было гулко и счастливо. Она замерла. Что-то произошло, не сию минуту, а время назад, но до этого она не замечала. Теперь же тело и мозг точно стукнули ей — проснись, Мара, детка! Марианна Сергеевна вытянулась. Ощутила, как идёт холод от стёкол, за которыми стояла зима, а от чугунной батареи — жар через тонкие пижамные брюки. Трогала пальцами горячие

неровные стенки кружки, а щекой — нагретый воздух кухни, чувствовала отдельно прослойку этого воздуха между шёлком пижамы, разлитой по телу, и невесомой домашней кофтой-поло. Даже пуховый ореол над кофтой осязала там, где кашемир соприкасался с телом … и там, где не соприкасался. Да что там, ей казалось, что она слышит, как этот ореол дымится. Точно стала шестирукой, шестиглазой … Осторожно трогала каждую мысль. Что происходит? Словно её внимание хотят к чему-то привлечь. Про себя толкнула все дверцы с именами мужчин. И да — вот оно: испытала восторг полнейшего равнодушия. Боже. Тело и душа здесь молчали, нет, они ликовали, что там тупик. Сладостный чувственный тупик, кирпич “No swimming”.

Так и есть, она больше ничего не хотела, никуда не стремилась, никому ничего не была должна. Дети выросли и ушли в свою жизнь. Помогают ей, хотя она не просит, не нуждается. Её карьера ожидаемо и тихо завершилась год назад, и Марианна Сергеевна больше никогда не будет работать. Ей не нужно экономить, она может сейчас, прямо сейчас заказать из “Вкусвилла” зелёный египетский манго. Два килограмма! Лучший кусок лосося. Бросить его слайсами на

зерновой подсушенный хлеб. Сверху пластики авокадо. Сбрызнуть лаймом и медленно есть, умиротворённо созерцая корявую липу за окном. Озябшую Пряжку, Банный мост, где собирались поклонницы Блока, стояли, вздыхали. Бывший муж платит ей содержание вот уже много лет, как благодарность, что когда-то отпустила без стонов. Марианна Сергеевна может путешествовать, хоть завтра, хоть на Мальдивы, хоть в Ливан. Но главное, в ней больше нет тревоги, опасений, оглядки на подруг, тоски о мужчине.

Выходит, мы всего лишь коробочки с гормонами, а не то, что о себе воображаем. И эти гормоны управляют нами. Марианна Сергеевна вспомнила, как однажды три месяца принимала антидепрессанты и внезапно сделалась ровно тем человеком, которым всю жизнь мечтала быть. Уравновешенным, хладнокровным. Она перестала обижаться и мельтешить, проскальзывала на иронии там, где раньше обдиралась в кровь. Слушала, а не говорила. И никуда не опаздывала.

Её затопила спокойная радость жизни. Всё, дорогие, адиос, я свободна!

Сначала Марианна Сергеевна разобрала шкафы и комоды, кому нужны пятьдесят три блузки и

столько же платьев. Пристраивала их, как котят, в хорошие руки, поношенное вынесла к мусорным бакам. Она собрала капсульный гардероб, тщательно выверив каждую вещь. Брендовые джинсы, кашемир, лён, всё натурных оттенков. Белый, хаки, терракот, без чёрного никуда. Ничего такого, что затмило бы прелесть природы. Но ужаленная минимализмом и какой-то новой философией, немного отдающей пустотой, Марианна Сергеевна не остановилась. Она выбросила шкафы и комоды.

Вскоре в просторной угловой квартире не осталось ничего лишнего. Свет и воздух. Она избавилась от вещей, которые визуально шумели, от дешёвого яркого пластика, пёстрых тряпок. Тот немногий хлам, который всё же попадался, был приятен глазу, даже если его разбросать.

Дубовой паркет и все оттенки белого. Ковёр цвета слоновой кости, голые ветки в стеклянных вазах. Марианна Сергеевна срезала их за городом. Огромный бежевый диван, редкая антикварная мебель. На кухне она убрала верхний ряд навесных шкафов — они на неё давили. Теперь она сто раз думала, прежде чем принести в дом новую вещь. Сочинила правило, по которому каждый день должна была обязательно что-нибудь вы-

бросить. Если вещей на выброс не находилось, Марианна Сергеевна несла к ведру скрепку, хихикая как девочка.

Она расчищала место для новой жизни.

— …разобрав барахло, вы избавляетесь от уборки, — с мягкой улыбкой говорила она во дворе. — Бардак дома означает, что человек потерялся …

— Ну, не знаю. Красиво жить — это же не только хламовник вынести. Мне бы вот от дел ненужных избавиться, — вздыхала Рита. — Сосредоточится на чем-то важном, интересном …

Глядя украдкой на неровно накрашенный рот Риты, Марианна Сергеевна ещё раз прощалась с теми страстями, что владели когда-то и ею. А тревожно наблюдая артроз Петровой, ставила галочку в мозгу — диета, йога каждый день, чтобы не мучить детей своим уходом. Марианна Сергеевна распланировала управляться сама до последнего вдоха. Выдоха.

Они обе её раздражали: Рита — это то, что уже не вернуть. Петрова и её немощь — то, к чему катится единственная жизнь. Но Марианна Сергеевна сдерживалась, уговаривала себя. Уже получалось позволять себе великодушие и снисходительность не в долг, а свои собственные.

На встрече одноклассников Марианна Сергеевна с удовольствием отметила полное отсутствие волнения, когда Коклюшкин потянулся к гитаре. Ни тембр голоса, ни насмешливый прищур не тронули её сердца. Она внимательно следила за другими девочками. Сбежало ли желание и от них, былой трепет, и если да, то есть ли внешние приметы этого гулкого спокойствия, выхолощенности, о которых никто особо не предупреждал. Но девочки хохотали и пили просекко. Когда Коклюшкин выходил курить, говорили о мужчинах.

— Наоборот, после пятидесяти свободных больше. Дети выросли, финансы решены, некоторым удаётся перегрызть цепь … зря ты, шансы растут.

Её только задела, не взбесила, нет, всего лишь задела отличница Евсеева, которая прибежала на минутку отметиться к летней веранде, где они сидели, раскрасневшиеся от душного вечера и вина. На Евсеевой были джинсы и плотная белоснежная футболка. Тяжёлое серебряное сердце на чёрном шнурке. Продуманно растрёпанная она хохотала со всеми, повиснув на белых перилах. Махнула ледяного розового, и за ней на мотоцикле заехал сын. Марианна Сергеевна, томно обмахиваясь веером, в уже сильно мятом

льняном костюме решила, что на стиль всегда найдётся другой стиль, что перебьёт, перекроет первый. Но было обидно. Захотелось такой же лёгкости и серебряного сердца на шнурке.

Сегодня после ужина она планировала выкинуть все детские рисунки со времён садика, грамоты, школьные дневники, прежде их сфотографировав. Создать резервные копии, электронный архив. Тянула до последнего, и всё это лежало мёртвым грузом, пылилось, никому не нужное. Дети забирать своё наследство наотрез отказались.

Напевая, она чистила морковь для чечевичного паштета. Блеснула в пальцах овощечистка, скользнула, Марианна Сергеевна неловко попыталась её поймать. Двинула локтем и задела стоящую рядом кремовую миску.

И вот кричи не кричи.

Собирая с пола осколки, Марианна Сергеевна давилась слезами. Откуда-то сверху доносился вальс. Это всё, что осталось от папы. Первое время она прятала эту мисочку, слишком было больно. Зажмуривалась, когда она случайно попадалась ей на глаза. Спустя годы, натыкаясь, подолгу держала в руках, понимая чудо чудесное, что этого толстенького фаянса когда-то касались папины

руки. Такие же руки теперь у неё. Жилистые, с ровными прямыми пальцами. Он весело нарезал туда редиску, яйца, что там ещё окрошкино. Насвистывая, заливал всё сметаной, квасом, благоговел. Мара, детка, ложечку горчички сюда! Потом она уже вовсю пользовалась миской, сначала осторожно, затем всё смелее и смелее, и было это приятно и дорого. Папочка.

Это всё, что осталось. Кремовые сверкающие осколки. Папа умер, муж ушёл, дети, а при чём здесь дети? Ей не хочется в Ливан и на Мальдивы не хочется.

***

Она проснулась оттого, что мужа не было рядом. Не открывая глаз, бросила вытянутую руку на его сторону. Повозила там костяшками вправо, влево. Да где же он — не слышала, чтобы вставал. Поднялась со стоном, который уже не замечала, села на кровати. Всё так же с закрытыми глазами всовывала ступни в войлочные тапки с задником. С ним дольше надевать, но тепло, теплее с задником.

Петрова накинула на ночную рубашку фланелевый халат и, переваливаясь, пошла к двери. Обычно утром, проходя мимо трюмо, она оста-

навливалась и делала несколько движений массажной щёткой по волосам, прежде чем выйти в общий коридор. Но сегодня сразу прошла к двери. Она хотела в туалет, но уже брезговала пластиковым белым ведёрком, что стояло с её стороны кровати. В таких продают квашеную капусту килограммами. Брезговала, словно была отдельно ночная Петрова, которой можно и в ведёрко, в коммуналке не набегаешься, и Петрова дневная, вполне бодрая, поздоровее, поразумнее, которая ещё ничего, справляется, не дитя же малое — в ведёрко.

В туалете никого не было. Тогда, забыв о себе, Петрова быстро поковыляла по длинному коридору, уставленному холодильниками, в кухню, недоумевая, где же Паша. В шестикомнатной коммуналке бывшего Дома дешёвых квартир “Общества улучшения помещений для рабочих” было тихо. Старики поумирали, а молодые и приезжие, те, кто заселился в их комнаты, все на работе. Сверху такие же коммуналки, как у них, давно расселили. Перепланировали, переделали в студии, а на последнем этаже даже в отдельные шикарные квартиры. И только они мучаются.

В просторной кухне, подсвеченной жиденьким апрельским солнцем, пахло варёным минтаем.

Старуха, кряхтя, потянулась открыть форточку. Оттуда со свежим воздухом сразу зазвенела какая-то птица. Петрова растерянно смотрела на эмалированную миску на своей тумбе, в которой с вечера замочила горох. Вот на него и смотрела. Потом повернулась и тихо пошла в туалет. Она вспомнила, что муж её умер два года назад.

Во даёшь, старая, сердито говорила она себе, щёлкая выключателем. Так заспалась, надо же. Заспалась, заспалась, посмеивалась уже в комнате.

После обеда, возвращаясь из магазина с молочкой, ступала осторожно, продумывая каждый шаг. Так просил сын. Говорил — мама, продумывай каждый шаг. Всё время боялся, что она упадёт, сломает шейку бедра, а у него нет времени с этим возиться. Чтобы передохнуть, она останавливалась, навешивала сумку на рукоять своей палки. Опиралась на неё, стояла, дышала. Какая-то женщина обернулась, взглянула на трость с пакетом, засмеялась, что-то даже сказала, но Петрова не расслышала. Похвалила, наверное. И тогда в хорошем настроении старуха доковыляла до парадной и уселась на свой стул. Она, кстати, давно это придумала, так передыхать: вешаешь сумочку на трость … или подсказал кто.

Грязь уже подсохла, но было пыльно, мусорно. И только розовый вечерний воздух, приправленный дымком от узбекской самсы во дворах, напоминал, намекал о весне, — и полегче сразу. Петрова уже другой палочкой, длинной и острой, рядом на земле валялась, повытаскивала из-под сирени все прошлогодние листья, которые дворник ленился выгрести. Один за другим. Соседи, весёлые по случаю пятницы, спешили домой, раскланивались с ней, спрашивали про здоровье. Она ревниво заглядывалась на эту их радость, на свёртки в руках. Зыгмантович из одиннадцатой прижимал к груди импортный коньяк. У неё кружилась голова — погода меняется.

Она вдруг вспомнила, что закончились таблетки, которые экстренные, если давление подскочит. Моксодин, моксонидин, в аптеке знают. Поддерживающие есть, ещё много, те, что она пьёт каждый день. А вот “скорая помощь”, если за сто семьдесят стуканет, — их точно нет. Ближайшая аптека была на Английском проспекте, минут десять ходу. Но ты ещё дойди. Петрова решила, что обойдётся, с усилием поднялась со стула. Её пошатывало.

Испуганная, она поглядывала в сторону Английского проспекта, или всё же домой, а там

лечь и лежать весь вечер, не вставая, телевизор у неё, вот такая ещё бывает пятница.

— Постой-ка, — слабым голосом окликнула она мальчишку из своей квартиры.

Хотела попросить его сбегать в аптеку, но замешкалась: неловко просить, да и как объяснить про таблетки, названия точного не помнит. Там аптекарша худая в очках, она знает, что ей надо, даже не слушает порой, сразу пробивает. Не слушал и мальчишка: он вдруг ловко забрал у неё из рук пакет с молочкой — я донесу — и растворился за дверью подъезда. Пойду, значит, решила Петрова.

На обратном пути шёл дождь, и старуха радовалась, что на ней такая хорошая толстая кепочка. Было темно и скользко. Постукивала палка, Петрова боялась сломать шейку бедра.

И вот какой весенний долгий дождь вспомнился ей. Она девятнадцатилетняя, всего-то месяца два после свадьбы, отпросилась у Паши к сестре в Иркутск, повидаться. Неслась с буровой как угорелая, так соскучилась. В городе квартирная хозяйка, пряча глаза, сообщила, что сестра срочно уехала к родным в деревню. У неё умер папа. Значит, папа умер и у Петровой. Она купила на рынке венок и вскоре уже тряслась по без-

дорожью в открытом кузове почтово-грузовой. Сколько там. Километров сто шестьдесят до их деревни, душу вымотать. Пошёл дождь, и она, сняв с головы платок, укутала им венок, все эти искусственные цветы. Ей не хотелось, чтобы они промокли. Слёзы, мешаясь с дождём, были солёные лишь наполовину, и она всегда потом помнила эту дорогу. Серые холодные километры, она горько плачет в кузове между небом и землёй. Не там и не здесь.

Старуха медленно поднималась к себе на этаж, бросая на ступеньку сначала резиновый наконечник палки, потом только занося ногу. Подтягивала вторую. Одну за другой.

Она упала уже на последнем пролёте. Оступилась, полетела назад. На долю секунды мелькнуло — всё, что ли? Ухнуло внутри. У кого-то в квартире играл вальс.

Но хорошо упала, удачно — со второй ступеньки, невысоко. Видимо, руку сломала и рёбра, больно было вдохнуть.

…Провожать вышли всей квартирой. Пятница вечер. Петрова в прекрасном оживлении смеялась, крутила головой, прощалась. Студентка консерватории Лера сняла с себя тонкий шерстяной платок, чтобы подвязать ей руку, от него

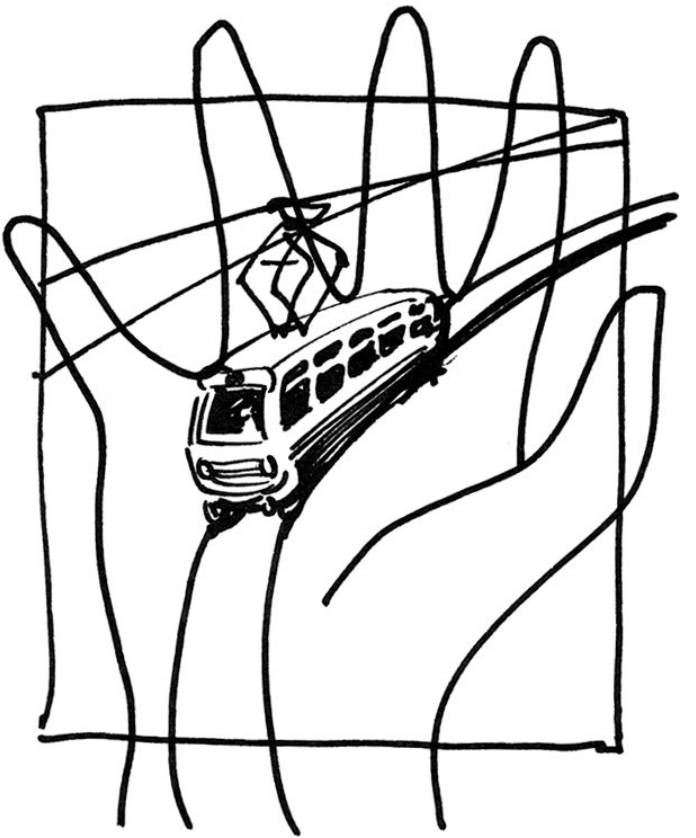
празднично пахло незнакомыми духами, кто-то вынес свои старые угги, мягкие и просторные, чтобы без застёжек, и сын опустился на колени, чтобы помочь ей надеть их. Невестка, нагруженная пакетами с вещами Петровой, быстро и тихо говорила кому-то: “Мы живём в страхе этого, в ожидании. Ведь она одна-одинёшенька ковыляет в эти свои магазины, почты. Однажды старый человек падает, даже если вы совсем рядом. Не подстрахуешься. Спасибо, что не бедро”.

— Вот тебе Коломна, — размеренно произносил уже в машине сын, осторожно застёгивая на Петровой ремень. — Как там у Гоголя, сюда не заходит будущее. Здесь всё тишина и отставка.

Он завёл мотор, и автомобиль плавно тронулся с места, минуя жёлтую трансформаторную будку, по стене которой словно стекали алые буквы — “You are not your body”.

Денис Драгунский
После тела

Hommage au comte Léon Tolstoï



— Вы говорите, что есть какие-то причины, отчего возникает и гаснет любовь, но главное, почему она вдруг становится на всю жизнь несчастливой, но неотвязной. Конечно, психология. Конечно, условия среды. Может, даже физиология. Но для меня всё дело — в каком-то странном совпадении.

Так говорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора о том, что человек должен быть властен над собою в своих любовных отношениях.

Никто, собственно, не говорил, отчего любовь становится несчастливой и неотвязной, но у Ивана Васильевича была манера отвечать на свои собственные мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

— Кто-то, может быть, и властен над собою и своими чувствами, — сказал он. — Кто-то — но не я. Я неразумный человек, я всё время попадал в какие-то приключения. Но я всё-таки человек везучий. Совершил одно доброе дело. Даже два добрых дела! Вот так совпало. Что такое судьба?

Это совпадения. Март. Трамвай. Отец неожиданно днём оказался дома. Дальше рассказывать?

— Конечно, Иван Васильевич!

— А зачем? — вдруг улыбнулся он. — Урока здесь никакого нет, а вы только позабавитесь, да и потом станете пересказывать всем вокруг.

— Не станем! — пообещали мы.

Он задумался, покачал головой и сказал:

— Всё это было в Москве, в начале семидесятых. В те поры, когда трамвай номер пять ходил от Белорусского вокзала до ВДНХ и дальше. Мы жили в громадном доме на углу Горького и Лесной, сейчас у него другой номер. Большая и немного нелепая квартира, много проходных комнат со стеклянными дверями.

Отец мой был знаменитый в те годы хирург, академик, премий лауреат и орденов кавалер и даже генерал медицинской службы. Приписан к Четвёртому управлению Минздрава, то есть резал и шил высшую советскую номенклатуру, но именно приписан, а не служил там, потому что у него была своя кафедра и клиника в Первом мединституте.

Вместо матери у меня была папина жена Валерия Павловна. Поначалу я звал её мамой, поскольку родную свою маму не помнил — она

ушла от нас, когда мне было полтора года. На все мои расспросы — которые начались уже в отрочестве, когда я милостью соседки “узнал правду”, — на все эти расспросы отец отворачивался, отмахивался, но один раз — мне было уже семнадцать, — брезгливо сморщившись, сказал, что он её очень, да, очень-очень любил, но она, увы, не была образцом добродетели. “Что ты имеешь в виду?” — спросил я, смутившись. “Нет, — сказал папа. — *Этого* я не имею в виду, успокойся”. Какая же она была? “Недобрая и насмешливая, — объяснил он. — Занозистая. Не упускала случая уколоть и поцарапать — по любому поводу, от неправильного ударения в слове до каких-то старых грехов, которые любила припомнить. Она могла подставить ножку просто так, для забавы. Поглядеть, как человек упадёт и ушибётся, — в переносном смысле, разумеется; но иногда и в прямом тоже, да, представь себе, на дачной прогулке! Никогда не просила извинения. Бывало, отмочит что-то уж совсем несусветное — и потом говорит, этак даже с гордостью: «*Да, вот такая я негодяйка!*» — это слово отец произнёс с некоторой натугой, сглотнув и переведя дыхание. — Кстати, от тебя она отказалась вполне добровольно”, — добавил он.

— Негодяйка! — сказал я восторженно. — Влюбиться в негодяйку, это же класс, папа!

— Сам ты негодяй, — усмехнулся он. — Так о женщине, которая тебя родила.

— Ты же сам сказал “негодяйка”.

— Не сказал, а процитировал её собственные слова! — ответил он.

— Но я тебя понимаю, папа! — возразил я, красуясь. — Позволь в ответ процитировать Стендаля: “С юных лет я чувствовал смертельное отвращение к порядочным женщинам и к лицемерию, которое им присуще”.

— Ну хватит, — сказал папа. — Всё-всё-всё.

Всё — значит, всё. Так что я даже не узнал, как её звали, и не попросил у отца её фотографий. Я решил, что такой интерес к “настоящей матери” будет подлостью в отношении Валерии Павловны, ибо она и была мне матерью с моих полутора лет. Но от самого факта деваться было некуда. А с Валерией Павловной — которую с тех пор я называл всё-таки не “мама”, а “мама Лера” — мы дружили, но часто этак по-дружески перебрёхивались, особенно когда я возвращался домой в половине пятого утра и пьяный, — такое случалось со мной начиная с восьмого класса. Она говорила, что я неблагодарный свинтус и что

она самоотверженно меня растила. Я отвечал, что да-да, конечно, подвиг ежедневный, не щадя сил каждое утро отправлять меня в академический детсад с папиным шофёром.

Итак, был вечер пятницы. Отец был в командировке, его вызвали в Свердловск оперировать местного партийного босса. А мама Лера уехала с какой-то своей подругой на дачу.

Я поужинал, сполоснул тарелку и чайную чашку и направился к себе в комнату, чтобы сесть за книгу. Зазвонил телефон. Он стоял в коридоре, на маленьком таком шкафчике, и я тут же взял трубку.

— Алло, старик, привет, узнал? Твой лучший друг Мегвинешвили.

— Привет, Миша. Узнал, конечно! Как ты?

— А ты-то как? Как семейство?

Тут надо рассказать, кто такой Миша Мегвинешвили.

Я тогда был студент второго курса, а он — аспирант второго года, известный на факультете, — публикации в разных “Учёных записках”, рецензии и переводы, даже парочка предисловий к современным английским романам. Вдобавок внешне очень заметный: полноватый, но высокий и статный, говорливый, всеобщий любимец,

всегда со всеми в обнимку, в коридоре виден издалека. Умница, эрудит, весельчак. Да ещё и на хорошем счету у начальства. Уже ездил за границу в составе научной делегации! В каких-то двадцать семь лет! Кстати, он был совсем русский, грузинского не знал, это была фамилия его отца, который сам был грузином на четверть: по своему отцу, который по дедушке. То есть наш Миша, Михаил Петрович, был грузин всего на одну восьмую и вовсе на грузина не был похож …

Но я как-то вдруг съехал на его родословную.

Итак, этот самый Миша, звезда факультета и всеобщий любимец, неизвестно почему избрал меня своим близким другом и задушевным собеседником. Это мне, конечно, льстило. Хотя если уж совсем честно, то не так уж “неизвестно почему”. Известно. У меня был важный папа и большая квартира в центре, часто свободная: родители то в отъезде, то на даче. А даже если так, что тут такого? Я радовался дружбе с Мишей. Он был знаменитый бабник, потаскун, донжуан и распутник. Раза три оставался у меня ночевать, всякий раз — с новой подругой. Рассказывал невероятные истории про свои приключения и всегда носил в глубине портфеля пачку порнографических карточек: чёрно-белые фото, переснятые с

иностранных цветных альбомов. Признаюсь, я любил их рассматривать.

Итак, позвонил Миша — и сразу: “Как семейство?”

Я понял, что́ он имеет в виду, и ответил, что родителей нету.

— Ага, — сказал он. — А мы тут недалеко. Гуляем, дышим воздухом. С Галиной Иванной. Помнишь, я рассказывал? Можем к тебе зайти. Галина Иванна нас с тобой слегка приласкает. И будет нам всем очень сладко. А?

У меня дыхание занялось, в животе заныло и сердце забилось.

— Но поймите, это было не просто предчувствие удовольствий! — объяснил Иван Васильевич. — Слово “сладко” взбудоражило и вместе с тем огорчило меня. Мне было почти двадцать, у меня уже был некоторый опыт, но мне ни разу ещё не было сладко. Вернее, мне не было сладко так, как об этом говорили все мои друзья: класс, кайф, супер, улёт! В этом-то и был вопрос, который я задавал судьбе, науке и самому себе, — но друзьям задавать стыдился. Почему я не чувствовал того, что вроде бы должен был чувствовать? Да, приятное щекотание, очень приятное, совсем уж приятное, — но и всё. Так бывает, когда чешешь

спину, — ах, ах, ах, а потом ох, фу, всё. Но почему всё? Где эта ваша волшебная сладость, из-за которой люди сходят с ума? Я всё время ждал, что вот наконец я её найду или она настигнет меня.

— Отлично! — сказал я. — Адрес помнишь?

— Ну так, зрительно. Подъезд, этаж, квартира?

— Записывай.

— Дождик идёт, — сказал Миша. — Ты лучше выйди нам навстречу. Мы по Лесной идём, тихими шагами приближаемся.

— Бегу, бегу, бегу! — и я повесил трубку.

Не успел дойти до перехода через Третью Тверскую-Ямскую — вот они, две фигуры.

Тонкий мартовский снежок шёл — моросил, как дождь. Белые в воздухе, снежинки делались капельками — на асфальте, на машинах, на моей руке. Миша был в чёрном плаще с большим раскрытым зонтиком, а она рядом с ним, под руку, — маленькая, худенькая, тоже в тёмном плаще.

Поздоровались, познакомились.

Подъезд, лифт, квартира.

Она разделась, и я удивился, что у неё плащ на белой подкладке. Потом увидел — это белый халат, она сняла его вместе с плащом. Я вспомнил: Миша говорил, что она работает поварихой в

столовой МИИТа, недалеко, на улице Образцова.

Пришли на кухню, я поставил чайник, вытащил из шкафа водку — полбутылки. Галина Ивановна выпила четверть рюмки, и я тоже, а Миша вообще отказался. “Я, дети мои, человек старый и больной, — засмеялся он, — я уж что-нибудь одно: выпивать или делом заниматься. Да, Галина Иванна? — она тихо усмехнулась. — Так что я лучше чаю!” Хорошо, вот и чай готов. Я печенье достал, выложил из пачки в вазочку. Она взяла одно, положила себе на блюдце рядом с чашкой, стала вежливо отламывать по маленькому кусочку.

Я смотрел на неё. Тощая. Руки без маникюра. Тёмно-русые волосы в пучок. Непонятно, сколько лет: то ли двадцать, то ли тридцать. Вот и всё, больше ничего. Я пытался её запомнить — вглядывался в неё, а потом отводил глаза и старался “увидеть в уме” её лицо, — но это не получалось. Как странно! Я переводил взгляд на Мишу, потом смотрел на окно или на пол, делал легчайшее усилие — и вот он, Миша, перед моим умственным, так сказать, взором: в сером свитере, весёлый, с чёрными, тонкими, расчёсанными на пробор волосами. То же самое получалось с чашкой, с вазочкой печенья, со стопкой водки … А с ней — нет.

Она ускользала из глаз, из памяти, и на третьей безуспешной попытке я даже испугался. Вдруг она какая-то ведьма? Призрак? Не отбрасывает тени? Нет, ерунда. Тень от её руки, которой она отламывала очередной кусочек печенья, чётко рисовалась на жёлтой столешнице. Стол у нас на кухне был без скатерти: деревенский стиль. Я подумал, что, наверное, очень волнуюсь, поэтому не могу сосредоточиться, не могу запомнить её лицо. Я выдохнул и усмехнулся.

— Радуешься и веселишься? — тут же отозвался Миша. — Молодец. Галина Иванна, хороший какой парень мой друг, а? Нравится тебе, а? Весёлый — это главное. Ведь это же главное, верно?

Она кивнула и что-то проговорила, вроде “ну да, ясное дело”.

— Как настроение, Галина Иванна? — продолжал Миша.

— Как всегда, — неопределённо сказала она.

— Галина Иванна, — сказал Миша. — Пойди в душ, сполоснись. А мы с хозяином пока приготовим, так сказать, подиум … Хозяин! — обратился он ко мне. — Покажи гостье, какое взять полотенце. Халатик у тебя есть? Дай халатик.

— Вот это, полосатое, — сказал я, открывая дверь ванной. — И вот этот халат.

Галина Иванна вернулась из ванной очень скоро. Вошла в комнату, кутаясь в большой красно-синий отцовский халат. Она была с распущенными волосами и босиком — и от этого казалась ещё меньше ростом. Особенно по сравнению с крупным Мишей.

— А теперь покажись нам, покажись, Галина Иванна … — сказал ей Миша.

Она развязала пояс халата, медленно стала спускать его с плеч. Сначала с левого, потом с правого, чтоб не сразу всё выставлять. У меня сильно билось сердце, всё ныло и набухало, но никакой страсти я не чувствовал, да и особого желания тоже.

— Не томи, Галина Иванна, — вздохнул Миша.

Она совсем сбросила халат и села на краешек кровати. У неё было белое худое тело. Ярко-чёрные и очень густые волосы на лобке. На левом боку, ближе к пояснице — большая коричневая родинка. Она запрокинула голову и стала гладить себе грудь, потом раздвинула ноги; всё стало видно. Я мрачно глядел на соблазны Галины Ивановны и в уме спрашивал себя, что со мной не так.

Миша вытащил меня из размышлений.

— Дружочек, — сказал он. — Пойди-ка в душ,

вымой свой обсценный низ, как говорил Михал Михалыч наш великий Бахтин …

Забравшись в ванну, я невесело мыл своё равнодушное тело. Потом опять как будто очнулся, вытерся, накинул свой халат и пошёл в комнату.

Миша заслонял Галину Ивановну собой. Я уселся в кресло и стал глядеть по сторонам. Мне было скучно смотреть на Мишкину широкую жирную спину и худую жопу в белых трусах. Как странно: ведь я с такой жаждой, с таким желанием сладости рассматривал Мишкины порнооткрытки, и у меня всё внутри дрожало. А вот теперь я наблюдаю это в натуре — и никакого впечатления.

От таких мыслей я громко вздохнул.

— Привет! — запыхтел Миша. — Ты уже здесь? Ты уж извини, мы тут с Галиной Иванной не утерпели … Иди сюда, можешь подглядывать, я не стесняюсь! — и он на секунду полуобернулся ко мне своим красным весёлым лицом, и подмигнул, и засмеялся, и явно нарочно заверещал тонким голосом: — Ах, как хорошо! Ах, чёрт! Ой-ой-ой!

Видно, ему было на самом деле очень сладко, но он ещё и подстёгивал себя словами.

Потом он встал с колен.

— Ох, хорошо, — повторил он. — Я тоже пойду

сполоснусь. А ты дай девушке отдохнуть, не лезь на неё сразу.

Ушёл.

Я поднял глаза на Галину Ивановну. Она мне улыбнулась и похлопала рукой по кровати рядом с собой. Я встал с кресла и пересел к ней.

— Устала? — спросил я.

— Устала чуток, — сказала она. — Сейчас отдышусь полминуты, ладно?

— Конечно, ты что, отдыхай …

Она залезла рукой мне под халат. Я вздрогнул и сдвинул бёдра.

— Не стесняйся, — сказала она. — Ты что, стесняешься?

Она смотрела на меня внимательно и даже приветливо, но без улыбки. “В серых раскрытых её глазах окаменело распутство”, — вспомнил я знаменитую фразу Бабеля. Глаза у Галины Ивановны были тоже серые, я разглядел; но никакого распутства там не было, честное слово. Ни каменного, ни живого.

— Не стесняйся! — повторила она и потянула меня к себе. — Ну давай, давай. Становись сюда.

Я повторял в уме: “Вот женщина. Она голая. У неё сильные нежные губы. У неё мокрый и упругий язык. Мне сладко. Я хочу, чтоб мне было ещё

слаще …” Но это мысленное бормотание только отвлекало меня: чем больше я думал такими словами, тем меньше было толку. Кажется, у Миши Мегвинешвили всё было наоборот.

А вот и он. Вошёл в комнату, вытираясь после душа маленьким махровым полотенцем.

— Ого! — развеселился он. — Уже? Молодцы. Давай, Галина Иванна, покажи класс.

Он ловко к нам присоседился. Потом мы с ним поменялись местами.

Постепенно становилось сладко, я уже чувствовал, что мне хорошо не только потому, что я сам себе повторяю: какая удача, разврат и кайф! — и не по бурной похоти подростка, а по-настоящему. По чувству.

Особенно же сладко было, что я совсем не заботился продлить удовольствие. Главная забота мальчишки — чтобы подольше. Ах, сколько всякого-разного придумывалось! Например, смотреть на стену, считать цветочки на обоях или книжки на полках — я всегда так делал.

А сейчас я не боялся опозориться быстротой, я двигался свободно и с беззаботной приятностью ощущал, как у меня там внизу разливается сладость. “Ещё, ещё, ещё!” — запыхтел Мишка, и тут у меня тоже подступило, на секунду замерло — и

вот, наконец.

— Хорошо! — охнул Мишка и спросил: — Галина Иванна, хорошо?

— Хорошо, — сказала она.

Мишка сел в кресло у письменного стола, закурил. Он курил “Новость” за восемнадцать копеек, короткие сигареты с фильтром.

Брежнев, кстати, тоже курил “Новость”, но в других пачках. В больших и твёрдых, как “Ява” за сорок или как “ВТ”. Я видел по телевизору, как он курит во время переговоров, как угощает сигаретой собеседника. Но такая “Новость king size” — это был спецпродукт, только для ЦК, хрен достанешь. Я вспомнил об этом, и мы с Мишей минут десять проболтали о всякой забавной всячине. Сначала о сигаретах Брежнева, а потом о современной английской литературе — смешно, но вот так. О романе Джулии Деррик “Лето в городском парке”, который как раз валялся у меня на столе. Русский перевод, мягкая обложка.

— Что ты всякое говно читаешь? — спросил Миша, перелистав книгу и заложив её указательным пальцем. — Вон, вижу, вижу, склейка треснула. Значит, и впрямь читаешь! Неужто на свои деньги купил?

— Эх ты, Шерлок! — сказал я. — Это мне Воля

Полторацкий подарил. У него тут предисловие, видишь?

— Чего это он? Ну да, дружба домами, понимаю … — Отец Воли, то есть Валеры Полторацкого, был каким-то медицинским начальником, папиным приятелем. Миша поморщился — Полторацкого он не любил; конкуренты. — Смотри, как он пишет, нет, ты послушай: “Британское общество трещит по всем швам, и этот тревожный звук слышится в нервной прозе Джулии Деррик”. Уссаться! Лизнуть хочет. Софье … э-э-э … как же её, матушку, по батюшке? Власьевне? Ах да, Викентьевне.

Ах, как тонко выражался Миша! Тут тебе и прозрачный намёк — Софья Власьевна, то есть советская власть на тайном языке диссидентов, и одновременно — профессор Елизарова-Смидович, Софья Викентьевна, побочная дочь писателя Вересаева. Завкафедрой на факультете, завотделом в институте, член редколлегии “Всемирной литературы” — важная персона для Воли Полторацкого и для Миши Мегвинешвили тоже, кстати говоря.

— Но при этом неглупая старуха, — словно услышав мои мысли, сказал Миша и на всякий случай поднял палец.

На письменном столе, рядом с пепельницей, лежала финка. Настоящий охотничий нож, в толстых кожаных ножнах, с костяной рукоятью. Дорогая штука. Папин подарок. То есть передарок — ему подарили в Финляндии. Нож был острый как бритва: опасно было даже случайно коснуться его зеркально отполированного жала. Я всё собирался его чуть-чуть затупить напильником.

Мне вдруг захотелось подойти к Мишке, обнять его за плечи, схватить нож и полоснуть по его толстому потному пузу. Сальник выпустить. У меня защекотало под коленками, как от опасной высоты.

Поэтому я встал и пошёл в ванную.

Ополоснулся не спеша. Вернулся минут через десять.

Вижу — Миша опять дерёт Галину Ивановну; она высоко подняла ноги. У неё были мускулистые икры с волосками и узкие стопы: тёмные подушечки, почему-то поджатые пальцы, бледно-жёлтые подошвы и стёртые пятки с розовыми мозолями.

Я подошёл к ним, взял её ногу, правую. Одна мозоль была заклеена пластырем. Пластырь был влажный после душа — я ощутил это, прижавшись лицом к её стопе, обцеловав и облизав её

чуть шершавую пятку. Я чуть не застонал от внезапной радости, когда её пальцы оказались у меня во рту и я тихонько, стараясь только не сделать больно, прикусил их зубами и прижал языком к нёбу.

Кажется, она негромко засмеялась. Может быть, ей было приятно. А Мишка заржал:

— Ah! quel pied, mon cher! Une déesse!

“Экие цитаты, экий эрудит!” — подумал бы я в другой раз, но сейчас мне это показалось глупым и пошлым. Потому что, когда я целовал её ногу, её пятку и лодыжку, её пальцы, — я был полон счастья, оно распирало меня, я весь был как бокал с газировкой, с детским лимонадом, и эти пузырьки ласкали меня изнутри. Руки, ноги и всё моё тело было в радостной истоме — может быть, это и есть та самая сладость, которую я не знал до этого мига? Я закрыл глаза, и жадно вдыхал, и жалел, что она только что из душа и пахнет мылом, а я хотел ощущать её собственный запах. Вдруг у меня внутри всё нежно обмякло, я ещё раз поцеловал ножку Галины Ивановны и отошёл в сторону. “Quel pied, mon cher!” Чёрт знает что.

Я смотрел на Мишку и наблюдал в себе желание всё-таки взять со стола финку и воткнуть ему под лопатку. А потом вырезать ремень из его спины.

Но это было бы совсем глупо.

Мишка соскочил с Галины Ивановны и пошёл умываться.

— Галину Иванну у себя оставишь? — спросил, вернувшись. — Или пускай лучше домой едет? Галина Иванна, останешься? — И снова повернулся ко мне: — Домой ей вообще-то далеко. А работа почти что рядом. Улица Образцова, тут на трамвае — чепуха. Пусть останется, а?

— Пусть, конечно.

— Вот! — сказал Миша. — Галина Иванна, а ты всё сделай как положено. Лады?

Она кивнула. Он вышел, потом заглянул в комнату уже в пальто. Я пошёл запереть за ним дверь.

Галина Ивановна голая вскочила с постели и пошла за мной следом. Протянула руки и положила ладони Мишке на плечи, глядела ему в лицо и улыбалась. Она была небольшого роста и поэтому чуть привстала на цыпочки.

— Галина Иванна, вот этот человек, — вдруг очень строго сказал Миша, мотнув головой в мою сторону, — это мой друг, поняла? Он мой друг! Дэ-рэ-у-гэ! — по буквам повторил он. — Так что смотри, не стащи тут чего-нибудь. А не то пеняй на себя! — и даже погрозил пальцем.

В ответ она обняла его за шею и поцеловала. Не просто поцеловала, а нежно расцеловала. В губы, в обе щеки, в шею. На секунду прислонилась виском к его груди, как будто положила голову ему на грудь, и прикрыла глаза. Тоже на секунду.

— Ну всё, всё, всё … — пробормотал он добродушно, погладил её по голове.

— Пойдём, что ли? — сказала она, когда я запер входную дверь.

— Давай сначала чаю. Есть хочешь? Пожрать чего-ни-то, а?

— Давай чаю. Жрать не хочу, честно. Я вообще вечером не ем.

— За фигурой следишь?

— Так дешевле выходит.

— Ты же в столовой работаешь!

— У нас хер чего унесёшь. Зверем обыскивают. А впрок нажираться не люблю.

Она положила в чай два кусочка сахару, аккуратно размешала, стала пить мелкими глоточками.

— Ты как вообще … живёшь? — спросил я.

— Нормально. — И вдруг засмеялась: — А тебе интересно?

— Конечно, — сказал я вполне искренне и погладил её по руке.

— Да ладно! — она отняла руку.

Так ничего и не рассказала.

Потом мы снова улеглись в кровать. Она меня сразу обняла и стала прижиматься и вздрагивать. Какая заводная: уже две палки, а ей всё мало. Я взял её лицо в ладони, стянул назад её распущенные волосы, и от этого её ускользающее лицо вдруг стало наивным и радостным, как новогодняя детская кукла, — но одновременно красивым и строгим, как древняя египетская маска.

Вдруг мне стало страшно. На полсекунды. Занялось дыхание, и горло перехватило. Я закрыл глаза, сильно вздохнул, подождал чуточку. Отпустило, и снова стало хорошо — ласково и нежно на сердце и во всём теле. Я поцеловал её. В обе щеки, в переносицу и в виски. Она удивлённо на меня посмотрела, обняла меня левой рукой, а правую просунула вниз, между нашими телами, и помогла войти. Стало ещё нежнее и ласковее. Но через полминуты она вдруг вскрикнула и тихонько выругалась, выскользнула из-под меня и, прижимая руки к промежности, попросила:

— Вату, тряпку, чего-нибудь … Извини.

Я увидел, что у меня всё в крови. Побежал в ванную, схватил какое-то полотенце, вернулся.

— Ты извини, — повторила она, утираясь и

подтыкаясь.

Кровь немного пролилась на простыню.

— Извини, — в третий раз сказала она. — Сама не знаю. Обсчиталась. Думала, что послезавтра.

— Что ты, что ты, ничего, — забормотал я; мне вдруг стало ещё нежнее и жальче.

— Я всё застираю, — она криво улыбнулась.

Я улыбнулся тоже.

— Ничего. Пойдём вымоемся, а я тебе вату найду.

Зашли в ванную. Оба залезли под душ.

— Не стесняйся, — сказала она, когда я повернулся к ней спиной.

Сказала как будто даже ласково.

Когда я проснулся, то увидел, что лежу на своём халате, а простыня, уже выстиранная, висит на двух стульях около батареи. Меня это умилило и растрогало. После завтрака — я пожарил глазунью с колбасой — Галина Ивановна спросила:

— Можно у тебя голову вымыть? А пока голова сохнет, я простынку гладану.

— Вперёд, — сказал я. — Только, как помоешься, не оставляй волосы в стоке, ладно?

Когда спускались на лифте, она вдруг сказала:

— Стоп. Извини. Волосы забыла вычистить из ванны. Вернёмся.

— Да брось ты! — я махнул рукой.

Решил, что вечером, когда приду, всё приведу в порядок. У меня было чудесное, радостное настроение — под стать синему небу. Весна, любовь и счастье, счастье бессмысленное и прекрасное, весёлое и упоительное, будто бы вкусное на язык, — одним словом, “глупое безотчётное счастье”, о котором я читал в книгах и смеялся над этими словами, оно настигло меня. Я был счастлив совершенно, счастлив радостно и любовно. Я держал Галину Ивановну под руку, ощущал её худой локоть, осторожно прижимал его к себе, мечтал быть с нею всю жизнь — и, чтоб продлить это чувство хотя бы на пять минут, решил отвезти её на такси.

Это в самом деле оказалось пять минут. Такси остановилось у МИИТа. На счётчике была какая-то ерунда, чуть ли не сорок пять копеек. Я достал кошелёк. Мелочи там не было, но была синенькая пятёрка.

Я мельком посмотрел в окно, и вдруг мой взгляд застыл.

За оградой института росли деревья. Я плохо разбирался в деревьях, но, скорее всего, тополя. Один тополь протянул свои голые ветви через забор.

Я посмотрел на это огромное дерево с обрезанными сучьями, как будто с неуклюже растопыренными корявыми руками и пальцами. Я не мог отвести от него взгляда. Этот тополь стоял, как старый, сердитый и презрительный урод, над снующими мимо молодыми и весёлыми студентами, которых освещало ещё холодное, но яркое мартовское солнце и овевало влажное дуновение весны.

Краем глаза я увидел, что Галина Ивановна роется в своей сумочке, — она сидела рядом с шофёром. Но я не мог оторвать глаз от дерева. Оно как будто говорило мне: “Ах, ах, ах! Весна, и любовь, и счастье! И как не надоест тебе всё один и тот же глупый и бессмысленный обман. Всё одно и то же, и всё обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Неужели ты веришь во все эти глупые надежды и обманы? Если она не обманет тебя, ты обманешь себя сам. Смотри, как я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы-ветки, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли — так и стою; вот и ты так же стой, видь всех насквозь, смейся над всеми и не верь никому”.

Тут я как будто очнулся и увидел, что Галина Ивановна ссыпает монетки на ладонь шофёра, открывает дверцу и выходит. Я выскочил за

нею следом, нелепо держа в руке пятирублёвую бумажку.

— Попрощаемся? — сказал я.

Мне хотелось её обнять. Она отступила от меня на шаг.

— Капец, — сказала она то ли смеясь, то ли хмурясь. — Я давала. Я стирала и гладила. И я за такси плачу. Уссаться! Ладно, давай, пока. Мишке привет.

— Прости! — закричал я. — Я просто задумался, замешкался. Держи! — и протянул ей синенькую.

— Не бери в голову! — Она быстро пошла к воротам института.

Я решил дойти пешком до метро “Новослободская”, это минут двадцать самое большее. Я шагал по мокрым мартовским тротуарам, попадая то одной, то другой ногой в талый снег. Хоть ботинки у меня были хорошие, но ногам скоро стало сыровато и холодно, и этот холод поднимался кверху и помаленьку охладил и мои мысли. Конечно, никакого счастья и даже просто радости-сладости у меня с Галиной Ивановной не будет, и даже второй встречи, наверное, не будет тоже. Почему? По трём причинам. Во-первых, я студент из высокопоставленной семьи, а она

повариха в столовой, то есть вообще незнамо кто. Но это несерьёзно. Мы живём в СССР, у нас все равны. Важнее вот что: во-вторых, я порядочный человек, а она даёт в групповике. Но и это не так существенно. Обычная тема русского романа: взять в жёны “падшую” и всё такое. Самое главное — в-третьих! Она любит мерзкого Мишку и со мной стала спать потому, что Мишка велел, и зачем мне всё это надо? Мало кого я так ненавидел в эти минуты, как моего старшего друга Мишу Мегвинешвили.

Вдруг у меня похолодело в груди. Страшно было даже предположить то, о чём я подумал в это мгновение.

Я бросился к автоматной будке и набрал Мишкин номер. Слава богу, он был дома.

— Мишка, — в ужасе спросил я, — Мишка, сколько ей лет?

— Кому? — он то ли правда не понял, то ли сделал вид.

— Галине Ивановне.

— Хе-хе. Что, понравилась девушка? То-то же! Сколько лет? Да откуда я знаю … Я к ней в паспорт не заглядывал. А что такое?

— Ну, примерно?

— Примерно двадцать пять. Так, плюс-минус.

Ну, двадцать три. Или двадцать восемь. Но не восемнадцать. И не тридцать пять. А что такое, в чём дело?

— Но … Но не сорок пять?

— Ты что, дурак?

— Точно не сорок пять?

— Ты что, глазами не видишь? Скажешь тоже, сорок пять. Я с такими не вожусь. Что случилось, я тебя в третий раз спрашиваю?

— Ничего. — Я повесил трубку.

Сердце всё ещё билось, но я постепенно успокаивался и даже как будто со стороны удивлялся своим ужасным мыслям. Дойдя до “Новослободской” и спустившись к поездам, я перестал об этом думать и спокойно поехал в университет.

Вечером, как только я открыл дверь квартиры, в коридор выбежала мама Лера. Я не думал, что она сегодня приедет с дачи. Она нарочито задыхалась — специально накачивала себя для крика. В одной руке у неё был мерзкий пучочек спутанных волос, в другой — полотенце. Я сразу понял, в чём дело. Я вырвал у неё этот катышек, пробежал к сортиру, кинул в унитаз, спустил воду.

Вернулся, стал снимать ботинки. Она продолжала тяжело дышать.

— Отбой, — сказал я. — Вольно. Закури!

— Привёл в дом какую-то шлюху! — наконец-то заорала мама Лера; видно, накачала достаточно злобы. — И она своими волосьями засоряет всю ванну!

— Всё, всё, нет никаких волосьев, отбой, — повторил я.

— И вытирает свои прелести, прелести свои вытирает, моим полотенцем! — и ткнула его мне в лицо.

На полотенце в самом деле виднелись два курчавых волоска.

— Какие ещё прелести? — хмыкнул я. — Самой, небось, хочется?

— Чего? — сощурилась она. — Че-го?

— Того! — я поклацал зубами и высунул наружу язык.

— Ну, ты! — она замахнулась на меня. — Наглец! Заткнись! Отцу скажу!

— Это ты заткнись, старая извращенка! — крикнул я. — Это я отцу скажу. Всё про тебя знаю. Видел тебя с Антониной Сергеевной. Фу!

— Дурак! — она старалась оставаться спокойной. Но всё же прибавила: — И негодяй к тому же.

На секунду мне стало весело и злобно. Порода матери сказалась во мне — моей настоящей, ни

разу не виденной матери. Я почувствовал увлечение и прелесть негодяйства. Мне захотелось пошантажировать маму Леру.

Но вдруг я вспомнил Галину Ивановну.

Вспомнил её узкие желтоватые стопы, её твёрдые чуть шершавые пятки. Пластырь на лопнувшей мозоли.

Вспомнил её милое безответное лицо, которое я держал в ладонях, убирая назад её тонкие русые волосы, отчего оно делалось похожим то ли на куклу-лисичку, то ли на Нефертити, — умиляясь и целуя её глаза, лоб и нос — за секунду до того, как из неё вдруг полилась нежданная кровь.

Весёлая злость исчезла, потому что я понял: я люблю Галину Ивановну. Я не мог себе объяснить это внезапное чувство, но я его чувствовал. Было похоже на то чувство, которое дрожало во мне, когда я целовал её ноги, пальцы и пятки. Я вырвал полотенце из рук мамы Леры и прижал его к лицу, к глазам, носу и рту, поцеловал его и, глубоко вдохнув, попытался уловить запах Галины Ивановны.

Мама Лера смотрела на меня как на безумного.

Пройдя в кухню, я сделал себе два бутерброда с сыром и съел их, запивая прохладным чаем, слыша, как мама Лера расхаживает по коридору

— от входной двери до кухни и обратно. Поев, я успокоился и закурил, выдыхая дым в приоткрытое окно. В кухне мы не заклеивали окон, как во всей квартире, потому что тут всегда было жарко от газовой плиты.

Но, постояв у окна и подышав вечерней мартовской сыростью, я понял, что не могу сидеть дома, что я сейчас должен бежать к ней, искать её, ловить её, сказать ей о своей любви.

Внизу в закутке у лифта сидел лифтёр. Я посмотрел на его жёлтое лицо и закрытые старым фланелевым одеялом больные ноги, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того чувства любви, которое я испытывал. Дворник с широкой железной лопатой возился у подъезда. Вид его показался мне умилительно трогательным. Нет, я был слишком счастлив от нагрянувшего на меня чувства любви. Насыщенный водою снег таял на тротуарах, и со всех крыш капало. Я завернул за угол, пошёл по Лесной к трамваю, рассеянно глядя на пешеходов, на автомобили, на мокрую мостовую. И легковые машины с мокрыми блестящими крышами, и грузовики с брезентовыми фургонами, и люди, обходившие лужи и снежные островки, и дома — всё было мне особенно мило и значительно.

На трамвае я быстро доехал до улицы Образцова.

Я долго ходил вдоль ограды с тополями, незаметно показывал кулак тому старому дереву, которое утром насмехалось над моими надеждами на счастье, но более всего боялся, что Галина Ивановна выйдет через какую-то боковую дверь и я её пропущу, потеряю.

Но нет, вот она. Я увидел её фигурку в том же тёмном плаще, из-под которого торчал краешек белого поварского халата, и с болью сострадания понял, откуда у неё эта странная манера — надевать плащ поверх халата. Я вспомнил, что вчера на ней, когда она разделась, были тонкие брючки и лёгкая кофточка. Ей просто холодно. Халат — это для тепла, у неё просто нет денег на тёплый свитер или демисезонное пальто. Мне стало ещё нежнее и растроганнее на сердце. Захотелось ей что-то купить, подарить, укутать её и согреть, целуя.

Я бросился к ней. Мне показалось, что она не сразу меня узнала. Потом кивнула, нехотя остановилась. Видно было, что я ей ни к чему. Я сразу спросил:

— Когда мы встретимся?

— Ясно, не сегодня, — усмехнулась она. — И не

завтра-послезавтра.

— Почему?

— Первомай! — почти засмеялась она. — Забыл, что ли?

— Прости, прости, — забормотал я. — А потом, на той неделе?

— Мишке звони, если надо.

— При чём тут Мишка? — изумился я.

— Извини, конечно. — Она вздохнула. — Вас таких много, а Мишка один. Мишка скажет, тогда ладно, — и быстро зашагала к трамваю.

— Смешно сказать, — продолжал Иван Васильевич свой рассказ, — но я через несколько дней позвонил Мише Мегвинешвили и прямо сказал, что хотел бы ещё раз повстречаться с Галиной Ивановной. Мишка ответил, что ему сейчас не до того. Не до весёлых приключений. Потому что он, представьте себе, собрался жениться. Господи, на ком? На Наталье Сергеевне с английской кафедры, с ума сойти. Очень строгая, но довольно красивая молодая дама. Рослая, чуть полноватая золотистая блондинка с жёсткой, как будто залакированной причёской. Старше Мишки года на два. “Зачем, почему вдруг?” — “Долго объяснять, старик! Но если кратко — пора уже угомониться. Семья, дом … Будем тебя в гости звать. Придёшь?”

Но, добавил он, если я хочу продолжать знакомство с Галиной Ивановной — кто же мне мешает? Он не против. “Позвони ей, старик, объясни …” — попросил я. “Ну нет, теперь это лишнее. Сам, сам. Уже большой мальчик. Сам позвони, сам. Запиши телефончик”.

Я позвонил ей; телефон был рабочий. Звонил несколько раз. Сначала никто долго не брал трубку, двадцать гудков, потом какая-то тётка никак не могла понять, кто мне нужен. “Повар у вас работает, Галина Ивановна”, — говорил я, запинаясь от неловкости и стыда, как будто выдавал свои тайны. Поэтому, кстати говоря, я звонил не из дому, а из автомата. “Нету у нас таких поваров, галин ивановен”. Наконец я выяснил, что есть судомойка и раздатчица Галка, а Ивановна она или нет — да кто ж её знает.

“О господи боже! — думал я снова с жалостью и умилением. — Смешная гордость маленького человека: назвать себя не судомойкой, а поварихой, сделаться чуть выше рангом …”

Но к телефону её не позвали: у неё отгул.

“Отгул! — ревниво думал я. — Где она? С кем?” Ужасные, оскорбительные картинки толклись в моей голове; смешно, что я ужасался тому, что сам делал с нею.

Несколько дней подряд из университета я ехал не домой, а на улицу Образцова. Доезжал не до “Белорусской”, а до “Новослободской” и там садился на трамвай номер пять.

Часами я бродил вокруг МИИТа — внутрь меня не пропускали, а позвонить из автомата в столовую и попросить судомойку Галку язык не поворачивался. Да и боялся я, что она меня пошлёт на хер, и все дела.

Наконец, на пятый, кажется, раз, я её увидел. Шёл снег, последний мартовский, неожиданно обильный. Небо было низкое, прозрачно-серое, и непонятно было, откуда там, в этом тумане, взялись тяжёлые мокрые хлопья.

Я заступил ей дорогу. Думал, что она будет убегать, но нет — она спокойно поздоровалась, даже руку протянула, но видно было, что ей всё равно.

— Как живёшь? — спросил я.

— Нормально, а ты?

— Тоже ничего, — сказал я. — Новости: Мишка женится.

— Ну и пускай! Имеет право! — она пожала плечами. Хотя заметно было, что ей неприятно это слышать. Помолчала и добавила: — Всё равно позвонит, никуда не денется. А нет, так и хер с ним.

Я вдруг спросил:

— Почему ты его так любишь?

— Потому что он толстый и весёлый. А ты худой и нервный. До свидания, желаю всего хорошего.

— Подожди! — сказал я — и всё ей выложил.

Сказал, что я её люблю. Так, как не любил никого и никогда. Что я счастлив, когда вижу её, когда беру её за руку. Что хочу на ней жениться и прожить всю жизнь вместе. “Паспорт с собой? Помчались в загс! А потом с мамой-папой знакомиться”. Я обнял её и попытался поцеловать.

— Не надо! — она вывернулась.

— Но ты же со мной … Ты же мне … — я продолжал крепко держать её за плечи, вцепившись в мокрую от снега ткань её плаща. Взмолился: — Ну хоть поцелуй меня!

— Целоваться — это любовь. А я тебя не люблю. Хочешь, отсосу за трояк? Зайдём в парадное, и пожалуйста. Даже бесплатно могу, ты же Мишкин друг. Я, конечно, дешёвка. Но я не сука. Сука бы в тебя вцепилась как репей. В такую квартирку запрыгнуть. А я не хочу, не могу, не буду …

Я притянул её к себе и увидел её странно яростные серые глаза. Казалось, она сейчас меня укусит.

— Ненавижу, — прошептала она.

— За что? — тоже шёпотом спросил я.

— Пусти!

Я разжал пальцы. Она побежала к трамваю. Я отвернулся, чтоб не смотреть, как она скрывается в дверях и уезжает от меня, — и вдруг услышал страшный, пронзительный, хрипящий её крик.

Обернулся. Она лежала ногами под трамваем. Трамвай остановился. Люди высыпали наружу. Кто-то нагнулся над ней, возился с чем-то вроде ремня. Она вдруг замолчала. Наверное, это был болевой шок, потеря сознания.

Я снова отвернулся и посмотрел на тополь за оградой. Время перестало быть. Проклятое дерево говорило мне: “Ну и как? Вот твоё счастье!” Раздалась сирена скорой помощи — они быстро приехали. Я посмотрел туда. Галину Ивановну на носилках втащили в машину. Толпа разошлась. Скорая и милиция уехали. Я подошёл поближе. Трамвай зазвенел, тронулся и уехал.

Улица была пуста. Между рельсами лежала её нога. Отрезанная по половину икры. В ботиночке и прозрачном гольфе.

Я сразу понял, что надо делать. Я сорвал с себя куртку, нагрёб в неё сырого снега прямо с асфальта — ах, как удачно, что снег только что прошёл! — положил туда ногу, облепил её снегом, окутал курткой, схватил в охапку и бросился

наперерез такси, крикнув шофёру: “Тройная оплата!”

Дома я побоялся ехать на лифте — вдруг застрянет. Помчался пешком на седьмой этаж. Затрезвонил в дверь. Мама Лера открыла.

— Что за пожар? — спросила она. — Папа только приехал, прилёг отдохнуть.

— Папа! — заорал я. — Папочка! Сюда! — и побежал на кухню.

— Что такое? — он вошёл в пижаме, нахмуренный.

Я уже стоял на подоконнике, распахнув окно и сбросив на пол вазочку и графин.

— Папа, — говорил я. — Вот тут, в этом свёртке, — нога. Девушку увезли по скорой. Ты делал три такие операции. В газетах было. Тракторист Потапов, какой-то лесоруб и кто-то ещё. Я помню. Я отлично помню. Если ты скажешь “нет”, я прыгаю вниз. Раз, два, три, ну!

Отец раскрыл холодильник, с размаху выгреб оттуда какие-то банки и тарелки и сунул туда отрезанную ногу вместе с ошмётками снега.

— Может быть, её надо разуть? — спросил я. — Снять ботинок?

— Идиот! — сказал отец. — Слезай!

Он прошёл в кабинет звонить по “вертушке”,

по спецсвязи.

Ранним утром — ещё темно было за окном — он вошёл в мою комнату и сказал:

— Тебе, в смысле ей, крупно повезло. В Москве оказался Леон Терновскис. Ученик великого Калнберза. Из Риги. Настоящий мастер. Хотя всего тридцать два. Я ему ассистировал, — добавил он, слегка любуясь собой: вот, мол, он, генерал и академик, подавал щипцы какому-то молодому парню.

— Спасибо, папа, — я встал, одёрнул свитер, потому что спал поверх одеяла.

— Теперь скажи, кто она.

— Никто, папа. Судомойка в столовой МИИТа. Давалка, шлюха. Сама говорит: “Я дешёвка”. В общем, негодяйка, — с трудом произнёс я это слово. — А для меня она — самая дорогая женщина. Я люблю её больше жизни. Я всё отдам, только чтобы ей было хорошо.

Отец вдруг коротко заплакал и обнял меня.

— Потом мы её отправим в Курган, — сказал он. — К профессору Илизарову, Гавриилу Абрамовичу. Я ему позвоню и напишу. Ножку вытянем, чтоб не хромала. Всё у неё будет хорошо, сынок, обещаю тебе.

Поцеловал меня, потом отвернулся и вышел

— и в дверях наткнулся на маму Леру, она смотрела на нас, оказывается. Мама Лера обняла его, я подбежал к ним, и мы втроём стояли, обнявшись, и долго не могли расцепить рук и потом весь день ходили по квартире, как сумасшедшие, натыкаясь друг на друга, бестолково переговариваясь и чувствуя, как мы неожиданно сблизились.

И вот так, мало-помалу, испытав сладчайшую страсть и унизительную обиду, увидев этот ужас и пережив это счастье … Вы только вообразите, что чувствовал двадцатилетний юноша, прижимая к груди отрезанную ногу, которую он неделю назад целовал, исходя восторгами сладострастия … Коротко говоря, тело ушло из моей жизни. Лучше сказать, я его преодолел.

Мы все молчали, стараясь уложить в уме всё, что услышали.

— Я примерно подсчитал: телесная любовь занимает не больше одного процента времени всей нашей жизни, даже если включить сюда обыкновенный флирт, — сказал Иван Васильевич напоследок. — Но это как ключ от замка. Такой вот маленький плоский ключик. Но без него не войдёшь. Не отопрёшь двери.

— Куда? — не поняли мы.

— Вы представьте себе, что вся жизнь — это

большая квартира. Там много комнат, в них кровати и диваны, столы и стулья, посуда, всякая снедь в буфете и холодильнике. В шкафах — одежда и бельё. Книги, картины, милые безделушки, памятные разные штучки. Ну и всё прочее. Живи и радуйся! Всё для тебя. Но квартира эта — за тяжёлой дверью. Дверь заперта. И ежели ключ потерялся, или сломан, или у него сточился хоть один зубчик — пиши пропало. Так и стоишь на лестнице, дурак дураком.

— Но ведь вы преодолели тело! — сказал кто-то из нас. — Это так важно для мыслящего субъекта …

— После тела не остаётся ничего, — возразил Иван Васильевич. — Тело — это финальная часть развития. Дух вселяется в тело и живёт в нём. Но обратного хода нет — чтобы взять да и вернуться из покинутого, то есть преодолённого, тела опять в живой ищущий себя дух. Обратно — дорога в смерть, в ничто.

Сделалось молчание.

— Иван Васильевич! — вдруг вспомнил я. — В самом начале вы сказали, что вы совершили два добрых дела. Одно — понятно, вы спасли ногу Галине Ивановне. Конечно, операцию делал ваш отец вместе с этим хирургом из Риги, но если бы

вы не схватили её, не заставили бы отца …

— Да, да, — кивнул Иван Васильевич.

— Но где же второе доброе?

Иван Васильевич усмехнулся:

— Я, кажется, говорил вам, что Миша Мегвинешвили женился на Наталье Сергеевне, преподавательнице с нашей английской кафедры. Но дело в том, что эта красивая, умная, очень взрослая женщина готовила меня к экзамену по английскому языку перед поступлением. Я был в десятом классе. Она меня, просто говоря, соблазнила. Ежели угодно, растлила, ибо я был невинным отроком. Я хотел рассказать это Мишке. Просто чтобы посмотреть на его рожу. Но всё-таки не сказал. Вот такой добрый поступок номер два … Миша и его жена уже умерли. А Галина Ивановна жива. Работает лифтёршей в нашем подъезде. Собственно говоря, поэтому я и не женился, — закончил Иван Васильевич.

Фридрих Горенштейн День, оставшийся под обрывом[2]

[2] Примечания: 2

До издания в сборнике “Тело: у каждого своё” этот рассказ Фридриха Горенштейна был напечатан только один раз — в журнале “Новый мир”. В начале девяностых сотрудница “толстяка” нашла текст в своём домашнем архиве завёрнутым в пожелтевшую газету, рядом с другими непошедшими материалами шестидесятых. С разрешения автора рассказ был опубликован (Новый мир. 1993. № 2).



Утром в восемь часов было уже жарко, как в полдень, и всё было горячим, даже газированная вода, а троллейбус напоминал парную в бане.

Женя сразу устала, она не успела проехать и двух остановок, как на сарафане выступили мокрые пятна, и Женя с каким-то злорадством подумала о том, как доберётся до пляжа, сбросит липкую одежду, погрузится в воду, окунётся с головой, ляжет на спину и будет долго отмокать.

Люди в троллейбусе лениво переругивались, стараясь отстраниться от чужих жарких тел, а водитель сидел в одной майке, спина у него была красноватая, а руки и шея коричневые.

Троллейбус медленно проехал под мостом, постоял на перекрёстке, Женя увидала знакомые фонари перехода и мимо враждебных ей спин и плеч начала пробираться к выходу. Она договорилась встретиться с Анатолием у него дома и позавтракать перед пляжем. Вчера весь вечер и ночью, лёжа без сна, она ждала этого утреннего завтрака, но сейчас, пробираясь к выходу в горячей тесноте, подумала, что, пожалуй, лучше было бы им встретиться под каким-нибудь грибком на пляже, а позавтракать в кафе на открытой террасе.

Женя выбралась из троллейбуса, вздохнула и поправила сползшую шлейку сарафана. Она пошла, держась ближе к деревьям, однако пыльная листва плохо защищала от солнца, и когда Женя

добралась наконец к дому, где жил Анатолий, и вошла в подъезд, у неё закружилась голова.

Дом был старый, и в подъезде было прохладно, может быть, от кафельных плиток — белых и синих, которыми были выложены стены изнутри. На лестнице тоже было прохладно, полутемно, и Женя, пока медленно поднималась, успела отдохнуть от жары и яркого света и подумала, что всё-таки правильно поступила, согласившись приехать к Анатолию позавтракать. Она остановилась перед дверьми его квартиры и хотела позвонить, но снизу кто-то шёл. Женя быстро опустила руку и отошла к перилам, хоть понимала, что дура, потому что прятаться им теперь незачем. Человек прошёл у неё за спиной; Женя стояла и смотрела вниз, в темноту лестничного пролёта, и, только когда наверху хлопнула дверь, быстро подошла и позвонила. Ей казалось, что Анатолий долго не открывает, она прикоснулась к звонку, чтоб позвонить ещё раз, но дверь открылась, и она увидела Анатолия, босого и в расстёгнутой пижаме.

— Здравствуй, — сказала Женя, улыбнулась и потянулась целоваться, но Анатолий отстранился и показал пальцем вглубь коридора. — Вернулась? — испуганно спросила Женя и попятилась

к дверям.

— Она не вернётся, — сказал Анатолий, — это мои тётки … Пойдём, я тебя познакомлю.

В комнате было очень душно, хуже, чем на улице, и запах был неприятный, ночной, наверно, тут недавно поднялись и не успели проветрить. На столе стояли остатки завтрака, в лужице кофе валялись недоеденные яблоки и стояла открытая банка рыбной печени.

Две тётки были одинаковые — сухие и большеносые и чем-то похожи на Анатолия, а третья совсем не похожая — широколицая и толстая. Несмотря на жару, они все были в чёрных шерстяных платьях, сидели и слушали утреннюю воскресную передачу. “Воскресенье — день веселья”, — пело радио.

— Я эту девушку знаю, — сказала одна из похожих тёток. — Это соседка из старой квартиры. И маму её я знаю … Мама уже вернулась с курорта?

— Нет, — ответила Женя, — мама ещё не вернулась … И папа ещё тоже не вернулся.

“Надо было встретиться под грибком, — подумала она, — как глупо, что я согласилась сюда прийти”.

— Можете поехать вместе с нами на кладбище, — сказала знакомая тётка, — проведать

Толину бабушку.

— А оттуда мы поедем на пляж, — поспешно добавил Анатолий; лицо у него было скучным, он давно не стригся, волосы его висели над ушами и с затылка лезли за воротник пижамы.

На улице тётки сбились кучкой в тени, а Анатолий побежал искать такси. Проехала поливальная машина, от асфальта поднимался пар, асфальт высыхал сразу же за задними колёсами машины.

“Напрасно я надела тесные купальные трусы”, — подумала Женя, она представила себе две зудящие полосы, которые, наверно, уже проступили на коже, и от этого ей стало ещё более душно и нехорошо. Показался Анатолий, он бежал, держась за полуоткрытую дверцу такси. Такси затормозило, выглянул шофёр, посмотрел на тёток и сказал:

— Четверых я возьму.

— Усядемся пятеро, — сказал Анатолий.

— Не могу, — сказал шофёр и зевнул.

— Он хочет на чай, — вспылила вдруг толстая тётка.

— Дура, — лениво сказал шофёр, опять зевнул, хлопнул дверцей и уехал.

— Зачем вы вмешиваетесь! — раздражённо

крикнул Анатолий. — Я еле поймал такси. Ищите теперь себе сами такси.

— Идёмте до угла, — сказала тётка, узнавшая Женю, — мы там найдём такси без этого длинного идиота.

— А ты ещё обвиняешь Веру, — сказала толстая тётка. — Я удивляюсь, как она жила с ним два года.

— Тихо, тихо, — сказала молчавшая до этого третья тётка, — не надо ругаться.

Они пошли гуськом вниз по переулку.

— А мы на пляж, — сказала Женя и тронула Анатолия за локоть.

— Терпеть не могу! — крикнул Анатолий и сплюнул. — Думаешь, они мало про Веру сплетен пустили?.. Как приеду к ним, так начинают.

— И спасибо им, — сказала Женя, — а то прожил бы до смерти с глупой уродиной.

Они тоже пошли вниз по переулку, дошли до угла и увидели двух тёток, которые быстро ходили вдоль кромки тротуара и смотрели на середину мостовой, где среди потока автомашин металась толстая тётка.

— Стой на месте! — кричала тётка, узнавшая Женю. — Стой неподвижно.

А молчаливая тётка то сбегала на мостовую,

то возвращалась назад. Анатолий побежал к толстой тётке, увёл её с мостовой, усадил на скамейку и сказал поспешно:

— Я пойду на стоянку за такси.

От солнца всё вокруг было ярко-белым — мостовая и стены домов, и Женя вдруг почувствовала озноб. Подъехал ЗИЛ, Анатолий сидел рядом с шофёром, он выглянул и помахал рукой. Тётки затрусили к машине и начали неумело дёргать дверцу.

— Значит, на кладбище, — сказал шофёр, перегнулся и открыл дверцу изнутри.

Тётки торопливо полезли на сиденье, а для Жени шофёр открыл дверцу с противоположной стороны и почему-то улыбнулся.

Такси подолгу стояло на перекрёстках, пока боковыми переулками не выехало на загородное шоссе. На развилке, где от шоссе к кладбищу поворачивала грунтовая дорога, такси здорово тряхнуло. Какой-то мужчина, наверно пьяный, чуть не попал под колёса. Тётки все одновременно вскрикнули, а шофёр открыл дверцу, вышел, схватил мужчину за грудь и толкнул так, что тот упал. Потом шофёр сел за баранку, вынул сигарету, закурил и нажал стартёр. В это мгновение опять появился мужчина, приоткрыл дверцу и

щёлкнул шофёра в лоб. Женя увидела, как затылок и уши шофёра стали красными, он навалился на дверцу изнутри, а мужчина прижимал её снаружи. Мужчина был в белом чесучовом пиджаке, а в руке он держал почему-то амперметр. Шофёр тяжело дышал, он никак не мог открыть дверцу, и тётки тоже тяжело дышали и делали незаметно Анатолию знаки, чтобы он не вмешивался. Вдруг мужчина резко приоткрыл дверцу, щёлкнул шофёра в лоб и снова прижал дверцу снаружи. Он проделал этот номер несколько раз, и бычий затылок шофёра стал совсем тёмно-буряковым.

— Ну-ка пусти, — сказал шофёр Анатолию, — пусти, я с твоей стороны вылезу.

— Толя, не вмешивайся! — крикнула толстая тётка.

— Ладно вам, — раздражённо сказал Анатолий и открыл дверцу.

Когда они с шофёром вылезли, мужчины уже не было, его подобрал проехавший мимо “москвич”.

— Пьяная образина, — сказал Анатолий.

— Ничего, я его запомню, — сказал шофёр, втянул носом мокроту, харкнул под ноги, сел в такси и так рванул с места, что тётки все навалились на Женю и испуганно задышали ей в лицо.

Кладбище, куда они приехали, было совсем лишено зелени, и памятники напоминали какие-то выросшие в пустыне растения. У ворот кладбища стояло много такси, и несколько парней, очевидно шофёров, играли под кладбищенским забором в карты.

— Господи, что делается, — вздохнула толстая тётка, — сколько новых могил, в прошлом году этот кусок был совсем свободен.

Они пошли по аллее вглубь кладбища, а Женя шла последней и думала: как долго она ждала этого воскресенья и как всё глупо получилось. У Жени пересохло во рту, к тому же тёрла пятку левая сандалета, и она едва поспевала за тётками, которые резво шли по аллее, потом свернули в сторону и остановились у ограды вокруг серой дешёвой плиты. Неподалёку высился красивый обелиск чёрного мрамора с золотыми буквами и литой чугунной решёткой. Вокруг обелиска росли кустики белых роз, а перед чугунной решёткой была аккуратная скамейка. На скамейке сидела семья: упитанный мужчина, худенькая женщина, два подростка в клетчатых рубашках и маленькая девочка с бантом. Мужчина снял туфли и сидел в одних носках. Женщина вынула из сумки термос, отвинтила крышку и дала

напиться сначала упитанному мужчине, потом девочке, потом подросткам, потом выпила сама.

— Надо было тоже взять термос лимонада, — сказала толстая тётка и провела языком по губам.

— Надо было, — раздражённо сказала тётка, узнавшая Женю. — А сбить скамейку, чтоб как у людей, — это не надо было? А посмотрите, какая решётка, — она пошатала решётку, — стыдно перед посторонними. И внук — слесарь …

— Неужели бабушка не заслужила решётку на могилу? — сказала толстая тётка дрогнувшим голосом.

— Я исправлю, — ответил Анатолий и поморщился.

Тётки выстроились в шеренгу, Анатолий стал за последней молчаливой тёткой, а Женя тоже пристроилась на левом фланге. У всех тёток одинаково дрожали подбородки, по щекам текли слёзы, и Женя опустила глаза на землю, на могильную плиту и начала опять думать, как долго она ждала этого воскресенья и какое оно неудачное. От этих мыслей ей стало очень грустно, сдавило грудь, и глаза её стали тёплыми и влажными. Она подняла голову, посмотрела на тёток, на Анатолия, который скорбно посапывал

носом, и неожиданно почувствовала, что у неё сам по себе начинает растягиваться рот, и, чтоб остановить, скорбно сжать свой рот, она быстро начала думать, что ей уже семнадцать, что никто её не любит, что папа у неё неродной, а мама не захотела взять её с собой в Крым. Однако вопреки всем этим мыслям из груди её вырвался какой-то звонкий жеребячий звук, она стиснула зубы и даже застонала.

“Надо думать про грустное, — повторяла про себя Женя, — надо думать только про грустное”.

И вдруг вспомнила мужчину, которого увидела дня три назад на улице, тонкого и патлатого, похожего на малярную кисть … Потом шофёра такси, которому надавал щелчков пьяный.

Тётки всхлипывали, толстая тётка рыдала навзрыд, и Женя попыталась представить себе старушку, лежавшую под этой плитой. И действительно вспомнила эту маленькую старушку, которая когда-то жила в их дворе. Летом старушка часами сидела перед домом на табурете, нога у неё была вывернутая, хромая, и однажды, когда во двор вбежала собака, старушка кинула в неё своей палкой. Женя осторожно повернулась и пошла к аллее. У неё болели щёки, живот и грудь, а по лицу текли слёзы. Она шла по аллее, и люди

сочувственно смотрели на её вздрагивающие плечи. Потом она свернула на боковую тропинку, прижала ладони к лицу и начала хохотать. Она давно уже так не смеялась, её просто наизнанку выворачивало от смеха. Когда она ненадолго замолкала, чтоб перевести дыхание, то чувствовала испуг и пыталась о чём-то думать, но потом её вновь начинало шатать от смеха. Она увидела широкую плиту, под которой лежали какие-то супруги Прежбяно, и подумала: “Двуспальная плита, тут уж не заведёшь любовника …” — и представила, как эти Прежбяно раздевались. Прежбяниха сидела в ночной рубашке, а Прежбяно вынимал зубы и клал их в стакан. Всё это опять её развеселило, она даже начала повизгивать, хваталась рукой за живот. По главной аллее кладбища медленно ехал похоронный автобус, наверно привезли нового покойника, и Женя ушла ещё дальше вглубь кладбища. Здесь было не так жарко и росло несколько одичавших яблонь. Какой-то босой мальчишка соскочил с яблони, яблоки перекатывались у него спереди, под майкой.

— А ну делись! — весело крикнула Женя.

Мальчишка посмотрел на неё, полез за пазуху и кинул Жене зелёное яблоко. Женя поймала

яблоко на лету, надкусила, оно было тёплым и терпким, и, хотя ей здорово хотелось пить, она его выбросила. Затем она раздвинула кусты, шагнула в сторону и вдруг остановилась, едва не налетев на чью-то спину. Человек тихо сидел у могильного холмика. Возможно, он даже спал, уткнув голову в колени. На нём был белый чесучовый пиджак, а рядом с ним лежал амперметр. И Женя тоже стояла тихо, боясь дышать, но человек всё-таки почувствовал её и поднял голову. У него было совсем другое, чем на шоссе, лицо, щёки и лоб зеленоватые. Такие лица бывают у людей в сумерки, а между тем вокруг был ярко-белый от солнца день. Они смотрели друг на друга, может, минуту, а может, и больше. Белки глаз у человека были розовые, с красными прожилками. Потом Женя рванулась, побежала по тропинке и только на аллее остановилась, тяжело дыша. Она увидела Анатолия и тёток. Анатолий подошёл к ней и сказал вполголоса:

— Я думал, ты обиделась и ушла. Дьявол их сегодня принёс, — и посмотрел в сторону тёток.

— От пота у меня чешется голова, — сказала толстая тётка, — приеду домой — выкупаюсь.

— Как вам понравился тот свет? — спросила у Жени молчаливая тётка.

Женя неопределённо пожала плечами.

— Тебе ещё сюда не скоро, — сказала толстая тётка. И все три тётки рассмеялись.

Тётки уехали на такси, а Анатолий и Женя пошли через поле до трамвайной остановки. Трава вокруг была выгоревшая, сухая и пыльная. Они пришли к остановке, сели в трамвай и долго тряслись мимо окраин, а потом пересели в раскалённый троллейбус. Всю дорогу Женя молчала. Тело было липким, чесалось. Когда они вышли из троллейбуса, улица по-прежнему была очень светлой и пустой, лишь на противоположной теневой стороне шло несколько сонных фигур, а перед домом Анатолия стояла старушка в панамке. В руке старушка держала авоську, на дне которой были книги, а сверху два батона.

— Гуль, гуль, гуленьки, — пела старушка, щипала батон и кормила снующих перед ней по загаженному тротуару голубей. Увидав Анатолия, она поздоровалась с ним и сказала: — Сегодня тридцать пять градусов. В старое время против засухи пускали крестный ход.

Анатолий и Женя постояли из вежливости, послушали старушку и вошли в подъезд.

— Она немножко ненормальная, — сказал Анатолий.

В подъезде с синими и белыми плитками тянуло приятным холодком, и на какое-то мгновение Жене вдруг сжало виски и кольнуло где-то повыше затылка. Анатолий был уже на лестничной площадке, отпирал дверь.

— Ты почему отстаёшь, хозяйка? — спросил он.

В комнате, как и раньше, было душно, на столе стояли остатки завтрака, а на абажуре висели полурастаявшие липучки-мухоловы.

— Я помою пол, — сказала Женя.

— Чего это тебе взбрело? — удивился Анатолий. — Сейчас мы будем жрать.

— А потом я помою пол, — повторила Женя. Она несколько раз мысленно повторила: “Я помою пол, я помою здесь пол” — и представила, как передвигает всю мебель. Буфет она поставит левее, а в углу — столик с телевизором, или они купят торшер.

— Вот колбаса и всякая другая дребедень, — сказал Анатолий и открыл холодильник, — чтоб не возиться с кастрюлями, по-студенчески, всухомятку.

— Нет, колбасу надо поджарить, — строго сказала Женя, — а ты помой руки.

Анатолий посмотрел на неё, улыбнулся и пошёл мыть руки. Женя покопалась в холодиль-

нике, нашла там масло, несколько яиц и всё это выложила на тарелку. Она поджарила колбасу, вылила на неё яйца, внесла шипящую сковородку и разложила еду по тарелкам, Анатолию побольше — как мужчине. После еды она сказала: “Я хочу переодеться, у тебя нет чего-нибудь старого? И принеси ведро воды”.

Анатолий открыл шкаф, он был полупустой, висело несколько пиджаков и пальто, завёрнутое в простыню. Потом нагнулся и выковырял из-под шкафа женские комнатные туфли. Туфли были оторочены мехом, и левый спереди протёрся, а сзади туфли торчали и шлёпали.

— Я сейчас принесу тебе передник, — сказал Анатолий и ушёл на кухню. Он долго не появлялся, Жене надоело ждать, она тоже пошла на кухню и увидела, что Анатолий стоит, привалившись к стене, и держит в руках клеёнчатый передник.

— Ты чего? — спросила Женя.

Анатолий отдал ей передник, она примерила, передник был ей велик — гораздо ниже колен.

— Не надо мыть пол, — сказал Анатолий, — лучше мы выпьем вина, у меня есть бутылка вина.

Он взял её за руку, повёл в комнату и вынул из холодильника бутылку армянского портвейна.

— Мы будем пить из одной кружки, — сказал

Анатолий и налил желтоватое вино в кружку. Вино было холодным и чуть-чуть горьковатым. Они пили его глотками попеременно и закусывали мармеладом прямо из кулька.

— Не надо меня обнимать, — сказала Женя. — Сейчас ведь день.

— Сейчас ночь, — сказал Анатолий, подошёл к окну и опустил шторы. В комнате потемнело, и лоб и щёки у Анатолия стали зеленоватыми.

— Ты помнишь того, с амперметром? — спросила Женя.

— Я ничего не помню, — сказал Анатолий и снова попытался её обнять. Она выскользнула из его объятий и полезла под стол. Анатолий встал, заглянул под стол, махнул рукой, пошёл и лег на кровать в туфлях.

Когда Женя вылезла из-под стола, он уже похрапывал. Женя опять начала мысленно передвигать мебель. Она наведёт здесь порядок. Буфет левее, вместо буфета телевизор или новый торшер … А всякий хлам — вон, всякие растоптанные тапочки. Она стряхнула с себя чужие туфли, бросила под ноги клеёнчатый передник и прыгнула на кровать. Анатолий заворчал и повернулся к ней спиной, тогда она опрокинула его, схватила руками его уши и начала трепать, приговаривая: “Вот

не дам тебе спать, вот не будешь спать”, — пока он не приоткрыл набрякшие веки.

— Ну немножко … ну полчасика, — сказал Анатолий и зевнул.

— Нет, — засмеялась Женя, — нет, нет и нет. — Она упёрлась ему в грудь коленями, а руками прижала его руки к подушке и, стиснув зубы, сказала: — Ох, если б у меня был муж, я б его замучила.

— Ладно, — сказал Анатолий, приподнялся и схватил её.

Женя сразу тревожно задышала и начала его отталкивать.

— Не надо, — сказала она, — я не хочу. Я хочу остаться девушкой. Сегодня я хочу остаться девушкой …

Но он прижимал всё крепче, и тогда она щёлкнула его в лоб, как пьяный на шоссе — шофёра такси.

— Пусти, — сказала она, — мне нехорошо. Я выйду.

— Налево по коридору, — сказал Анатолий, выпуская её.

Когда Женя вернулась, Анатолий уже спал, сняв туфли и рубашку. Она прикрыла его одеялом, а сама легла рядом поверх одеяла, улыбнулась и

обняла его. Анатолий заворочался, вынул из-под одеяла одну руку и просунул ладонь Жене под голову.

— Вот и всё в порядке, — тихо сказала Женя и потёрлась щекой о жёсткую ладонь. — Я раньше думала: как это — лежать в объятиях у мужчины? Очень просто, и ничего особенного.

Она заснула и спала вначале крепко и спокойно, а потом вдруг что-то дёрнуло её, она спросонья протянула руку и ощутила пустое пространство. У неё закружилась голова и кружилась до тех пор, пока она не протянула руку дальше и не наткнулась на твёрдую стену. Тогда она быстро повернулась на спину, посмотрела в незнакомый потолок, одёрнула задравшийся подол сарафана и начала испуганно ощупывать свои колени, провела ладонью по горлу и груди. В комнате было пусто и тихо, шторы опущены.

— Толя, — позвала Женя, и, поскольку он не откликался, Женя вскочила и босиком побежала в коридор.

Анатолий брился на кухне. Щёки его были густо намылены, и, когда он повернул к ней голову, лицо его показалось Жене совсем чужим.

— Ты давно встал? — спросила она.

— Давно, — ответил Анатолий.

— А я спала? — спросила она.

— А ты спала, — ответил Анатолий.

— И ты не подходил ко мне? — с тревогой в голосе спросила Женя.

— Подходил, — сказал Анатолий и улыбнулся.

— Почему ты улыбаешься? — сердито сказала Женя. — Я спрашиваю серьёзно.

— Можешь не волноваться, — ответил Анатолий. — Сегодня ты осталась девушкой. Тебе повезло, ты переспала с мужчиной и осталась девушкой. Так что мама ругать не будет.

— Дурачок, — Женя потрепала его волосы. — Ты б на моём месте помер со страха.

— Гарантия, помер бы, — сказал Анатолий.

Женя вошла в комнату и приподняла шторы. Улица ничуть не потускнела, хоть было уже семь часов. Казалось, солнце сегодня с утра до вечера стоит на небе неподвижно. Она опять пошла на кухню, лицо у Анатолия теперь было гладким, чисто выбритым. Она посмотрела, как он выжимает из тюбика на палец белую колбаску крема, и спросила:

— Толя, ты хочешь познакомиться с моими родителями?

Анатолий начал растирать крем по лицу, сначала он осторожно, двумя пальцами, натирал под

глазами, потом начал массировать подбородок, а потом крепко похлопал по скулам.

— Конечно, — сказал он, — конечно, мы познакомимся. А сейчас мы поедем на пляж, ты собирайся.

Он следил за ней краем глаза. Лицо у неё было довольно красивое, но если смотреть чуть-чуть сзади на профиль, то видно, что уши слишком торчат и к тому же возле левого уха — маленький припудренный прыщик.

— Я готова, — сказала Женя, застёгивая сандалеты. — Ты поторапливайся. Чего ты сидишь перед зеркалом?

“А она ведь дура, — подумал Анатолий, — ну конечно, дура, конечно, дурёха”. Он несколько раз повторил про себя: “Дура, дура, дурёха, хорошо, что у меня с ней ничего не произошло, я был немного пьян, но всё кончилось благополучно”. Он встал, прошёл в комнату, хотел с досады включить радио, но по рассеянности включил свет.

— Зачем? — спросила Женя.

Он ничего не ответил, опять пошёл на кухню, открыл кран и, морщась, принялся ловить губами тёплую желтоватую струю. Женя пошла в комнату, потушила свет и вернулась на кухню.

— О чём ты сейчас думаешь? — спросила она.

Анатолия начало мутить от тёплой гнилой воды, но отвечать ему не хотелось, и он пил эту воду, набирая её в рот и медленно проглатывая маленькими порциями.

— Недаром рассказывают, что после этого не о чем говорить, — сказала Женя.

Анатолий выплюнул воду в раковину, вытер губы и спросил:

— После чего — этого? Что было? Ничего не было!

Он заправил в брюки концы рубашки, взял пакетик и сказал:

— Пошли.

Они вышли из прохладного подъезда на солнцепёк, и Женю вновь укололо где-то повыше затылка, а Анатолия ещё сильнее начало подташнивать, и в желудке у него тяжело перекатывалась вода.

— Я пойду за подругой, — сказала вдруг Женя.

— Давай, давай, — сказал Анатолий, — доберёмся на пляж в понедельник вечером.

— Особенно если ехать на пляж через кладбище, — сказала Женя.

Они посмотрели друг на друга и остановились. Подъехал и начал медленно разворачиваться грузовик с цистерной кваса на прицепе. Люди со

всех сторон побежали к этой цистерне.

— Твоя подруга далеко живёт? — спросил Анатолий.

— Рядом, — ответила Женя. — Случайное совпадение … Когда я шла к ней в гости, всегда встречала твою жену.

В животе у Анатолия бурлило и побаливало. “Чёрт меня дёрнул пить после жирной колбасы воду”, — с досадой подумал он и сказал:

— Я жду тебя десять минут.

— Договорились! — крикнула Женя.

Анатолий посмотрел ей вслед. Сводчатый проход, в котором она исчезла, напоминал открытую пасть.

Обычно на звонок начинала внутри квартиры лаять собачка, но на этот раз было тихо и открыла дверь не домработница, а сама Лариса.

— Я тебе звонила, — сказала Лариса. — Я одна. Мама с Тобиком на даче, а Полина поехала в свою деревню.

На Ларисе были короткие бархатные брючки, кеды и белая спортивная майка с буревестником.

— Что ты делаешь? — спросила Женя, проходя в комнату.

— Скучаю, — сказала Лариса, — никакого разно-

образия. Сегодня ко мне на улице опять подошёл незнакомый мужчина.

На полубуфете стояли часы. Они были отделаны разноцветным плексигласом, а сверху на их крышке скакал на ослике какой-то гном.

— Символ, — сказала Лариса. — “Время бежит, время катится, кто не любит и не пьёт — после схватится”. — И рассмеялась. — У меня был знакомый мальчишка, — сказала она, — немного приблатнённый.

— Ты идёшь на пляж? — торопливо спросила Женя.

— Я была утром, — ответила Лариса. — Скука, сплошные знакомые рожи.

— Тогда я побежала. — Женя быстро пошла к дверям.

— Подожди, — окликнула её Лариса, — я пойду. Утром там всегда слюнявые мальчишки, а к вечеру появляются мужчины. — Она ушла в другую комнату.

— Быстрей! — крикнула Женя и нервно прошлась по комнате. “Уже восемь минут, а Толя такой принципиальный”, — подумала она и выглянула в окно, хоть знала, что окно это во двор, а не на улицу. — Быстрей, — крикнула Женя, — чего ты возишься?

Лариса появилась в одной босоножке, вторую она надевала на ходу.

— Ты взбесилась? — спросила она Женю. — Или вспомнила про свидание?

На Ларисе был лёгкий ситцевый сарафан гораздо выше колен, ноги у неё были крепкие, загорелые, а в руке она держала прозрачный целлофановый мешочек с купальником и цветным полотенцем. Женя вдруг села на тахту, сердце у неё колотилось, но она всё-таки села и взяла в руки какой-то журнал.

— Чего ж ты уселась? — спросила Лариса. — Ты ненормальная? Конечно, ты ненормальная!

Журнал был напечатан по плотной меловой бумаге, от него исходил дорогой, исполненный комфорта запах.

— Это знакомые привезли из туристской поездки, — сказала Лариса. — Там издают много русских журналов.

Она тоже уселась рядом с Женей и заглянула в журнал. “Каким образом можно получить красивую грудь?” — было набрано крупным шрифтом. Шрифтом помельче этот вопрос разъяснялся: “Красивая грудь, гармонически развитая, составляет драгоценное украшение женщины. Те, которым в этом отношении природа не благо-

приятствовала, могут улучшить свою фигуру с помощью пилюль «Марбор»”.

— Дальше не читай, — сказала Лариса и начала похохатывать. — Дальше — глупости.

Дальше крупным шрифтом было набрано: “Запоры” — и помельче: “Каждые два или три дня одна пилюля «Альс» во время обеда и вечером регулирует желудок”.

Гномик скакал и скакал на осле, однако сама Женя сидела неподвижно и внимательно читала о грыже: “Все, страдающие грыжей, должны приобрести новое издание книги парижского специалиста Клавери”.

— Здесь про половые болезни есть, — смеясь, сказала Лариса и перелистала несколько страниц.

Но Женя вдруг отбросила журнал и побежала к дверям.

— Чтоб мне пропасть, я сейчас вызову скорую помощь, — сказала Лариса. — Подожди, буйнопомешанная! Анекдот, ей-богу, я ведь тоже на пляж.

Она догнала её в конце последнего лестничного марша.

— Ты куда? — испуганно спросила она Женю. — Что с тобой? — И взяла за руку.

Женя глянула на неё и молча выдернула руку. Она бегом пересекла двор и исчезла в сводчатом проходе. Когда Лариса вышла на улицу, Женя стояла у края тротуара и смотрела по сторонам.

— Всё, — сказала Женя и положила подруге голову на плечо, — всё, его нету!

— Кого? — спросила Лариса. — Ты сегодня какая-то странная.

Рот у Ларисы был маленький, красный, и от него пахло карамелью.

— Вот идёт красивый мужчина, — сказал этот красный рот. — Валька от него без ума.

Анатолий остановился у цистерны яблочного кваса, постоял немного и пошёл дальше.

— Он нас заметил? — быстро спросила Женя и побежала назад в сводчатый проход. Она втянула удивлённую Ларису за каменный выступ и снова спросила: — Он заметил?

— А вы играете в прятки? — спросила Лариса.

— Я его люблю, — вдруг просто сказала Женя и глубоко вздохнула. — Я всю ночь мечтала: если б он погиб из-за меня на дуэли, я б никогда не вышла замуж. До самого гроба.

— Дурочка, — сказала Лариса и вынула носовой платок. — Дурочка, приведи себя в порядок.

Они покинули убежище и подошли к Анато-

лию.

— Я немного задержалась, — сказала Женя. — Познакомься с моей подругой.

Лариса подала руку небрежно, как для поцелуя, с опущенными книзу пальцами и расслабленными в кисти.

— У тебя седой волос, — сказала она, сразу переходя на “ты”. — На висках это красиво, а на затылке это портит … Дай я выдерну.

— Не надо, — сказал Анатолий. — Меня не испортит, я ведь уже старый.

— А знаешь, я молодых не очень люблю, — сказала Лариса. — У меня муж был молодой.

— Сколько ж тебе лет? — спросил Анатолий.

— Девятнадцать, — сказала Лариса. — Он был на год моложе. Ты почему смеёшься? У него ужасные родители. И к тому же он мне изменял.

— Пойдёмте быстрее, — сказала Женя, — уже некогда загорать.

Было по-прежнему жарко, но день слегка пожелтел и тени выползли с тротуара на мостовую.

— Двинем пешком, — сказала Женя, — я за день напарилась в троллейбусе.

Они вышли на центральную улицу и окунулись в толпу, у всех были одинаковые устало-полуот-

крытые рты, а у мужчин расстёгнутые рубашки. К пляжу надо было спускаться по асфальтированной дорожке через городской сад, изрезанный оврагами. Навстречу, тяжело волоча ноги, поднимались люди, и всюду торчали таблички “По склонам не ходить”, а внизу слышалась музыка. Пляж находился на острове, и между набережной и островом недавно был выстроен пешеходный мост. Женя посмотрела сверху на далёкую воду, на пёстрый пляж и почувствовала себя лёгкой и слабой.

— Ты чего? — тревожно спросила Лариса.

Голос её был далёким и тихим.

— Она сегодня нажарилась, — сказал Анатолий и вытер Жене мокрый лоб платком. — Я сейчас отвезу тебя домой на такси.

— Не надо, — сказала Женя, — какие глупости. Сейчас мы будем купаться и загорать.

Ноги её ещё слегка пружинили, но она побежала по мосту и за мостом спустилась не по лестнице, а по бетонированному откосу.

Вдоль выложенной каменными плитами дорожки стояли автоматы, продающие газводу, соки и бутерброды, а за ними — несколько пивных киосков и лотков с мороженым. Анатолий попытался пробиться к автоматам, но всюду тол-

пились полуголые люди, и к тому же не хватало стаканов.

— Не надо, — сказала Женя, — лучше быстрей разденемся и ляпнемся в воду.

Они пошли дальше, до пивных киосков, и здесь Анатолий снова остановился и посмотрел на запотевшие бокалы, которые держали в руках счастливцы. Один из этих счастливцев подошёл к Анатолию.

— Пойдём, — сказал счастливец.

— Ты меня? — не понял Анатолий.

— Пойдём, пойдём, — сказал счастливец и шагнул за пивной киоск в кусты.

Он был покрыт ровным красивым загаром, на нём были нейлоновые плавки, а на шее висели на золотистой цепочке миниатюрные боксёрские перчатки. Анатолий ничего не понял, но почему-то шагнул к кустам. Загорелый шёл впереди и всё время кивал ему. Они вошли в заросли, где стояло много пивных бочек, а на одной из бочек сидел другой парень, тоже загорелый, и держал на коленях какой-то свёрток.

— Надо? — спросил парень в нейлоновых плавках и развернул свёрток. Там было несколько пар полосатых носков и пёстрая поношенная рубашка.

— Не надо, — сказал Анатолий и усмехнулся.

— Не надо? — искренне удивился парень, сидящий на бочке. А парень в нейлоновых плавках плюнул с досады и сказал:

— Нарвался на охламона из бригады коммунистического труда.

Сердце у Анатолия застучало медленно и сильно.

— Я тебе сейчас наверну, — сказал он. — Дам по рылу, одна цепочка останется.

— Ты этого не сделаешь, — сказал парень в плавках.

— Почему? — спросил Анатолий.

— Тебя будут бить до самого утра. Хочешь, чтоб тебя били до утра? — У него была обросшая кудрявым волосом грудь и довольно рельефные мышцы. И у сидящего на бочке парня тоже были неплохие мышцы и плечи.

Анатолий прислушался к далёкому шуму пляжа и почувствовал, как в животе у него неприятно заурчало. Он подумал: “Глупо так. Когда меня били в последний раз? Уж не помню, когда это было. Отвык”.

— Ладно, — сказал сидящий на бочке своему партнёру, — пошли, ещё стукачи наскочут.

— Ах ты гумозник, — сказал Анатолию парень

в нейлоновых плавках и замахнулся.

“Если он ударит, придётся драться. А может, ударить первым … ногой по нейлоновым плавкам?”

— Пойдём, — сказал парень, сидящий на бочке. Встал и взял партнёра за руку.

Парень в плавках посмотрел на Анатолия, ещё раз сплюнул, и они скрылись в кустах.

Когда Анатолий выбрался из зарослей и увидел весёлые лица, услышал смех, ему стало так досадно и нехорошо, что он прикрыл ладонью лицо и крепко сжал пальцы; под большим и указательным мягко бился под кожей пульс.

— Что с тобой? — спросила Женя.

И тогда он вспомнил о ней, опустил ладонь и посмотрел на неё. После нескольких секунд темноты свет больно резал глаза, лицо её расплывалось, и он подумал: “Навязалась с самого утра, из-за неё весь день пошёл под откос … Какой глупый выходной!”

— Вы сошлись характерами, — рассмеялась Лариса. — Падаете в обморок по графику.

“И подруга у неё дура, — с неожиданной, пугающей его самого злобой подумал Анатолий. — Навязались две дуры, что с ними делать?”

Он повернулся и быстро пошёл к пляжу, сошёл

с выложенной плитами дорожки и в туфлях заковылял по горячему песку.

— Сначала он мне понравился, — сказала Лариса, — а теперь я вижу: это не мужчина. Мужчина должен быть весёлый, а у него какие-то переживания. Зачем тебе в твои семнадцать лет переживания?

— Ты ничего не понимаешь, — тихо сказала Женя. — Ты такая же глупая, как и я. Обе мы с тобой глупые, глупые.

— Ты не глупая, — сказала Лариса, — ты ненормальная. Ты знаешь, что такое мужчина? Я уже давно люблю только незнакомых мужчин.

Женя тоже сошла с дорожки и заковыляла по горячему песку.

— Бежишь за ним, как собачка, — сердито говорила Лариса. Она сняла босоножки и шла по песку босиком. — Посмотри на него — ему ведь сто лет, у него же спина кривая.

Анатолий подошёл к каким-то ребятам — очевидно, они окликнули его. Присел рядом.

— А мы пойдём под двенадцатый грибок, — сказала Лариса, — там всегда знакомая шарашка.

Но Женя всё шла и шла, не оглядываясь на Ларису и не слушая её. Она остановилась в нескольких шагах от Анатолия и тоже присела на песок.

Ребят было трое, и когда Анатолий снял рубашку, то оказался среди них самым незагорелым. Блондин с красивой спортивной фигурой, лёжа на спине, грыз неспелую грушу. Рядом сидел костлявый, уже немолодой парень, грудь у него была впалая, плохо развитая, а кисти рук тяжёлые и большие. Третий был бритоголовый мальчишка, он что-то втолковывал Анатолию, жестикулировал.

Женя подошла ещё ближе, стащила сарафан и поправила узенькие трусики. Мальчишка глянул на неё, верхние зубы у него были металлические, и рот поблёскивал, как лезвие ножа.

— Хотите к нам, мамочки? — спросил мальчишка.

— Это со мной, — сказал Анатолий.

У Жени были хорошие ноги, а чёрные трусики крепко обтягивали бёдра.

“Я свинья, — подумал Анатолий, — как я нравлюсь этой красивой молоденькой девочке, такая свинья?”

Он встал, подошёл к Жене, положил руку ей на плечо и сказал:

— Пойдём окунёмся.

Женя послушно пошла с ним рядом. Она подняла ресницы, посмотрела Анатолию в лицо, и он

вдруг чего-то испугался, побежал к воде, потащил за собой Женю и шумно окунул её несколько раз. Женя вынырнула, смеясь, хлопнула ладонью по воде так, что брызги полетели на Анатолия, и поплыла, загребая одной рукой.

Они выбрались из прибрежной полосы, где вода была жёлтой, взбаламученной, и поплыли к середине — к бакенам между островом и набережной. Анатолий нагнал её, схватил под водой, провёл пальцами вдоль скользкого тела.

— Не надо, — сказала Женя тихим сдавленным голосом, — просто обними меня. Мне сейчас так хорошо.

Перед ними покачивалась набережная с трамваями, с зелёными обрывистыми склонами, а за спиной шумел пляж, и Жене захотелось вытянуть ноги, закрыть глаза и долго лежать так на воде.

Анатолий тоже молчал, лицо у него сейчас было обмякшим, усталым, и, когда Женя прикоснулась мокрой ладонью к его волосам, он повернул к ней голову и как-то беспомощно улыбнулся.

Появился спасательный катер, и оттуда закричали в мегафон, чтобы они плыли к пляжу.

— Я тебя возьму на буксир.

Женя легла на спину, а Анатолий поплыл, придерживая её снизу.

Когда они подошли к ребятам, бритоголовый мальчишка спросил у Анатолия:

— Как успехи, министр Чмо? — И блеснул своей металлической улыбкой, а Жене он протянул руку и сказал: — Дядя Юра. — И добавил: — Почему у вас подруга такая стеснительная?

Лариса по-прежнему сидела в стороне, не раздеваясь. Женя забыла о ней. Женя вообще обо всём забыла. Она только теперь как бы проснулась, увидела пляж, коричневые тела и Ларису, одиноко сидящую на песке. Она быстро подошла к ней, поцеловала и сказала шёпотом:

— Не надо дуться, Ларочка. Я глупая и паршивая, но мне сейчас так хорошо.

— Кто этот блондин с красивой фигурой? — спросила Лариса.

Девушки подошли, и блондин с красивой фигурой, не вставая и глядя в другую сторону, поднял руку и щёлкнул пальцами, а костлявый едва заметно кивнул.

— Ох и охота мне дать какому-нибудь стиляге по организму, — сказал Юрка и зевнул сладко и мечтательно.

— Вы блатной? — серьёзно спросила Лариса.

— Он голодный, — отозвался блондин.

— Тебя Иван искал, — сказал костлявый Анато-

лию. — Он к тебе утром домой заезжал.

— Зачем? — спросил Анатолий.

— Не знаю, — ответил костлявый. — Наверное, дело есть. Пойдём в тенёк, там наши заводские.

Ребята поднялись и начали собирать вещи.

— Куда это вы? — спросила Лариса.

— Пойдём в тень, — сказала Женя.

Лариса сняла сарафан, сложила его в целлофановый мешочек, придвинула ногой босоножки и легла поудобней, лицом к низкому вечернему солнцу.

— Ты остаёшься? — спросила Женя.

Лариса приподнялась на локте, посмотрела вслед Анатолию и сказала:

— Иди, иди, догоняй …

“Какая Лариска всё-таки противная, — подумала Женя. — Ещё подруга называется! А может, она ревнует? Ну, ясное дело — Толька у меня красавчик. Она сама говорила, что он красивый мужчина. Насчёт кривой спины — это она от ревности. Пусть посмотрит на своих мальчиков. Муж у неё был … Господи, муж!.. Гришка-пачкун. В пионерском лагере его специально поднимал дежурный, чтоб он не пачкал постель”. Женя улыбнулась, догнала Анатолия и вдруг спросила:

— Толя, ты когда первый раз целовался?

Анатолий оглянулся на неё и ничего не ответил.

— А меня первый раз в четырнадцать лет поцеловали, — сказала Женя и улыбнулась. — Парень возле нас жил, сосед. Он меня под Новый год встретил в подъезде и спрашивает: “Знаешь, как мужчины женщин с праздником поздравляют?” — и поцеловал. Я вернулась домой, хожу по комнатам и плачу … А потом как он меня целовал, ох, как он меня целовал …

— Ты что? — сказал Анатолий и остановился. — Что это ты завелась?

— Ты не ревнуй, — сказала Женя и рассмеялась. — Он мне надоел через два дня, я его прогнала. Он был тупой как чурбан. И противный. Книжки мне давал старорежимные, там про мужчин и женщин разные глупости красным карандашом подчёркнуты. А потом я увидела тебя. Я тебя с четырнадцати лет полюбила, с шестого класса.

За полосой пляжа был парк, где под кустами кидались в картишки или просто лежали, отдыхая от зноя, а на полянах играли в волейбол.

— Эй вы, брамапутры! — крикнул кто-то сзади. И из-под куста появился парень в майке-тельняшке и в длинных трусах. — Рубильник передавал,

в бригаде заказ срочный.

— Срочный, — сердито сказал блондин. — Двери для клозетов в самолёты.

— Чем ты недоволен, кошечка? — ухмыльнулся парень в тельняшке.

— Пошёл ты … — дёрнулся блондин, посмотрел на Женю и добавил: — Вокруг Китая босиком.

— Где Иван? — спросил костлявый.

— Пиво пьёт, — сказал парень в тельняшке.

Он оглянулся на Анатолия.

— Привет, министр Чмо, — сказал он. — Пошли, пошли. Иван тебя сегодня по всему городу ищет.

— Посиди, я сейчас, — сказал Анатолий и пошёл вслед за парнем в тельняшке.

Женя начала смотреть Анатолию в спину. Он должен был почувствовать её взгляд и обернуться. Она загадала: если он обернётся на счёте до десяти, у них через год родится мальчик. Она считала медленно, делая передышки, и сердце её колотилось, а уши и щёки стали горячими. Она досчитала до шестнадцати, но он так и не обернулся — скрылся в кустах, и тогда она шёпотом сказала сама себе: “Дура, глупая дура, всё это бабские сказки” — и присела на траву. “Как смешно они его зовут — министр Чмо. Почему министр? Наверно, они хорошие ребята, но, когда

Толя поступит в институт, у него появятся новые знакомые. Толя обязательно заочно поступит в институт. Его бывшей жене было наплевать, лишь бы он приносил зарплату, а у меня он пойдёт учиться, мне нужен инженер".

Появился парень в тельняшке и о чём-то начал шептаться с ребятами, а потом начал рыться в куче одежды.

— Это мои брюки, — сказал блондин. — Его вон те, полосатые.

Парень собрал одежду Анатолия, мельком глянул на Женю, усмехнулся и пошёл к кустам.

— Вы это зачем? — спросила Женя.

Парень опять мельком глянул на Женю и сказал ребятам:

— А Иван сейчас придёт ...

И тогда Женя вскочила и крикнула так громко, что испугалась собственного крика:

— Я сейчас пойду в пляжную милицию!

Парень в тельняшке и Юрка захохотали, блондин улыбнулся, а костлявый хмуро посмотрел и как-то странно хмыкнул.

— Надо бежать, — сказал парень в тельняшке, — а то ещё арестуют. — И шагнул в кусты.

— Тебя разыгрывают, мамочка, — сказал Юрка и блеснул металлической улыбкой. — Всё будет

в порядке, не волнуйся, вон Иван идёт. Сейчас Иван наведёт здесь порядок.

— Охотно, — сказал Иван и присел рядом с ребятами. — Верка ж понт пустила, что уехала на Урал к матери. Она ж у Надьки жила всё время. У Надьки из первого цеха. Двух хахалей завела. С одним утром гуляет, с другим вечером, а ночью ревёт как корова.

— И министр Чмо тоже завёл себе пупочку, — сказал Юрка.

— Тихо, имей совесть, — сказал костлявый и посмотрел на Женю.

— Что у них за жизнь? — сказал Иван. — Что они за люди, не пойму. Чтоб меня моя законная так любила, как Верка его любит, — больше ничего не надо. Что ещё надо? Чтоб быть здоровым, чтоб хорошо зарабатывать, чтоб баба любила. Что же ещё надо?

Иван сплюнул и ухмыльнулся.

— Я ему про Верку сказал, смотрю, стоит и трясётся. А поживут, поживут — и опять начинается. Или кто-то путается между ними?

— Девушка, — сказал костлявый, — Толька уже сюда не вернётся, он на электричку пошёл.

— Привёл девчонку и бросил, — пожал плечами блондин. — Тоже кусок оглобли.

— Он забыл про всё на свете, — сказал Иван. — Смотрю, стоит и трясётся.

Женя натянула сарафан и надела сандалеты. На левой ноге, там, где была воспалённая кожа, теперь вздулся волдырь, и она прижала его пальцем. Волдырь щемил и побаливал, но не очень, просто было неудобно ходить. В зарослях под ногами что-то трещало, по лицу скользила паутина, потом правая рука Жени наткнулась на клейкую гадость на листьях, а потом сразу обе ладони напоролись на колючий куст.

Женя выбралась из зарослей к пляжу, по-прежнему очень жаркому и пёстрому, и пошла до конца длинной, косой и острой тени пляжной раздевалки, обходя загорающих.

— Я хочу вишен, — капризно сказала невидимая девушка за спиной.

И Женя представила себе эту девушку черноглазой и кудрявой, но не оглянулась на неё, а через пару шагов и вовсе о ней забыла. Чуть подальше бренчала гитара, и кто-то сказал:

— Пальцы у меня простуженные. Кровельщиком когда работал, простудил. Мне б такие пальцы, как у Мишки. Для гитары это главное …

— А море осталось на даче? — спросил детский голос, и несколько человек рассмеялись.

— Он мне говорит: раздевайся, — сказал женский шепоток, но довольно громкий, — а я ему говорю: мне не жарко …

Женя посмотрела в сторону шепотка и увидела двух толстых, некрасивых и пожилых женщин, они сидели на дощатом помосте, опустив ноги в воду; оказывается, Женя пересекла пляж и стояла у самой воды, а острая тень пляжной раздевалки осталась далеко позади. У обеих женщин лица были густо намазаны желтоватым кремом, а животы провисали, и Женя с испугом подумала, что может заплакать прямо при этих женщинах, и торопливо пошла вдоль воды по направлению к мосту. Однако всюду купались, резвились, мелькали лица, слышался смех, и Женя начала уставать. У неё в изнеможении дрожали колени, словно под тяжестью, которую некуда сбросить. Наконец она увидела лодку, причаленную к берегу, и поняла, что всё это время, с тех пор как вышла из зарослей, искала пустую одинокую лодку.

— Хотите покататься? — спросил Женю сероглазый парень. Парень был симпатичный, хорошо загорелый, и шея его была красиво повязана шёлковой цветной косынкой.

— Я немного сама, ладно? — сказала Женя. — Я

немного сама покатаюсь.

Парень улыбнулся, у него была хорошая улыбка, помог Жене просунуть вёсла в уключины и оттолкнул лодку от берега.

— Только вы недолго, — сказал он. — Тут целая компания должна прийти.

Женя выгребла на середину, но всё ещё не могла заплакать, потому что вокруг сновало много лодок и по-прежнему был этот вечный, очень жаркий день. Она переехала тень моста, потом проехала под мостом, по которому текли навстречу друг другу два людских потока, проехала мимо ресторана “Поплавок”, оживлённого, со спасательными кругами вдоль открытой залы-палубы, и гребла до тех пор, пока вдали не показались портальные краны речного порта, а чуть в стороне от них — серые башни мукомольного комбината. Здесь она причалила к левому берегу, обрывистому и пустому, вылезла на мокрый песок, посмотрела на свои горячие ладони и начала карабкаться по обрыву, цепляясь за молодые деревца, дико растущие здесь вкривь и вкось.

— А как же лодка? — сказала вслух Женя, остановившись и присев передохнуть. — А как же парень?

Но всё это осталось далеко внизу, и не было уже никаких сил вернуться к лодке, тем более привести её назад, к пляжу. Женя легла на спину. Лежать было неудобно, приходилось держаться за какие-то корни, за траву, чтоб не скатиться, и всё же Женя немножко отдохнула, прикрыла глаза, а когда подняла веки, день продолжался и она одиноко лежала под этим жарким днём, распростёртая на обрыве. Стемнело сразу; впрочем, темнело постепенно, но Женя ощутила это сразу, после того как от земли потянуло холодом. Позднее она сидела на скамейке, но это было уже в другом месте. Перед ней была маленькая площадь и поблёскивали трамвайные рельсы, а как она выбралась на вершину обрыва и как пришла сюда — не помнила. Заплакала она неожиданно и плакала недолго. Ей теперь вовсе не хотелось плакать, а хотелось сидеть, запрокинув голову на спинку скамьи, но сидела она тоже недолго, встала и пошла вдоль поблёскивающих трамвайных рельсов.

— Куда ж это я? — спросила Женя вслух, когда рельсы свернули вокруг клумбы на конечной остановке. — Пора домой … Мне пора домой, спать.

Она пошла домой, но оказалась возле дома

Ларисы и вошла в сводчатый проход. Ей открыл какой-то незнакомый парень с грудой грязных тарелок.

— Где Лариса? — спросила Женя.

Лариса появилась из столовой, сразу засуетилась, обожгла Женю сигаретой, которую держала в руке, поцеловала обожжённое место и сказала:

— Пойдём в мою комнату. Тебе надо переодеться.

В Ларисиной комнате было тихо, уютно, гномик по-прежнему скакал на осле, Женя села, с хрустом выпрямила спину и сказала:

— Он уехал.

— Я тебя ни о чём не спрашиваю, — сказала Лариса. — Тебе надо переодеться и отдохнуть. Между прочим, у меня было целое сборище, недавно разошлись. Видала этого парня с тарелками? Он, между прочим, гений. Только ты не подумай чего-нибудь. Просто он мне остался помочь.

Она вдруг увидела Женины ладони, задравшуюся кожу, липкие красноватые ранки на пальцах.

— Что с тобой? — спросила она испуганно. — Чем это ты?

— Это не важно, — сказала Женя. — Вытащи занозы. Я напоролась на колючки.

— Ты можешь на него плюнуть? — спросила Лариса. — Нет, ты мне прямо скажи, если тебе приспичило выйти замуж, я сосватаю.

— Я уже на него плюнула, — сказала Женя. — А замуж я никогда не выйду.

— Тише, — сказала Лариса, — не будь дурочкой. Я сейчас тебе вытащу занозы и смажу зелёнкой ранки … Ты потерпи.

“Всё-таки Лариса — моя самая лучшая подруга, — подумала Женя, — моя самая золотая, самая любимая подруга”. Женя надела Ларискино голубенькое платье, скользкая материя приятно холодила кожу, надела Ларискины туфли на шпильках, они были чуть великоваты, и волдырь на пятке Женя обложила ватой. Потом она умыла лицо, а Лариса брызнула на неё духами, причесала и слегка коснулась её губ пахучей светлой помадой.

— Всё в порядке, — сказала Лариса. — Когда Гришка, законный мой супруг, улепетнул, меня вернули к жизни эти самые духи и эта самая помада.

Женя пошла вслед за Ларисой в столовую и невольно остановилась на пороге. Синий сигаретный туман колыхался в духоте, медленно выползая в окно.

— Сашуня, — сказала Лариса в туман, — познакомься. Между прочим, она только-только пережила душевную драму.

— Забавно, — откликнулись из тумана. — Надеюсь, драма не любовная?

— Любовная, — сказала Женя. — Но я уже на неё наплевала.

— Любовная драма — это пошло, — вещал голос из тумана, — это девятнадцатый век. Вы читали роман Алексея Ремизова “Часы”?

— Кажется, читала, — сказала Женя. — Он печатался в “Юности”?

В тумане засмеялись, а Лариса незаметно дёрнула Женю за руку и шепнула:

— Перестань болтать … Лучше молчи.

— Вы меня заинтересовали, — сказал человек-невидимка, перестав смеяться. — Чего вы встали на пороге? Хотите, поговорим, поразмышляем?

Женя шагнула в глубину тумана и увидела “невидимку”, у него был продолговатый череп, мохнатые брови, небритые худые щёки, и на его несвежем лице коралловые, совсем девичьи губки казались прилепленными не к месту, чужими.

Вскоре Женя и Сашуня уже сидели в стороне за низким, в шахматную клетку столиком и он

говорил, покусывая яблоко:

— Сейчас, полстолетия спустя, Ремизов как никогда современен. “Часы” — это гениально, это ещё оценят через сто лет, если будут тогда существовать мыслящие существа … Вертятся, визжат и несутся ведьмы и бесы жизни … Хотите яблоко?

— Нет, — сказала Женя. — Вы рассказывайте, мне очень интересно.

Сашуня придвинулся совсем близко.

— У старика завелись в голове тараканы, — сказал он. — И шуршат там целыми днями и просовывают сквозь его глаза свои тараканьи усы. И как спастись от тараканов?

Женя почувствовала: под столиком колено Сашуни нащупывает её колено, — но не посмела отодвинуться, сидела неподвижно.

— И снится старику, что у него вместо ног — окурки, — говорил Сашуня, — и он лезет в пасть граммофону. И нос у него кривой, и он чувствует этот нос как рану — и как спастись от своего носа? Как спастись? Вот вопрос, который мучает литературу. Тебе интересно слушать?

Их колени касались, были крепко прижаты друг к другу, и можно было переходить на “ты”.

— Интересно, — сказала Женя. — Когда я по-

меньше была, совсем маленькая, мы жили в Монголии, мой отец там работал … Вернее, отчим. И у меня была нянька, мы привезли её с собой … Я любила, когда она про домовых рассказывала. Ты говори, мне и вправду очень интересно.

— Ты как невспаханная целина, — сказал Сашуня, — но ты пережила любовную драму. Он, конечно, обещал жениться … В общем, стандарт. Это может искалечить нетронутую индивидуальность.

— Не надо об этом, — сказала Женя, чувствуя, как сердце её дёрнулось. — Я уже на эту драму наплевала. — Она вдруг всхлипнула и побежала из комнаты, налетая в едком тумане на стулья.

— Я тебя предупреждала: помалкивай, — сказала Лариса, проходя вслед за Женей в переднюю. — Я тебе дам сейчас свой халатик или, хочешь, дам пижаму? Ты приляг в моей комнате, отдохни.

Женя переоделась, легла на тахту и, закрыв глаза, слушала, как за стеной бубнят голоса. Когда она проснулась, за стеной было тихо, а Лариса спала рядом, на тахте. Женя села, и Лариса тоже проснулась, открыла глаза.

— Который час? — спросила Лариса.

— Уже рассветает, — сказала Женя. — Я, наверно, пойду домой.

— Не будь дурой, — сказала Лариса. — Сделала пересадку — спи дальше … А между прочим, ночью ты меня так крепко обнимала … Твоему мужу можно позавидовать.

— Бесстыдница, — сказала Женя. — Какая ты, Ларка, бесстыдница.

Они схватились и, визжа, начали бороться, пока вместе не упали на пол.

— Тише, — смеясь, сказала Лариса. — Мы разбудим Сашуню. Между прочим, ты ему понравилась. Это очень умный парень, он обязательно будет знаменит … Пошли умываться.

Посреди кухни на табурете сидел Сашуня и гладил кошку, изредка прикасаясь к её носу.

— Почему так рано, Сашуня? — спросила Лариса.

— Я не ложился, у меня бессонница, — сказал Сашуня и кивнул Жене.

Женя наскоро умылась, отказалась от кофе, чмокнула Ларису и пошла домой. Сашуня пошёл её провожать. Капал редкий тёплый дождик, неизвестно откуда, потому что небо было в блеклых рассветных звёздах. Сашуня шёл рядом, прикасался то к плечу Жени, то к её спине, то к локтю и говорил, подёргивая коралловыми губками:

— Желание есть самая сущность человека. Это сформулировал Спиноза в теореме номер пятьдесят. Ощущение весёлости, приятности, меланхолии и боли он отнёс не к душе, а к телу …

Сашуня казался гораздо моложе, чем ночью, среди синего сигаретного тумана. Ему было лет двадцать, а может, и девятнадцать, и его слегка пошатывало, наверно от рассветного воздуха.

— Ты любишь смеяться на завтрак? — спросил он Женю и побежал к разрытой канализационной траншее.

У траншеи лежали громадные, в два обхвата, отрезки цементных труб. Сашуня подпёр плечом одну из труб и крикнул какому-то идущему навстречу парню:

— Эй, давай сюда, быстрей сюда!

У парня было круглое лицо, выгоревшие на солнце брови и волосы, и когда он прыгал через канаву, то уронил свёрток — помидоры, колбаса и хлеб ляпнулись в мокрую глину на дне канавы.

— Ты чего? — спросил парень.

— Держи! — крикнул Сашуня. — Держи, катится!

Парень пригнулся и тоже упёрся плечом в трубу.

— Удержишь? — спросил Сашуня. — Держи, мы

за подпорками сбегаем. — Сашуня схватил Женю за руку и поволок её в сторону. Добежав до угла, они выглянули. Парень по-прежнему усердно подпирал трубу.

— Туземец, — сказал Сашуня, вытирая мокрые от смеха глаза.

Они медленно пошли дальше, и Сашуня сказал:

— Поговорим про твою любовную драму,

— Зачем? — сказала Женя. — Я ведь на неё наплевала.

— Идти навстречу своим желаниям — это главное, — сказал Сашуня и коснулся Жениных волос.

— Не надо, — сказала Женя.

— Не будь дикой, — сказал Сашуня. — Удовлетворить естественное желание — единственная возможность человека отомстить проклятой жизни … Особенно в атомный век … Жизнь — это тюрьма … “Мы пленённые звери, голосим, как умеем, глухо заперты двери, мы открыть их не смеем …” Это “Пламенный круг” Фёдора Сологуба.

Сашуня увлёкся Сологубом и не заметил круглолицего парня, выбежавшего из-за угла.

— Ах ты шакал! — крикнул парень и схватил

Сашуню за ворот рубашки.

Сашуня сразу побледнел, начал отбиваться руками и крикнул:

— Ты чего, друг ... брось, друг ... это был юмор, друг!

— Ах ты гадюка! — крикнул парень и замахнулся. — Ах ты кость моржовая! — И двинул Сашуню ногой под зад.

Сашуня понёсся, прогнувшись, грудь колесом, так что ветер засвистел в ушах, пока не ухватился за подпорку телеграфного столба.

— Туземец! — крикнул он. — Сволочь!..

Парень рванулся к нему, и Сашуня побежал дальше. Он встретил Женю в самом конце улицы.

— Сволочи! — сказал он. — Неорганические существа. — Он хотел ещё что-то добавить, наверно выругаться, но вдруг прижал локоть к рёбрам и притих. Лицо его исказилось. — В этом вся суть, — сказал он. — В девятнадцать лет вместо трудовой грыжи — нетрудовой порок сердца ...

— Я уже пришла, — сказала Женя.

— Я знаю, — нервной скороговоркой бормотал Сашуня. — Такие смазливенькие, как ты, в парне ума не ищут, а больше интересуются силой и полновесностью корпуса ... Любовная драма у

тебя, конечно, была с каким-нибудь туземцем?

— Я здесь живу, — повторила Женя и вошла в подъезд, выложенный изнутри белыми и синими кафельными плитками.

Сашуня вошёл следом, схватил её и попытался поцеловать, но Женя крутнула головой, и губы Сашуни только скользнули по её щеке.

— А ты дикарка, — сказал Сашуня, тяжело дыша. — Совсем необразованная. Я тебе книгу дам — строго научная, медицинская, о взаимоотношении полов. Называется “Мужчина и женщина”.

— Я уже читала эту книгу, — сказала Женя, — в четырнадцать лет. — Она оттолкнула Сашуню и пошла вверх по лестнице.

— Когда мы увидимся? — спросил Сашуня.

— Никогда, — сказала Женя. — Я выхожу замуж. Я решила помириться со своим женихом.

— Мещанка! — крикнул Сашуня. — Пошлая самка!

— А ты козёл, — сказала Женя и показала ему сверху язык. — Умника из себя корчит. Я всем расскажу, как тебе дали пинка … по твоей физиономии.

Женя остановилась на лестничной площадке, перед дверьми, в которые она входила тем далёким жарким днём, оставшимся внизу, под

обрывом. Было тихо. Откуда-то сверху проникал свет, на лестничной площадке были неясные сумерки, и Женя подумала, что, наверное, у неё сейчас щёки и лоб зеленоватые.

— Я дура, — сказала Женя вслух. — Ребята на пляже меня просто разыграли. Тот парень со вставными зубами ведь предупредил меня, что это розыгрыш, а я обиделась и ушла, как дура. Толя вернулся, а меня нету ... Мой длинненький, — говорила она, глядя на дверь. — Мой старенький, с кривой спинкой ... Мы помиримся. Я молодая, я ещё долго буду молодой. Хочешь, я дам тебе всё, днём я испугалась, но сейчас я отдам тебе всё. Ты поступишь в институт, и я тоже пойду учиться, а если ты не захочешь, я не пойду учиться. Я научусь хорошо варить ... Через год у нас родится мальчик ... Мы помиримся, и я больше не буду дурочкой ...

Она подошла к двери и позвонила. Подождала немного, снова позвонила и нетерпеливо несколько раз ударила в дверь кулаком. Когда открылась дверь, Женя в первый момент увидела одного Анатолия, хоть он стоял за спиной женщины в халате, он был не просто бледен — он весь был неживой, и пижама его была застёгнута лишь под горлом, на верхнюю пуговицу. Женя

медленно отошла на мягких, ступающих по воздуху ногах, потом посмотрела на женщину, и вдруг что-то стиснуло поясницу и ребра, стало трудно дышать, и голова наполнилась горячим звоном.

— Старая уродина! — крикнула Женя. — Старая облезлая кобыла … Я тебя ненавижу!

— Я ей сейчас зубы выбью, — сказал Анатолий. — Тварь паршивая, прицепилась как репейник …

Он рванулся к Жене, но женщина в халате оттолкнула его назад и прижала дверь спиной. Они стояли друг против друга на лестничной площадке. У женщины под глазами были синие круги, а на ногах у неё были шлёпанцы, отороченные мехом. Левый спереди протёрся, и виднелся большой палец.

— Тебе шестнадцать лет? — спросила женщина.

— Мне семнадцать лет, — заносчиво ответила Женя. — И вообще, это не ваше дело. При вас я не заплачу, можете не надеяться.

Но слёзы уже текли по её щекам, не было никаких сил остановить эти слёзы.

— Где ты живёшь? — спросила женщина.

— Это не ваше дело, — всхлипывая, говорила

Женя. — Идите к своему паршивому мужу с кривой спиной … а в следующее воскресенье поедете на кладбище проведать его бабушку … А я поеду на пляж.

Женя опустилась на несколько ступенек, прижалась к перилам и крикнула:

— Я с ним целовалась … и спала с ним! Можете радоваться … Вот вам … А теперь он мне не нужен. У меня есть блондин с красивой фигурой, чемпион по боксу. — Спазм снова сжал ей горло, и Женя вся затряслась, сильно всхлипывая и облизывая солёные губы.

Женщина посмотрела на неё и неожиданно как-то странно улыбнулась.

— Я тебе завидую, — тихо сказала женщина, — у меня никогда такого не было. Я никогда так не могла …

Женщина постояла некоторое время молча и ушла, захлопнув двери. Гулкий короткий звук давно утих, но Женя ещё долго слышала его. Сначала скрип петель, потом щелчок.

Улица была полна рассветным дождём. Он хлопал по листьям, гнал по желобам кучки мусора. Женя глотнула сырой воздух и вновь почувствовала себя лёгкой и слабой, как в жаркий день, оставшийся под обрывом, в жаркий день, когда

она стояла высоко на мосту, над далёкой водой и над пёстрым пляжем. Она иногда испытывала это состояние, лёжа в постели перед тем как заснуть. Ей нравилось, когда перед сном приходила такая слабость. Она даже научилась вызывать её искусственно. Надо было плотно закрыть глаза и дышать глубоко и часто, а ноги не должны были касаться спинки кровати. Женя прижалась к дереву. Мокрый ствол дерева гудел и покачивался, а затылок у Жени побаливал, наверно, она некоторое время стояла запрокинув голову.

— Вот и утро, — сказала вдруг Женя и удивилась своему обыденному, с утренней хрипотцой голосу. — Соседи, наверно, расскажут маме, что я гуляла по ночам с мужчинами. Как глупо, даже смешно. — Она поправила тыльной стороной ладони волосы и сказала: — Ничего, он ещё пожалеет. У меня будет красивый муж — блондин со стройной спиной. Или вообще не будет мужа. Все они дураки … Лариса права, надо любить только незнакомых мужчин … а Толька — дурак паршивый, когда он кричит, то похож на злого енота, глупый какой дурачок … Ослик мохнатый …

Она шла под дождём, говорила и осторожно вялыми руками поправляла мокрые волосы. Потом дождь кончился и всё вокруг высохло, стало по-

вчерашнему ярко-белым. Проехала поливальная машина. От асфальта поднимался пар, асфальт высыхал сразу же, за задними колёсами машины. Начиналась жара.

Утром, в восемь часов, было уже жарко, как в полдень ...

1963

И тело мне ответило моё,
Простое тело, но с горячей кровью:
“Не знаю я, что значит бытие,
Хотя и знаю, что зовут любовью …”

Николай Гумилёв

Об авторах

Василий Авченко

Писатель и журналист, живёт во Владивостоке. Автор документальных книг “Кристалл в прозрачной оправе”, “Дальний Восток: иероглиф пространства”, “Красное небо”. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем”, а также биографий Олега Куваева (в соавторстве с Алексеем Коровашко) и Александра Фадеева. Стремительно загорает даже на полувыключенном солнце.

Александр Архангельский

Прозаик, историк литературы, телеведущий. Лауреат премии “Большая книга”. Автор романов “Бюро проверки” и “Музей революции”, серии книг “Счастливая жизнь” (Теодор Шанин, Жорж Нива, Инна Ли). Часто описывает запахи, но с 18 лет после операции лишился обоняния, и только недавно оно вернулось.

Даша Благова

Прозаик, редактор, продюсер подкастов, автор романов “Южный Ветер” и “Течения”; помогала людям с психическими особенностями делать радио “Зазеркалье”. Есть три татуировки, две из них — парные. Первую делала вместе с мамой, вторую — с мужем. Третья татуировка есть только у Даши, она посвящена роману “Южный Ветер”.

“Родинка” — фрагмент из романа Даши Благовой “Течения” (Москва: Альпина. Проза, 2024).

Вера Богданова

Прозаик, переводчик, литературный обозреватель. Автор романов “Павел Чжан и прочие речные твари”, “Сезон отравленных плодов” и “Семь способов засолки душ”. Лауреат “Московской Арт Премии”. Чихает от шампанского и плохих новостей.

Ольга Брейнингер

PhD, писатель, литературный антрополог, переводчик. Автор книг “В Советском Союзе не было аддерола” и “Visitation”. Считает, что “жизнь”

и “текст” — синонимы, а счастье заключается в преодолении возможностей и ограничений собственного тела. Училась “ломать” границы телесного через перформативные практики в Институте Марины Абрамович — и, возможно, чему-то научилась. Или просто вернулась другим человеком (правда, всё в том же теле).

Юрий Буйда

Прозаик. Автор романов “Дар речи”, “Сады Виверны”, “Пятое царство”, “Вор, шпион и убийца” и других. Лауреат премии “Большая книга”, финалист “Русского Букера”. Однажды топором изувечил левую руку, поэтому весь роман “Пятое царство” был написан одной правой.

Тимур Валитов

Прозаик, автор романа “Угловая комната”. Выпускник магистерской программы “Литературное мастерство” НИУ ВШЭ. Лауреат премии журнала “Знамя”, дважды финалист премии “Лицей”. Рассказы переводились на немецкий и болгарский языки. Очень любит лечить зубы. Настолько расслабляется от звука бормашины, что может заснуть.

Алексей Варламов

Прозаик, филолог, автор романов “Одсун”, “Душа моя Павел”, “Мысленный волк”, а также биографий русских писателей XX века. Лауреат премий “Антибукер”, “Большая книга”, “Студенческий Букер” и Литературной премии Александра Солженицына. С детства был слегка косолап.

Дмитрий Воденников

Поэт, эссеист. Автор пятнадцати книг, в том числе “Воденников в прозе”, “Приснившиеся люди”, “Бессмертная стрекоза”. Ведущий программы “Поэтический минимум” на “Радио Культура”. Считает, что тело похоже на цветок: растёт, привлекает, лжёт, увядает.

Евгений Водолазкин

Прозаик, филолог. Автор романов “Лавр”, “Авиатор”, “Соловьёв и Ларионов”, “Чагин” и других. Лауреат премий “Большая книга”, “Ясная Поляна” и Литературной премии Александра Солженицына. С недавнего времени — обладатель двух

искусственных хрусталиков, сделавших его писательский взгляд ещё более зорким.

Ася Володина

Прозаик, филолог, преподаватель эстонского языка. Автор романов “Протагонист”, “Часть картины” и “Цикады”. Лауреат Премии Художественного театра и “Московской Арт Премии”. В феврале 2023-го, уже после написания “Безымянного”, первый раз в жизни получила перелом. Сломала безымянный палец правой руки, обручальное кольцо пришлось срезать в травмпункте.

Арсений Гончуков

Писатель, режиссёр и сценарист, шоураннер. Автор романа в новеллах “Доказательство человека”. Похудел на 30 кг — сам, без диет и методик, просто нашёл общий язык с телом.

Алла Горбунова

Поэт, прозаик. Автор книг “Вещи и ущи”, “Конец света, моя любовь”, “Другая материя”, “Лето”, “Ваша жестянка сломалась”. Лауреат премий

“НОС”, “Дебют” и Премии Андрея Белого.

“Знаю такое состояние, когда тело для меня это Душа, лёгкость, полёт. А если тело вдруг просто тело — это странное. Тогда я на него смотрю, как бы отдельно от него, и мне не по себе”.

ОВ

Автор романов (“Место”, “Псалом”, “Искупление”), повестей (“Ступени”, “Чок-Чок”, “Улица Красных Зорь”), пьес и сценариев (“Солярис”, “Раба любви”). Обладал редким даром чувственного перевоплощения в мужчин и женщин всех возрастов. Травма, полученная во время работы в шахте, также была творчески перевоплощена в героя одной из лучших его вещей — мини-романа “Попутчики”.

Дмитрий Данилов

Прозаик, поэт, драматург. Лауреат “Ясной Поляны” и “Московской Арт Премии” (роман “Саша, привет!”), а также “Золотой Маски” (пьеса “Человек из Подольска”). Видит одним глазом радикально хуже, чем другим. Носит на себе много лишнего веса. Как ни странно, очень устойчив к холоду.

Евгения Двоскина

Художник, книжный график. Проиллюстрировала множество детских книг, среди которых “Дневник Фокса Микки” Саши Чёрного, “Приключения барона Мюнхгаузена” Р.Э. Распе, повести Астрид Линдгрен и другие. Правша.

Вероника Дмитриева

Редактор, преподаватель (“Creative Writing School”, АСПИР). Сменила несколько размеров одежды, пока собирала “Тело: у каждого своё”.

Ася Долина

Писательница, блогер и коуч, автор книги “У него ко мне был Нью-Йорк”. Мгновенно примиряется с действительностью, если почесать ей спину кончиками пальцев.

Денис Драгунский

Прозаик, журналист, автор 24 книг прозы (“Обманщики”, “Дочь любимой женщины”, “Автопортрет неизвестного” и др.) и автобиографического романа “Подлинная жизнь Дениса

Кораблёва”. Живёт с электрокардиостимулятором; между болью и наркозом выбирает боль.

Татьяна Замировская

Прозаик, журналист, блогер. Автор романа “Смерти. net”, сборников “Земля случайных чисел”, “Воробьиная река” и “Жизнь без шума и боли”. Живёт в Нью-Йорке. Мечтает сделать семантически герметичную татуировку, состоящую из даты её нанесения, но панически боится необратимых телесных альтераций, поэтому дарит идею читателям.

Елена Колина

Популярная российская писательница, автор более двадцати книг, среди них “Умница, красавица”, “Сага о бедных Гольдманах”, “Дневник измены”, “Мальчики да девочки”. Многие романы экранизированы. Елену Колину считают основателем жанра “романтическая комедия” и называют “лучшим психологом среди писателей”.

“У меня нет тела, только душа и платье. Я выросла в доме, где телесное было второстепенным, все тела только читали книжки. Должно быть,

поэтому тема «тело» — моя белая обезьяна: не думая о теле, я думаю о теле больше, чем если бы я просто о нём не думала”.

Николай Коляда

Драматург, прозаик, актёр, театральный режиссёр, создатель и художественный руководитель “Коляда-Театра” в Екатеринбурге. В детстве пострадал от удара электричеством и потому — кривой палец на правой руке.

Майя Кучерская

Писатель, академический руководитель магистерской программы “Литературное мастерство” (ВШЭ), художественный руководитель литературных мастерских “Creative Writing School”. Лауреат премии “Большая книга”. Автор книг “Современный патерик”, “Тётя Мотя”, “Плач по уехавшей учительнице рисования” и других. Любит кататься на велосипеде по весенним набережным.

Екатерина Манойло

Писательница, победительница премии “Лицей” (2022). Автор романов “Отец смотрит на

запад” и “Ветер уносит мёртвые листья”. Титановый штифт в ноге, 33 см.

Анна Матвеева

Прозаик, редактор. Автор романов “Каждые сто лет”, “Перевал Дятлова, или Тайна девяти”, “Завидное чувство Веры Стениной”, сборников “Спрятанные реки”, “Лолотта и другие парижские истории”, “Армастан. Я тебя тоже”, документальной дилогии “Картинные девушки” и других книг. Финалист премий “Большая книга” и “Ясная Поляна”. Красавица. 170 см, 55 кг.

Марина Москвина

Прозаик. Автор романов “Крио”, “Роман с Луной”, “Гений безответной любви”, “Дни трепета”, “Три стороны камня”, сборников повестей и рассказов “Между нами только ночь”, “Моя собака любит джаз” и других книг для взрослых и детей, переведённых на множество языков мира. Финалист премии “Ясная Поляна”, обладательница Международного Почетного диплома Андерсена. Черты колоритные, выпуклые: крупный лоб, экспрессивный нос, глаза большие, слегка навыкате, резко очерчены скулы, характерный подбородок,

рельефные ушные раковины. Может, не красавица, но это лицо раз увидишь — не позабудешь никогда …

Евгения Некрасова

Писательница, соосновательница Школы литературных практик. Лауреатка премий “Странник/НОС” и “Лицей”, финалистка премий “Большая книга”, “Национальный бестселлер” и “НОС”. Авторка книг “Калечина-Малечина”, “Кожа”, “Сестромам. О тех, кто будет маяться”, “Домовая любовь”, “Золотинка”. С уважением и вниманием относится к своему телу и принимает все изменения в нём.

Саша Николаенко

Прозаик, художник. Лауреат премий “Ясная Поляна” и “Русский Букер”. Автор романов “Убить Бобрыкина”, “Муравьиный бог: реквием”, “Небесный почтальон Федя Булкин”. Всё, что Саша написала, написано указательным пальцем правой руки.

Елена Посвятовская

Прозаик. Автор романа “Важенка. Портрет самозванки” и сборника “Жила Лиса в избушке”. На левой ступне тату “No fear”.

Алексей Сальников

Прозаик, поэт. Лауреат премий “Большая книга” и “Национальный бестселлер”. Автор романов “Петровы в гриппе и вокруг него”, “Отдел”, “Опосредованно”, “Оккульттрегер”. Сахарный диабет первого типа и искусственные хрусталики.

Григорий Служитель

Прозаик, театральный актёр, певец. Лауреат премии “Большая книга”. Автор романа “Дни Савелия”. Дезориентированный тип привязанности при росте 181 см. Глаза серо-голубые, с чуть заметной грустинкой, волосы рыжие с первыми признаками надвигающейся седины. Обычно говорит лирическим басом, но по утрам голос тяготеет к баритону (некоторые женщины называют его “волнующим”). На тыльной стороне безымянного пальца левой руки есть чуть за-

метное родимое пятно, которое при нажатии бледнеет.

Марина Степнова

Прозаик, сценарист, преподаватель писательского мастерства (ВШЭ, “Creative Writing School”). Лауреат премии “Большая книга”. Автор романов “Сад”, “Женщины Лазаря”, “Безбожный переулок”, “Хирург”, сборника “Где-то под Гроссето”. Почти подружилась со своей дисморфофобией.

Татьяна Стоянова

Поэт, куратор литературных проектов и культурных событий. Автор поэтических сборников “Матрёшка” и “Контур тела”. Посадила дерево жизни на спине, теперь оно прорастает сквозь тело и тянется к солнцу.

Стихотворения из подборки “По контуру тела” впервые опубликованы в книге “Контур тела” (Москва: Эксмо: Inspiria, 2023).

Татьяна Толстая

Прозаик, эссеист. Лауреат премии “Тэфи” за передачу “Школа злословия”. Автор романа “Кысь”,

книг “Невидимая дева”, “Лёгкие миры”, “Девушка в цвету”, “Войлочный век”. Боится высоты, электричества и шаровых молний.

Михаил Турбин

Прозаик. Лауреат премий “Лицей” и “Знамя”, финалист премии “Большая книга”. Автор романа “Выше ноги от земли”. На правой ладони две отметины: рубец после прокола гвоздём и совсем не изящный шрам от бензопилы.

Алексей Федорченко

Кинорежиссёр, сценарист, прозаик. Лауреат премий “Золотой орёл” (дважды), “Ника” (за лучший фильм), “Кинотавр” (трижды), “Белый слон” (семижды). Призёр международных кинофестивалей в Венеции, Риме, Москве, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Варшаве, Таллине, Загребе, Мар-дель-Плате и других. Член Европейской, Российской, Азиатско-Тихоокеанской киноакадемий. Лыс и бородат. В 2012 году голодал целых 40 дней, вследствие чего похудел на 40 кг.

Елена Холмогорова

Прозаик, редактор, преподаватель литературного мастерства. Автор более десяти книг прозы и эссеистики. Заведует отделом прозы журнала “Знамя”, ведет мастерские и семинары в Литературных мастерских “Creative Writing School” и АСПИР, член Литературной Академии — жюри премии “Большая книга”. Считает главной миссией тела служить вместилищем души, но стремится сохранить его пригодным не только для будничной жизни, но и для экстремальных путешествий.

Анна Хрусталёва

Филолог, писатель. Автор книг “13 друзей Пушкина” и “Жили-были сказки”, соавтор идеи и куратор романа-буриме “Война и мир в отдельно взятой школе” (“Книга года” в номинации “Поколение Next”). В детстве терпеть не могла свой нос. Не нос, а какой-то хищный птичий клюв на пол-лица! Потом узнала, что такие носы называют “римскими”, они аристократичны и их удобно задирать. Ну или хотя бы не вешать, а держать по ветру.

Анна Чухлебова

Прозаик, автор книги “Лёгкий способ завязать с сатанизмом”. Публиковалась в журналах “Esquire”, “Forbes Woman”, “Сноб”, “Юность”. Вошла в короткий список премии “Лицей” в 2021 году, в длинный список премии “Национальный бестселлер” в 2022-м. У Анны развит экстрасенсорный канал ясночувствования. В ответ на вопрос другого человека она получает информацию телом от макушки до ступней.

Сергей Шаргунов

Прозаик. Главный редактор журнала “Юность”. Ведущий программы “Открытая книга” на канале “Культура”. Лауреат премии “Большая книга”. Автор романов “1993”, “Книга без фотографий” и других. Высок, худ, длиннопал. Присматриваясь к себе для этой справки, обнаружил рифмующиеся точки-родинки на левой и правой стопе.

Татьяна Щербина

Поэтесса, прозаик, эссеист и переводчик. Автор книг “0–0 (Ноль-Ноль)”, “Жизнь без”, “Побег

смысла”, “Размножение личности”, “Хроники”, “Перипетии: сборник историй”.

“Моё тело не приспособлено к здоровому образу жизни: не бегает по утрам, не придерживается диет, лучше всего чувствует себя ночью, из алкоголя пьёт только сухое вино (один бокал в сутки), любит кофе, не любит зиму, продержалось уже довольно долго”.

Рассказ “Шея” впервые опубликован в книге “Перипетии: сборник историй” (Москва: НЛО, 2023).